МИХАИЛ ЛУКОНИН

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МИХАИЛ ЛУКОНИН

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья
Л. А. Аннинского

Составление, подготовка текста и примечания
Н. Г. Захаренко

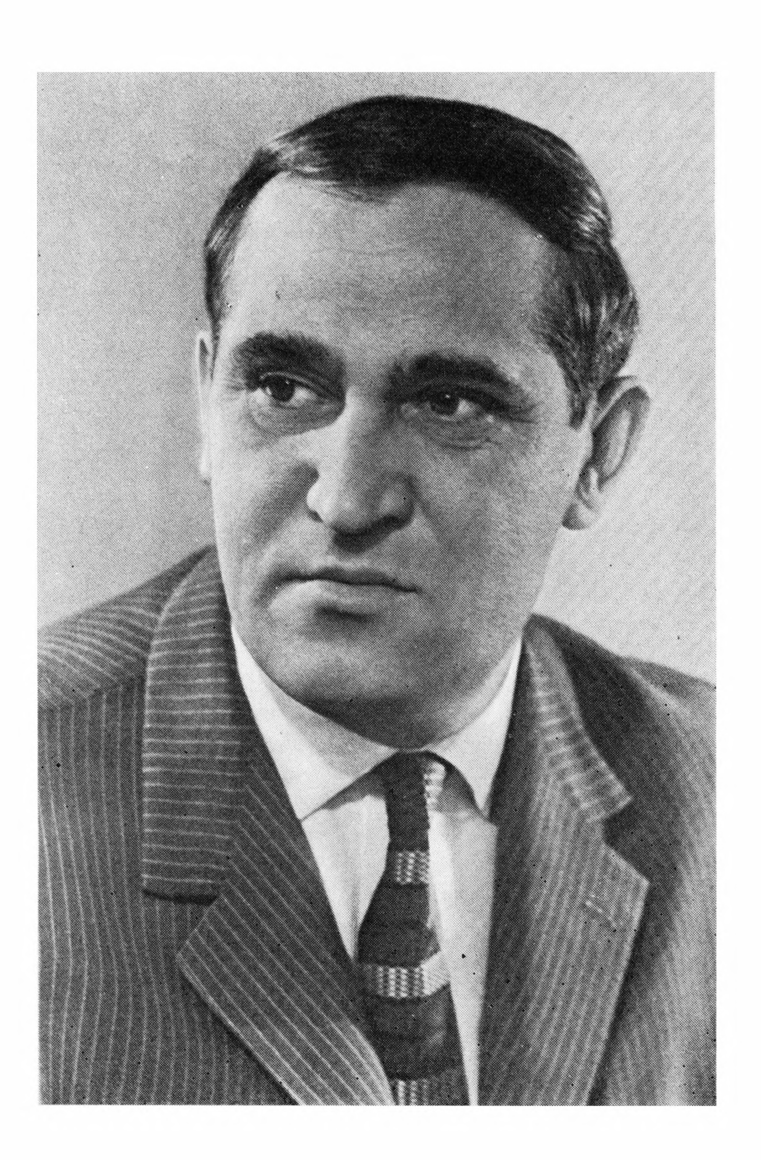
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1985

ББК 85.Р7
Л 84

М. К. Луконин (1918—1976) — известный советский поэт, чья биография и творческий путь неотделимы от судьбы фронтового поколения. Героика Великой Отечественной войны, подвиг народа в годы восстановления народного хозяйства — ключевые темы его стихов.

Настоящий сборник, достаточно широко представляющий как лирику Луконина, так и его поэмы, — первое научно подготовленное издание произведений поэта.

Л $\frac{4702010200-155}{083(02)-85}$ 410—85



МИХАИЛ ЛУКОНИН

1

Он не знал в себе ни «сына земли», ни «посланца вечности». Он был сын поколения, частица подвижного победоносного социума, солдат времени. Он чувствовал себя поэтом исторического момента — небывалого момента, с которого начинается новый отсчет и для земли, и для вечности. Не от прошлого, а от будущего велся отсчет.

Он не ощущал зависимости от семейных корней и от родовых истоков. Могилу отца разыскал под самый конец жизни, поставил отцу небольшое надгробие на заволжском песке. Могилу матери и искать было бесполезно: перепахали могилу немецкие бомбы в горящем Сталинграде.

Само «чувство Волги», на берегах которой он родился и вырос, чувство «малой родины», дающее душе конкретную и точную опору, он обрел по-настоящему лишь в зрелые годы: вынес это чувство из Сталинградской битвы, из исторического потрясения, из войны и смерти, но не от «корней», не из колыбели, не из естества пути.

Он был — по внутреннему ощущению ценностей — человек не старого, а нового мира — мира, возникающего здесь и сейчас, «из ничего», из взрыва и катастрофы. Новая вселенная возникала по воле новых людей, порожденных не столько «отцами» и «дедами», сколько бурей социального обновления, в которой новые поколения выжигали все старое.

Но кое-что он все-таки слышал в детстве о своих пращурах. О казаках и калмыках, колесивших по астраханской степи. Об украинцах, оседавших здесь. О дедовских бахчах, на которых татары батрачили по колено в грязи. И о том, как вилами выгнал из дому один из Лукониных сына своего Кузьму — за бунт, за то, что тот осмелился взять в жены беднячку. Нищета накрыла строптивую пару, первенец умер, не дотянув до трех лет; другой сын выжил, хотя родился в опасный год — 1918-й, когда уже гуляла по степи гражданская война и полосовали Кузьму нагайками белые экзекуторы за то, что сочувствовал красным. Умер Кузьма два года спустя от холеры, оставив вдову с малыми детьми на руках (кроме Михаила

были еще дочери). Повлеклась вдова к свекру просить приюта, а тот опять показал на дверь. Запомнила будущая краснокосыночница эти классовые счеты, и дети ее запомнили, когда к собственному деду пошли батрачить за кусок хлеба. Настало время, исчез дед, раскулаченный, а когда вернулся, постучался к снохе. Посадили старика за стол, накормили — те самые внуки родные, которых он когда-то не пустил на порог.[1]

Все это проходило через детство, тайно откладываясь в сознании, чтобы откликнуться много лет спустя в стихотворениях и поэмах. Но тогда было не до дедушки с его старыми счетами — жизнь рвалась вперед.

«Вперед» — означало: к скорому светлому будущему всего человечества. Вот за близким горизонтом пятилетки. За встающими корпусами Сталинградского тракторного завода. Эпоха звала к свершениям. Комсомол звал, пионерия.

Переезд в Сталинград из Быковых Хуторов для двенадцатилетнего хлопца, еще недавно пасшего свиней у реки Болды, — поворот всей жизни. Фабрично-заводская десятилетка — плацдарм. Название школы — в духе тех лет — громкое: «ФЗД имени Эдисона». Реальность — проще и жестче. В поэме «Признание в любви» Луконин вспомнит:

Хилый,
робко вошел я,
а встретили косо.
Навсегда я подробно запомнил полы.
Я, заморыш,
их выучил собственным носом,
находясь в основании кучи-малы.

Надо представить себе такую картину реально, включая разноцветные валенки, в которых, за неимением других, является в школу этот гаврош. Разноцветные валенки — невольный вызов: их обладателя надо толкнуть, чтоб знал свое место. Чем-то символическим предстает школьная куча-мала для характера, который вырабатывается в ней. Для характера, выдвинувшегося из людской толщи того времени. Это ведь на всю жизнь: вскипающее самолюбие, мускульное напряжение борьбы, упрямство в самоотстаивании... И притом — никогда, ни на мгновение не чувствовать себя отдельно от

---

[1] Факты биографии М. К. Луконина, приводимые здесь и дальше, частью взяты из книги М. Луконина «Товарищ Поэзия» (М., 1972), частью собраны автором настоящей статьи, ездившим для этой цели в Астрахань и Волгоград. См.: Аннинский Л., Михаил Луконин, М., 1982.

этой... бучи, «боевой, кипучей». Именно: драться за свое «я» внутри нее. Искать в ней свое место. Найдя, упираться насмерть.

Но главные для Луконина события разворачиваются не в школе, а в организации, которая называется: «литгруппа СТЗ».

СТЗ — Сталинградский тракторный завод — гремит на всю страну. Литгруппа — детище эпохи, авангард рабочего класса в литературе. Преподаватель литературы тов. Крылов, приглашенный вести занятия, объявляет программу. Первая тема: «Что такое художественная литература. Партийность литературы и классовая борьба в литературе на современном этапе». Вторая тема: «Основные правила грамматики и пунктуации». Занятия — два раза в неделю в редакционной комнате многотиражки СТЗ (многотиражка называется «Даешь трактор!», или, по краткой манере того времени, «Д. тр.!»). Помимо лекций идет обсуждение творчества кружковцев и проработка решений XVII партсъезда. Кроме того, устраиваются «вечера творческой самокритики на рабочих собраниях», где авторы «читают свои произведения и обсуждают» их. В ходе обсуждений развертывается «жестокая борьба за очищение языка самих литкружковцев». Наиболее способные берутся на «персональный учет», им выделяются литературные пайки.

Три семиклассника из ФЗД имени Эдисона для храбрости ходят в литгруппу вместе: Сережа Голованов (самый бойкий), Миша Луконин и Коля Турочкин. У себя в школе они уже навели кое-какой литературный порядок — распределили темы: Сереже — север: вечные снега, белые медведи, торосы; Коле — юг: море, лимоны, пальмы; Мише — центральную полосу: дожди, ветры, степь и полынь...

В литгруппе СТЗ им предложены темы несколько иного плана. «Д. тр.!» дает образец: «И. Красько, мастер 12-го пролета сборочного, пишет стихи о своем станке. Станок должен быть чистым, только тогда можно будет сберечь производительно каждую минуту рабочего дня, — вот основной лейтмотив большинства его стихотворений...»

Тоже, можно сказать, куча-мала. Надо выбираться.

21 марта 1934 года — «вечер творческой самокритики» в клубе СТЗ. Присутствует триста человек: рабочие и учащаяся молодежь. «Особенно тепло встречены Красько, Луконин, Голованов...» Это первое упоминание о Луконине в печати.

Осенью 1934 года кружковцы собирают свои произведения в тоненькую книжку, три тысячи экземпляров которой выпускает Крайиздат. Книжка называется «Голоса молодых». В редакционном вступлении с гордостью сказано, что авторы пишут «о любви к производству и к своему станку».

В этой книжке и находим мы самое раннее из дошедших до нас лукониных стихотворений. Правда, оно не о станках, а о рыбаках,

но некоторая связь с производством тут все же есть: «Рыбаки плывут, куда наметил Бригадир, веселый дед Аким». Есть заводской дух и в образах: «Звездами заклепанные дали Заглушили звуков перебой». Четырнадцатилетний автор верен договору, заключенному с двумя своими одноклассниками: он берет сравнения из «средней полосы»:[1] луна «накинула на весла Гибкое блестящее лассо», а за кормой тянется «серебристый и влюбленный вымпел»... Именно *вымпелу* скоро улыбнется Луконин, прощаясь с подобной образностью. Но для этого он должен еще услышать стихи Маяковского: это впереди.

Пока же он пишет о том, что составляет интерес его жизни. В шестнадцать лет он — капитан юношеской сборной города по футболу, его вот-вот должны взять в знаменитую на весь Союз команду «Трактор». Первую поэму он называет «Футбол» и записывает ее на рулоне чековой бумаги (мать работает кассиром); разматывая ленту, он читает поэму команде на стадионе — пример первозданного синкретического единства поэзии и жизни. Заметьте и это: едва начал — и уже поэма!

Собранные вместе, ранние луконинские стихи без остатка вписываются в бравурный стиль тогдашней повседневной лирики. Весна, мальчишки, голуби, авиамодели, упругость мышц, лыжи, зарядка... Впрочем, вдруг поражает какая-нибудь строчка: «*Мы кололи* льдины у *колодца»* — то ли это толчок звуковой интуиции, то ли случайное попадание? Пожалуй, случайное попадание, потому что рядом натыкаешься на перл вроде: «*застегая* ему пальто». Но и случайное попадание говорит о многом: в этом едва формирующемся поэтическом голосе — какой-то прихотливый зазор, момент полуосознанной свободы, признак зреющего характера.

Есть своя символика в том, что отряд пионерского лагеря имени Серафимовича под барабанный бой организованно марширует в гости к своему шефу и примерный деткор Изя Израилев торжественно описывает этот поход в газете «Дети Октября», а Луконин и Турочкин тайком лезут к Серафимовичу в сад за яблоками и, застуканные за этим занятием, изумленно глазеют на первого увиденного воочию писателя; он же, вместо того чтобы наказать разбойников, ведет их к себе пить чай.

Вдвоем держатся — высокий, светло-рыжий, большерукий Турочкин и Луконин, «угловатый, поджарый, стремительный», каким вскоре запомнит его мемуарист.[2] Вместе сидят в классе «на галерке». Вместе

---

[1] Справедливости ради отметим, что Сергей Голованов, другой участник сборника, тоже не нарушил конвенции: у него в стихах — север, сосны и эскимос в обнимку с оленем.

[2] Наровчатов С., Мы входим в жизнь. Книга молодости, М., 1978, с. 139.

гуляют по враждующим мальчишечьим улицам поселка Тракторного. Вместе бегают на берег Мечетки читать стихи. Багрицкий, Корнилов, Сельвинский... Ахают над юным Я. Смеляковым. Оба выше всего ставят дружбу. Не любовь, не внутреннее совершенствование, даже не всеобщую солидарность, а именно прямую, мускульно ощутимую мужскую дружбу. Турочкин становится для Луконина олицетворением такой дружбы. Луконин — для Турочкина.

Стихи пишут вперсклик. У одного: «На всех кострах нетухнущей зари Густеть и крепнуть будет мед арбузный... И медный таз снаружи закоптится». У другого: «Изо всех медогонок Польется задумчивый мед... И из таза напьется заря». И печатают в параллель: Луконин — стихи об ответившей поэту «нет» «веселой девушке», Турочкин — стихи об ответившей поэту «нет» девушке Поле. В свой час у Луконина будут основания сказать: «...если бы... мы поменялись местами, он сейчас обо мне написал бы вот это...» Тот час недалек. А пока оба активно печатаются в газете. Сначала в пионерской, потом в комсомольской, а потом и в партийной.

В 1938 году выходят две книжки. Одна — «Разбег» — сборник «авторов Сталинградской области» (эта книжечка вскоре попадет в Москву к Андрею Платонову). Другая — коллективный поэтический сборник, куда Луконин включен вместе с Турочкиным и еще двумя дебютантами из литгруппы СТЗ: Николаем Беловым и Виталием Балабиным. Называется книжка «Содружество»; она тоненькая, тираж — три с половиной тысячи, но это уже, как сказано в предисловии, «отдельный сборник». Открывает его Луконин, завершает Турочкин, который отныне берет себе псевдоним: Николай Отрада. Имена в этой книжке можно было бы и стасовать, стихи перемешать без большого ущерба — настолько все подчинено общему бравурному тону. Мотивы: конница Буденного, прочность стали, сады, плоды, изобилие, поющие от радости люди, мудрый и нежный вождь, дальняя граница, зоркий часовой, письма от любимой, горячий конь, стремительная атака... Луконин почти не выделяется.

Общим потоком, самим ходом вещей выносит двадцатилетнего Луконина на уровень первого профессионального признания. Его хвалят сталинградские литературные критики. За бодрость. За то, что и осень у него — не хмурая, не дождливая, а хорошая, веселая, урожайная. Наша!

Из Москвы приезжает «посол» Литературного института Александр Раскин, слушает стихи молодых сталинградцев.

Луконин в эту пору уже работает литсотрудником в газете «Молодой ленинец», вечерами учится в педагогическом институте.

Телеграмму приносят в редакцию: «Вы приняты Литературный институт очное выезжайте Москву Раскин».

Первая мысль — о Турочкине: как же он останется, если я еду? (Год спустя Луконин вернется из Москвы за Турочкиным, привезет и его.) Но пока он едет один. С вокзала — прямо в институт. Во дворе «дома Герцена» какие-то парни играют в волейбол. Кричат: «Нужен игрок в команду!» Луконин ставит чемодан, сбрасывает пиджак и становится к сетке.

Студента, подающего мяч, он мгновенно узнает по портретам: Константин Симонов.

В Москве другой «воздух». В областной газете стихи Луконина подхватывались критикой как пример бодрости и оптимизма. Здесь их замечает разве что журнал «Литературное обозрение», да как! Рецензия на «Разбег», «сборник произведений авторов Сталинградской области», начинается со следующего назидания: каждая область, конечно, должна иметь свои овощи и фрукты, а вот создание на территории области своей художественной литературы — дело не простое. «Например, в стихотворении Михаила Луконина «Гуси, летите!» самое хорошее и поэтическое — это название стихотворения».[1] Из остального текста стихотворения автор рецензии никак не может понять, почему «радости нет конца». Рецензия подписана: Ф. Человеков.

Знал ли Луконин, что за этим псевдонимом скрывается Андрей Платонов? Может, и знал: земля Литературного института полнилась слухами, Платонов жил в пяти шагах от волейбольной площадки, во флигеле. Может, впрочем, и не знал: просто не интересовался этим. Похоже, что прошлые стихи все меньше трогали его — он жил будущими. Никогда ни одной строчки, написанной за все первые сталинградские годы, Луконин не включил ни в одно собрание своих стихов! Это жесткое решение зрело в первые московские месяцы, в зиму 1938/39 года. Все начиналось с нуля. Все поэтические ориентиры выбирались заново.

2

Каковы эти ориентиры в Москве 1939 года?

В институте — три крупных мастера: Н. Асеев, В. Луговской, И. Сельвинский. Их семинары важнее всех прочих занятий.

Луконин не заражается их стилистикой. Хотя, вообще говоря, бароккальный стих Сельвинского открывал поэтам его поколения многие возможности, да и самому Луконину валкая музыка «Охоты на тигра» наверняка помогла найти свой ритм. Только не для «охоты» он искал этот ритм.

---

[1] «Литературное обозрение», 1939, № 12, с. 21.

Испытал он некоторое воздействие Луговского — в личных отношениях тут возникло чувство, близкое сыновьему. Но не подражание в стихе.

И Асеев не дал решения. Хотя стоял за Асеевым единственный для Луконина всеподавляющий поэтический авторитет — Маяковский. Этот авторитет, неустанно подчеркиваемый Лукониным на протяжении всей его жизни, тоже не должен слишком сбивать нас с толку, ибо и Маяковскому Луконин не подчинился. Маяковский был для него скорее символом общей мировоззренческой ориентации, чем камертоном стиха. Хотя иногда в горячке литературных схваток Луконин и возводил к Маяковскому свою поэтическую интонацию — всегда, впрочем, неубедительно.

«Мы бушевали на семинарах. . .» [1]

Кто «мы»? Вот расшифровка из воспоминаний С. Наровчатова: «Майоров и Коган, Луконин и Кульчицкий, Отрада и Гудзенко, Слуцкий и Самойлов, Воронько и Глазков, Молочко и Львовский. . .» [2] И еще: учитель с Урала Львов, московские школьники Межиров и Винокуров, и школьник из Гусь-Хрустального Ваншенкин, и школьник из Белозерска Орлов, стихи которого о «тыкве с брюквой» только что похвалил в «Правде» Корней Чуковский. Одни уже замечены, другие еще безвестны. . . Одни «мечены», другим предстоит выйти из пекла живыми, но все они: и те, кому суждено погибнуть, оставив будущим издателям стихи в записных книжках, и те, кому дано десятилетия спустя договорить за живых и мертвых, — в 1939 году они все вместе потенциально уже составляют в русской лирике неповторимое новое поколение.

Все они, интуитивно ища свой будущий язык, видят перед собой блестящие, великолепно разработанные за два советских десятилетия романтические системы. И интуитивно от них отталкиваются.

Нет, они, конечно, настоящие наследники романтической традиции — точнее, той ее «работающей» линии, которая пришла к ним от Маяковского, а конкретизирована формулой Багрицкого, соединившего в символе веры три имени: «Тихонов, Сельвинский, Пастернак». [3] В системе их симпатий Есенин явно отброшен на периферию; в кругу классиков Лермонтов им безоговорочно ближе, чем Фет или Тютчев. Достаточно сопоставить круг предпочтений молодого поэта 1939 года с кругом предпочтений «типичного» молодого поэта 1979 года — тут такие поэты «вечности», как Фет и Тютчев, и такой поэт

---

[1] Луконин М., Товарищ Поэзия, с. 14.
[2] Наровчатов С., Мы входим в жизнь, с. 69.
[3] Из стихотворения Э. Багрицкого «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым».

«земли», как Есенин; никого вперед не пропустят, разве что Пушкина, — и ясной становится творческая генеалогия предвоенных лириков. Да и практика становится понятной: вся система приемов — от подчеркнутой ораторской установки до странной нынешнему уху формулы: строки «свинчиваются», как детали...

Внутри романтической традиции общий вектор их движения — в сторону простоты. «Свинчивание» стиха — скорее деловая умелость, чем эстетическая изобретательность. Ораторская установка тяготеет уже не к митинговой экзальтации, а к разговорной доверительности. Сдвиг к простоте — общая тенденция; неясны еще только формы, которые эта простота должна обрести.

Одна простая поэтическая форма, впрочем, уже стремительно набирает силу на другом конце поэзии — народный стих А. Твардовского. «Страна Муравия» уже написана, «Теркину» предстоит вскоре родиться. Но этот стих уже за пределами романтической традиции и за пределами восприятия той поэтической волны, которая бушует на семинарах 1939 года: как раз и показательно, что по пути Твардовского отказывается идти не только Павел Коган, признанный публицист и поэтический идеолог своего поколения, не только М. Кульчицкий с его неистовым формотворчеством — это-то не удивительно, но по пути Твардовского не идет и Луконин, который, казалось бы, и жизненным опытом, и психологическим складом должен тяготеть к народным корням, — именно Твардовский становится для Луконина на все годы главным поэтическим «антиподом», в сопоставлении с которым Луконин осознает свои «углы» и свою интонационную «нестройность». Гармония не суждена этому поколению. Все они ищут новый стиль, но ни один не может перейти грань, которую очертила им общая судьба. И в жизни, и в поэзии.

Внутри поколения есть близкие оппоненты, в контакте с которыми вызревает луконинская стиховая интонация. Один из них — Павел Коган, лидер молодых поэтов ИФЛИ, восходящее светило семинара Сельвинского. Именно Коган, рационалист и систематик, пытается выразить целостную систему воззрений, которую вынашивают прямые и чистые «мальчики державы», «лобастые мальчики невиданной революции»,[1] эти граждане грядущего коммунистического братства, далекие и от «земли», и от «вечности», ненавидящие всякую красивость и смутность, безостаточно преданные четкой, ясной и простой, великой планетарной правде.

Луконин — из того же материала, хотя склонен не к космической систематике и мировому охвату, а к непосредственной правде переживаемых состояний (все последующие обширные его поэмы — тоже ведь не возведение модели мироздания, а упрямое перемалы-

---

[1] Из стихотворения Павла Когана «Письмо».

вание впечатлений). Не эпический портрет и не идейный чертеж поколения суждено дать Луконину, а психологический срез, но это то же самое ощущение всечеловеческого единства, о котором все они говорят «космическими» словами: «земшарец», «планета», «мир». Луконин тоже носит в себе «земшарный» образ целого и в свой черед тоже даст ему толкование, но чисто пластическое: в стихах об окруженце («Воспоминание о 1941 годе»), который выходит к своим по школьной карте полушарий: «несет из окруженья шар земной. . .».

Все они предчувствуют близкую судьбу и пишут о «смертных реляциях», в которые внесено поколение. И у всех у них ощущение смерти не как конца и небытия, а уникальное, удивительное ощущение смерти как счастья, как исполнения долга и предназначения, смерти как разрешения героической задачи.

Луконин выражает это чувство прямодушно. Он пишет о возможной смерти, в сущности не думая о ней как о конце, с одинаковым спокойствием говоря: «вот и я умру когда-нибудь» или: «вот почему я не умру».[1] Не эту ли необъяснимую радость жизни, не желающей знать конца, заметил умудренный опытом Андрей Платонов и горько усмехнулся про себя.[2]

Павел Коган успевает не много. Чертеж души. Тонкий оттиск. Странный контур. Прямой, твердый, угловатый стих, в котором еще вибрирует мечта мальчишеская. Хрупкая прозрачность души. Готовность вынести свинцовую тяжесть и — слабость детских, «худеньких рук». Самый стих Когана, вызывающе прямой, — как ожидание. Его еще пошатывает. Интонация всплывает неожиданно, в ней нет поэтической программы.

Не Когану суждено найти новую интонацию и осуществить ее как принцип. Суждено — Луконину. Но он еще не знает этого.

В его близком окружении есть поэт, который уже нащупал, нашел, угадал ту форму, в которую должен уложиться нависший над людьми опыт, — к этому опыту он уже успел сам прикоснуться на Халхин-Голе: Константин Симонов. Логикой вещей они должны сойтись — дипломник Литинститута, автор нескольких блестящих поэтических сборников, и приехавший с Волги дебютант. Оба твердо знают, какой *не должна* быть поэзия, оба отвергают традиционную патентованную поэтичность, оба чувствуют: сегодня стихам нужна «проза». Две кардинальные образные концепции подступающей военной эпохи примеряются друг к другу.

Впоследствии Симонов признáет влияние Луконина на свои стихи. Признáет и другое: что они пошли разными дорогами. «Я обманул

---

[1] Луконин М., Товарищ Поэзия, с. 185, 17.

[2] См. рецензию А. Платонова на сборник стихов «Разбег» в «Литературном обозрении», 1939, № 12.

его ожидания».[1] Вариант Симонова — простая, четкая, скупая на внешние эмоции, строго и ясно работающая повествовательность. Луконин вынашивает иное... Но оба ждут, когда час пробьет.

3

Летом 1939 года Луконин едет в Сталинград и к началу занятий возвращается в Литинститут. Вместе с Турочкиным. А уже в декабре — вместе же — они бегут в военкомат: боятся, что с белофиннами управятся без них...

Война оказывается непоэтичной. До вихревых атак дело не доходит: попавшие в лыжный батальон студенты замерзают, выбиваясь из сил во время длинных переходов. Не победными бросками и не оперативными стрелами встает война, она оборачивается изматывающей работой, тесным бытом передовой, прежде пуль она бьет ледяной каждодневностью, тупой стихийной силой. Об этой войне невозможно рассказать светлыми романтическими словами. Надо искать другие слова.

На этой первой войне гибнет Коля Турочкин — Николай Отрада, потомок воронежских крестьян, каких-нибудь полгода назад привезенный Лукониным в столицу из Сталинграда.

В Москву Луконин возвращается без Отрады. Побратимы, они успели перед боем поменяться медальонами. Это значит, что там, в Сталинграде, сначала должна мысленно схоронить сына бездвижная, разбитая ревматизмом мать Луконина, а потом, по «выяснении ошибки», это предстоит матери Николая Отрады. И девушке. Девушке Поле.

Со стихов об этой войне, об этой девушке начинается *поэт* Михаил Луконин. Вот с этого стихотворения — «Коле Отраде». Вот с этих строк: «Я жалею девушку Полю. Жалею...» С этих странных, выкашливаемых, словно бы сорванным голосом выговариваемых слов, когда мешают остановленные рыдания. С этих усталых, упрямых, тяжких строк начинается *луконинская интонация*: то, чему критики и поэты впоследствии будут искать определения: «хрипловатый говор», «развалистая походка», луконинский вариант «прозаичности». Слова толкаются, толчками идут из груди; впечатления не вытекают одно из другого, а валят напором, сбиваясь; реальность не укладывается в логику — она эту логику превышает, сталкивает с линии, с мелодии.

Что еще поразительно в этой стиховой ткани — отсутствие устойчивых, опорных элементов, имеющих прочную поэтическую инерцию.

---

[1] Симонов К., Из книги воспоминаний. — «Дружба народов», 1979, № 1, с. 187.

«Вьюжный ветер» в иной системе был бы романтическим символом, здесь — примета реальной обстановки. Разве что в «движении вместе с землею» можно еще уловить общий для поколения мотив «земшарности», но это так отдаленно. Непривычно в стихе и отсутствие «сетки» заранее данных поэтических ориентиров. Сравнить стихи Луконина с одновременными военными циклами видных поэтов того времени — какой перепад! А. Твардовский прочно стоит на почве поэтики крестьянского труда: вспомним образ кузнеца, проходящий через книгу «В снегах Финляндии». А. Сурков внутренне настроен на поэтику гражданской войны: звездные шлемы, пулеметный дождь, дым костров и огненная песня. Н. Тихонов вводит в стих еще более давние романтические символы: из-за карельских сосен светит с небес луна Оссиана.

Луконинский стих словно начат с нуля, о нем думается толстовскими словами: «как-то голо». Этот стих бьется под реальным ледяным ветром; шатаясь, упираясь, выживая, он вырабатывает совершенно новую силу сопротивления. Позднее скажут: это «первые солдатские стихи о войне».[1] Луконин первым в поколении почувствовал, что финская кампания — только прелюдия, грядет большая война, и она будет ни на что не похожа...

«Коле Отраде» сопутствовало еще несколько стихотворений, привезенных с северной войны: «Мама», «Наблюдатель», «Если бы знала ты...», «По дороге на войну», «Твое письмо». Их Луконин стал считать первыми в своей жизни. Стихи были опубликованы в журналах «Знамя» (1940, № 10) и «Молодая гвардия» (1941, № 2); впрочем, не все: «Коле Отраде» так и не прошло тогда в печать. В общем, публикация получилась яркая, хотя и не похожая на праздничный дебют. Скорее на боевой прорыв. Много лет спустя С. Наровчатов заметил об этом: «Кроме Луконина, никто из нас не прорвался в журналы».[2] Луконин — прорывается. На какой-то момент он делается центральной фигурой молодой лирики.

В январе 1941 года в числе других дебютантов Литинститута он читает стихи в клубе писателей на вечере, который, по тогдашнему обыкновению, называется «Вечер трех поколений». От первого — Сельвинский, от второго — Симонов, Луконин — от третьего. Пробираясь под аплодисменты на свое место, чувствует рукопожатие: «Постой. Иди сюда. Ты поэт».[3] Вглядевшись, узнает Я. Смелякова.

В июне «Литературная газета» впервые упоминает имя Луконина в обзоре поэтических публикаций последних месяцев. Вопрос ставится жестко: какие стихи нам нужны и какие не нужны сего-

---

[1] Наровчатов С., Мы входим в жизнь, с. 140—141.

[2] Наровчатов С., Товарищ давних лет. — «Литературная газета», 1978, 19 июля.

[3] Луконин М., Товарищ Поэзия, с. 58.

дня? С оговорками, но все же положительно оцениваются М. Кульчицкий, Б. Слуцкий, С. Наровчатов и Д. Самойлов. В списке лучших Луконин стоит вторым. Вслед за И. Эренбургом. Статья появляется 8 июня 1941 года.

Через две недели все студенты Литинститута принимают резолюцию об общем уходе на фронт.

Ждут предписания. Военизированный лагерь за городом, палатки. Ночью Наровчатов, комсорг, тихо поднимает двоих — тех, кто прошел финскую кампанию, — им он может доверить тайну. Показывает пакет с приказом о выступлении. Луконин глядит на Платона Воронько: «Начинается». Тот отвечает: «Началось». [1]

Обмундированные с иголочки, уезжают с Киевского вокзала. Вскакивают в последний момент в трогающийся вагон. И тут ветром срывает с Луконина новенькую фуражку. Все замирают: дурная примета... В последнее мгновенье он ловит ее на лету.

4

Считается, что литературная судьба Луконина сложилась счастливо. Не жизненная — тут-то он хлебнул все положенное: две войны прошел. Нет, именно литературная, издательская. Полсотни книжек при жизни! Сравнить с Б. Слуцким, который чуть не полтора десятка лет ждал первого сборника. Или с Д. Самойловым, час которого настал лет через двадцать после дебюта. А Б. Окуджава, который пробивался сквозь частокол критики и лишь к середине шестидесятых годов одолел? На этом позднейшем фоне и ходит Луконин в счастливцах. Это почти общее мнение; формула «У него была счастливая литературная судьба» принадлежит К. Ваншенкину. [2]

Однако тот же Ваншенкин свидетельствует о следующем. Когда в 1946 году он, двадцатидвухлетний демобилизованный сержант, пишущий стихи и мечтающий о литературе, начинает посещать поэтические вечера, он *вдруг обнаруживает,* что помимо Твардовского, Исаковского, Суркова и Симонова существует, оказывается, *еще одна* военная поэзия, ему неведомая, что гремит она на вечерах, встречая бурное одобрение слушателей, что есть у нее свои лидеры, признанные, несмотря на отсутствие толстых книг: Луконин, Гудзенко, Межиров... Стихам, которые читаются на этих вечерах, со временем суждено войти в антологии и хрестоматии, но вот парадокс момента: Константин Ваншенкин, который тоже прошел войну, и уж года три как сам пишет стихи, и, конечно же, чужие читает где только находит, — он слышит все эти имена впервые!

---

[1] Наровчатов С., Мы входим в жизнь, с. 146.
[2] Ваншенкин К., Воспоминание о спорте, М., 1978, с. 10.

Тут даже не в публикациях дело: в конце концов, кое-что напечатано в армейских и фронтовых газетах — по этим-то газетам, собственно, поэты новой волны и знают друг друга: С. Гудзенко и М. Луконин, А. Недогонов и А. Межиров, М. Дудин и С. Орлов, — сами они уже ясно ощущают себя поэтическим поколением, но ни широкая читательская аудитория, ни высокая профессиональная критика не знают их. Или не признают.

А ведь речь идет о людях, которые уже к началу войны чувствовали себя поэтами. Кто помоложе — Е. Винокуров, Б. Окуджава, да тот же К. Ваншенкин, — осознали себя поэтами уже в окопах. Но первые-то: С. Гудзенко и А. Недогонов, М. Львов и Б. Слуцкий — успели раньше. Если не в большую печать, то в профессиональную поэзию. Заметим, что, отбывая на фронт в 1941 году, Луконин и Наровчатов направлялись уже не в батальон, как в 1939-м. Они были направлены в армейскую газету...

Судьба, правда, распорядилась иначе. Не в газете развернулись события. А было поле на Брянщине, крик: «Окружены!», прыжок из горящего грузовика, задыхающийся бег к лесу, удар пули, кровь, хлюпающая в сапоге. Там, в грузовике, сгорел вещмешок с рукописью поэмы, но было не до стихов: впереди — шестьсот верст пешком к своим. Наровчатов рядом, шутки невеселые: «Жирно им будет ухлопать сразу двух поэтов!» Однако чуть не ухлопали, уже на последних из этих шестисот верст, когда вдвоем перебегали шоссе. Ни Наровчатов, ни Луконин не описали этот эпизод в своих воспоминаниях[1] (может, оттого, что было слишком обидно?): немецкая штабная машина вынырнула неожиданно, тормознула перед ними, и замерли под взглядом немецкого офицера два русских оборванца: один — синеглазый, светлый, другой — черный, словно обугленный...

Немец был кадровый. «Не сволочь, не гестаповец». Масштабно, видать, мыслил, не хотел отвлекаться на эту рвань на дорогах. Дал знак шоферу: вперед! Ушла машина.

Тридцать лет спустя Наровчатов и Луконин узнали бы того немца!

«...Вышли к своим. И тут — ледяной душ: «Почему остались живыми?.. Где были целый месяц?..» Редактор сказал, что ему не нужны окруженцы».[2]

В редакцию-то он их взял в конце концов. Но работа оказалась не похожа на поэтическую. «Забудьте, что вы поэт, — вы присланы литсотрудником», — учил редактор. Однажды ему донесли, что Луконин написал стихотворение «для себя». Выговор: «Вы не имеете права красть у редакции время!» Стихи следовало писать только по

---

[1] Автору настоящей статьи он известен со слов С. Наровчатова.
[2] Луконин М., Товарищ Поэзия, с. 23.

заданию. «Завтра напишете о минометчике Н.» Или так: «Через час нужны стихи об оборонительных укреплениях...» [1]

Писал об укреплениях. Но не только. Не только о том, что нужно «через час», писалось в те дни. Писалось и такое, чему уготована была долгая жизнь. Только о долгой жизни тогда думать не решались.

Летом 1942 года Луконин прибыл с фронта в Москву. Оставил стихи Симонову, попросил передать в издательство. Вернулся на фронт. Издательство рассматривало рукопись два года.

Не будем метать громы и молнии: может, там и *некому* было ее особенно рассматривать — люди не в кабинетах сидели, они были там же, где Луконин. Так или иначе, книжка (она называлась «Поле боя») два года ждала решения. За эти два года реальное поле боя переместилось на сотни километров к западу. Луконину было не до издателей. Достаточно сказать, что он своими глазами видел танковую битву под Прохоровкой.

Летом 1944 года издательское заключение догнало его уже у границы. Отрицательное. Не настало еще издательское время для *таких* стихов о войне. Долго пришлось фронтовикам ждать выхода своих первых книг: и годы войны, и еще два послевоенных, пока ситуация переломилась.

Конечно, надо взять поправку на бедственность тех разоренных лет, на тощие бумажные пайки — долго копятся материальные ресурсы на издание целого поэтического эшелона. Но дело не только в этом. Моральные ресурсы тоже следовало скопить. Литературная ситуация должна была дозреть до того жестокого и непраздничного опыта, который несли с собой поэты фронта. Она дозрела — к 1947 году, когда новое поколение собрали в Москву на Первое Всесоюзное совещание молодых писателей. Наровчатову дали слово от имени молодых. Он (по собственному выражению) «продержался на трибуне около часа». [2] Он сказал: нашими первыми слушателями были солдаты, которые лежат теперь под фанерными обелисками от Подмосковья до Эльбы! Сколько можно отмахиваться от наших стихов, как это делают сейчас газеты и журналы?!

Это и был поворот. Наровчатова ввели в ЦК комсомола: проводить в жизнь собственные предложения. При Союзе писателей создали специальную комиссию по работе с молодыми. «Газеты и журналы наконец открыли нам свои страницы и уже больше их не закрывали». [3]

---

[1] Симонов К., Из книги воспоминаний, с. 187.
[2] Наровчатов С., Товарищ давних лет. — «Литературная газета», 1978, 19 июля.
[3] Там же.

В тот год у Луконина вышло сразу четыре книги. На них откликнулись практически все тогдашние литературные органы. Началась «счастливая судьба».

Среди книг Луконина, изданных в 1947 году, одна появилась в том самом «Советском писателе», который три года назад отверг рукопись; книжка называлась «Дни свиданий». Другая книжка — «Сердцебиенье» (отлично составленная) — вышла под редакцией Павла Антокольского в «Молодой гвардии».

Молодые поэты фронта стремительно вошли в центр внимания критики. Но пониманием она их не баловала. Сошлюсь на своеобразный «ответ обвинителям», помещенный тогда же молодыми поэтами в «Литературной газете», — тут сам ход рассуждений любопытен. Ход такой: да, у нас есть недостатки, и над их искоренением мы работаем; да, мы еще грешим натурализмом и бытописательством, есть у нас излишнее любование окопным страданием (следуют цитаты из собственных стихов). Но, товарищи критики, не записывайте нас в безнадежные пессимисты! *Помогите* нам избавиться от наших недостатков! Статья совместная: Луконин и Гудзенко. Гудзенко в ту пору — самый близкий Луконину человек во фронтовом поколении. Тяга давняя: перед войной, когда Луконин читал стихи на очередном «вечере трех поколений», Гудзенко, молоденький ифлиец, как завороженный слушал их в первом ряду. Четыре года спустя, в самый разгар войны, к Луконину на фронт попадает книжка Гудзенко; впечатление огромное: это его «второе поэтическое потрясение за войну» [1] (первое — «Знамя бригады» А. Кулешова).

Знакомятся Луконин и Гудзенко сразу после войны, и семь лет — до смерти Гудзенко в 1953 году — они теснейшие друзья.

Что их связывает? Не только общность поэтических тем, в пределах которой контраст индивидуальностей делает параллель с Гудзенко, как я убежден, самой продуктивной для определения места Луконина в лирике фронтового поколения. Связывает еще и роль, которую каждый из них в свой час играет в становлении этой лирики. Гудзенко для 1946 года приблизительно то же, что Луконин для 1940-го — «первый прорвавшийся». Весной 1943 года у Гудзенко в Москве проходит творческий вечер, на котором сам Илья Эренбург предрекает ему и его сверстникам замечательное поэтическое будущее. Мы не знаем этого поколения, говорит Эренбург, мы еще не читали его книг, но оно «будет играть не только в искусстве, но и в жизни решающую роль после войны». [2]

---

[1] Луконин М., Товарищ Поэзия, с. 220, 97.

[2] Эренбург И., О поэте Гудзенко. — «Литературное наследство», № 78, кн. 1, М., 1966, с. 96.

Напомню, когда это сказано: в апреле 1943 года. Напомню и определение, данное Эренбургом поэзии Гудзенко: *«смесь барокко с реализмом»*. [1]

Гудзенковское стихотворение «Перед атакой», на строки которого ссылался Илья Эренбург, в ту пору ходит из уст в уста:

Бой был коротким.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.

Неслыханное, сокрушительное давление детали, причем детали подчеркнуто грубой, некрасивой, страшной. Откуда это — в «ушибленном образованием» ифлийце, [2] который ухнул во фронтовую реальность прямо из студенческих высокоумных семинаров? Нет ли в этом закономерности: самое нежное оборачивается самым жестоким? Есть закономерность.

«Лобастые мальчики невиданной революции», они все уникальные «граждане мира», безгранично верящие в его безусловную целесообразность и высшую разумность. И вот эта вера закапывается в вязкую земную реальность, в изрытую землю пехоты. Не у всех этот контраст столь резок. В ряду своего поколения Гудзенко стоит близко к светло-рациональному полюсу — Луконин тяготеет к эмоционально-пластическому. В психологическом состоянии Гудзенко происходит то, что суждено пережить им всем, но это происходит с какой-то сверхрезкой рельефностью: смыкаются отяжелевшие детали, сталкиваются, как бы пробивают стих насквозь. Деталь — навылет, наповал. Равнина речи взрыта, поверхность взорвана, расчленена, слова затягивают и низвергаются, катастрофичность звенит в самом этом гипертрофированном, гиперболизированном столкновении деталей. Эренбург уловил безошибочно: барокко. Образ не столько отражает реальность, не столько передает настроение, сколько символизирует все это, вытесняя собой целое, вгоняя ткань стиха в пики и провалы напряженного образного рельефа. Вслушайтесь в ритм «Трансильванской баллады»:

Занят Деж,
занят Клуж,
занят Кымпелунг.

---

[1] Эренбург И., О поэте Гудзенко. — «Литературное наследство», № 78, кн. 1, с. 96.

[2] Определение, данное Семену Гудзенко Лукониным в книге «Товарищ Поэзия», с. 226.

...Нет надежд.
Только глушь.
Плачет нибелунг...

У Луконина — другое. Другое дыхание стиха. Хотя суть драмы та же.

Попробую продолжить «архитектурную» метафору. Барокко? Совсем нет: детали не вытесняют целого, во всем сохраняется реальная, почти житейская соразмерность. Расчленение плоскости? Ни в коем случае: везде у Луконина чувствуется естественный и очень реальный по масштабу общий план. Поражает, завораживает в реалистических соразмерных «объемах» луконинского стиха *шершавая поверхность.* Ритм речи, говор. То, что так никогда и не далось Гудзенко.

А искал! Пробовал. На какое-то мгновенье схватывал и Гудзенко этот шатающийся ритм стиха-говора. Но не удерживал, скатывался в ямб, в колею стиховой «правильности». Луконин же не удерживал сквозной детали. Так и тянулись они друг к другу, будто стремясь восполнить души. У Гудзенко в записной книжке 1942 года: «Задыхаясь, не говорят ямбом, а если задыхаешься... не пиши».[1] Этого он *хочет,* но получается иначе. Стих разрежен от взрывающихся видений, и рассказано об этом все-таки ямбом. «Задыхающимся стихом» Гудзенко не владеет. Владеет — Луконин. Они видят одно, но словно с разных точек.

К врагу — ненависть. Но разная. У Гудзенко — ледяная, окаменевшая, запредельная какая-то. «То пни или кустарники? То немец или камень?» Не различает. Не хочет различать (стихотворение «Горят леса от Дрездена...»). Полная бесконтактность, ощущение провала и разрыва, когда выжжено все между нами и ими и они — не люди.

Луконин ненавидит иначе. Он горяч, вспыльчив, яростен. Импульс боя поджигает его мгновенно. Но за пределами вспышки он не может долго держать ровную злость. В схватке он хорошо видит силуэт врага, но за пределами схватки — перестает всматриваться. «Там стонет чернозем, шипит от боли, Там ползают противники труда...» (это о фашистах!). В том же стихотворении («После боя»): «Их привели отнять у нас свободу...» И слова-то бесплотные, как из школьного учебника. Луконин куда острее видит истерзанный *чернозем,* чем ползающего по нему врага. В его отношении к противнику улавливается больше от широкого народного презрения, чем от личного счета, и обвиняет противника Луконин не столько от себя, сколько от имени земли и природы: «Бредут под конвоем посиневшие фрицы, И русская осень плюет им под ноги...» («Осень»).

---

[1] Гудзенко С., Армейские записные книжки, М., 1962, с. 34.

Вот у Гудзенко ведут колонну пленных немцев, — и что же? Стена! Кровавый штык видением встает. И нет сил жалеть их, и смотреть на них, и — быстрее мимо... «Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели» — сказано в «Моем поколении». Это — Гудзенко.

Луконин-то как раз *может* пожалеть. В нем много естественных живых сил, и потому он отходчив. К пленному немцу — если он близко, если видно лицо — возникает у Луконина даже какое-то задорное любопытство. «В Ельце» — пляшет пленный. «Пляшет и пляшет, заискивая глазами...» Подлизывается? Луконинская реакция напоминает стычку мальчишек на улице: «А зачем стрелял в меня на улице Коминтерна?»

Простодушие, скрывающее страшную правду. «Улица Коминтерна»... 1941 год. Еще тают в воздухе последние иллюзии, будто немецкие рабочие не станут стрелять в красноармейцев... Стреляют! Стреляют на улице Коминтерна!.. Рушится романтическая мечта о близкой всемирной, «земшарной» мировой справедливости: реальность свинцом проходит сквозь романтический мир. Надо искать силы, чтобы духовно устоять в этой переменившейся реальности.

В лирике Гудзенко эта перемена переживается как катастрофа. Он не говорит об этом впрямую, но сквозной мотив «подмененной реальности» горечью разлит в стихах. Характерен для Гудзенко образный ход: он окликает реальность, а она отвечает ему... незнакомым голосом. Встречаются двое на перекрестке войны. Он солдат, она солдатка. В порыве торопливой ласки она называет его именем *своего* мужа, он ее — именем *своей* любимой. Любовь продолжается под псевдонимами, горько, вывернуто.

Вдумайтесь в этот же мотив у Луконина, в «Прощании»:

Меня совсем из сердца излучила?
Теперь уже не мучает вина?
Ты хорошо другого изучила? —
Смотри
не перепутай имена.

Этот не примет сон за реальность.

Контраст двух поэтических характеров с особенной яркостью виден в отношении к смерти. Оба из «поколения меченых», оба своими глазами видят, как умирают. И силы собирают, чтобы выдержать. Но и тут — по-разному.

Гудзенко — готовится. «Мы не от старости умрем — от старых ран умрем». Самый ход стиха, самый тип переживания говорит о том, как вглядывается Гудзенко в сожженные тела однополчан. Как у него живые глаза «выедает» голубизна неба. Словно жизнь — невероятное чудо, готовое вот-вот оборваться, и надо удержать ее, сколько хватит

сил. «Так раненые кровь хранят, руками сжав культяпки ног» («Баллада о дружбе»), — страшный образ, возможный, пожалуй, только у Гудзенко и совершенно немыслимый у Луконина.

Ракурс у Луконина — противоположный. Для него смерть — абсурд: «Саша, как ты упал небывало. . .» («Саше Щукину»). Луконин словно каждый раз ахает, изумляясь смерти, словно не верит в нее. Словно умирают не насовсем. Словно что-то живое все равно остается в пробитых, простреленных телах. Как теплится живое и в траве, и в камнях — во всем! Бегущие деревья. Упавшие на лапы трамваи. Колени водосточных труб. Грудь паровоза. Глаза домов. Спины рельсов. У Луконина такое всепронизывающее ощущение *обжитого мироздания*, при котором чувство миропорядка сохраняется даже в катастрофе. «И пулемет, как плуг, держать. . .» И «самолет стрижет комбайном. . .» Всякая деталь напоминает о неистребимом порядке целого. Даже если деталь сорвана с места. Даже если все перевернулось. Луконин отвергает перевернутую логику. В перевернутом мире соотношение вещей упрямо сохраняется. В фойе театра — бой; один каменный лев падает, другой — заслоняет собой дверь. И тот и другой восприняты как живые; в их гибели нет безумия, скорее это естественное самопожертвование сильного существа. Фантастическая картина, когда герои гибнут на сцене от настоящих пуль, картина, которая иного поэта толкнула бы на апокалипсические чувства, у Луконина окрашена ощущением жестокого, но правильного, закономерного, неотступного порядка:

К суфлерской будке
старшина
припал
и бил во тьму.
И
история сама
суфлировала ему.

(«Сталинградский театр»)

Космос в хаосе. Разбитый театр — все театр. Истерзанная земля — все земля. Разрушенный дом — все дом!

Для Гудзенко «дом» — призрачность. У него все *навылет*, он «двери отворяет штыком» («Киев»). Чувство дома отсутствует, а если оно возникает, то как знак обмана: снаружи дом как дом, есть стены, окна, двери, а внутри — ни души: все брошено, выжжено: «Нам здесь не жить». . . Герой Гудзенко — не «житель».

Лукoнинский герой — именно житель, и прежде всего житель, упрямый и цепкий. Отсюда в его стихах прорастающие зеленью развалины. И гнезда воробьев в пулеметных гнездах. Природа — это

дом. Руины — дом. Чистое поле — дом: «облака развешаны, как плакаты». «Куда я ни пойду — везде мой дом» («Мой дом»).

Это не тема (хотя в циклах о восстановлении Сталинграда будет и такая тема), это мировидение, которое определяет стих и там, где описывается нечто далекое от строительства. Например, осень: «Скоро и лужи, и небо, и окна — всё застеклится!» Например, танк: «Стальной холодный дом». Например, бой, который все распластывает, пригибает к земле... Нет, вы почувствуйте, *как* это увидено, это ж, наверное, никто в русской лирике, кроме Луконина, не мог бы так сказать:

Налезли муравьи
в мой маленький окопчик,
а я траву высокую
поставил над головой,
чтобы меня среди травы
не разглядел летчик,
и так —
с травой —
понятней,
когда начнется бой.

(«Машинист»)

Живучая сила, которая в самой, казалось бы, безнадежной ситуации поднимает и гонит человека с муравьиным упорством наращивать жилье и жизнь, дом и космос.

Эта-то живучесть духа и делает Луконина своеобразным лидером поколения, или, если употреблять близкий этому поколению военный язык, его *правофланговым*. До середины пятидесятых годов и эта роль, и сами стихи Луконина воспринимаются скорее в проблемно-тематическом, чем в эмоциональном и философском плане. Это поэзия солдат, пересевших с танков на трактора, поэзия восстановления и созидания. Это стихи мастера, умело перешедшего на «темы мирного труда» и давшего перевооружавшейся лирике летящие формулы, давшего лозунг «Пришедшим с войны»:

Нам не речи хвалебные,
нам не лавры нужны,
не цветы под ногами,
нам, пришедшим с войны.

Но не чувствуется ли в самом основании этого светлого аккорда какая-то скребущая нота?

Ты прости меня, милая.
Ты мне жить помоги.

«Приду к тебе» — классика: жадность к жизни, к труду, к любви. Это зримый уровень. Есть еще незримая драма в этом стихотворении, что-то остро беспокоящее:

Будешь к завтраку накрывать,
а я усядусь в углу.
Начнешь,
как прежде,
стелить кровать,
а я
усну
на полу.
Потом покоя тебя лишу,
вырою щель у ворот,
ночью,
вздрогнув,
тебя спрошу:
«Стой! Кто идет?!»

Подспудную драму, спрятанную в стихе, нелегко определить. «Добро невпопад»? Нет... не те слова. Словно бы два человека пытаются облегчить друг другу душу, а воспринять добро не могут. Словно нарушен тут непоправимо какой-то баланс естественности. Словно в прекрасном мироздании некая есть «подмена» (вот он, лейтмотив, так пронзительно звучавший у Гудзенко!), и преодолевает ее луконинская лирика ощущением встречного самоотречения людей, связанных в этой горькой игре необходимостью превзойти друг друга в великодушии. Царапает на дне стиха песчинка, невидимая глазу, скребет, незаметно кровавит душу... Вдумайтесь: «Но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой...» Строки, зацитированные в лоск, а вслушаешься в донный звук — скребет. Сквозь тяжелый, уверенный ритм стиха улавливаешь что-то, похожее на подавленный вздох.

Долгое время этот план луконинской лирики оставался в тени или воспринимался как ничего не определяющая психологическая краска, аналогичная «интересной форме» — его знаменитому «спотыкающемуся» стиху. Понадобилась еще одна перемена общей ситуации в поэзии, чтобы эти струны стали резонировать. Чтобы в лирике отвоевавшего поколения выявился аспект более всеобщий и глубокий, чем непосредственное переживание войны. Чтобы история солдата-победителя, вынесенная за пределы фронтовой тематики и осмысленная в широком нравственном контексте, дала тот духовный

эффект, о котором С. Наровчатов сказал: «Наше поколение не выдвинуло гениального поэта, но всё вместе оно стало таким».[1]

«Всё вместе» оно вписало уникальную страницу в историю советской и русской лирики: портрет души, для которой война явилась лишь первым испытанием. Портрет души тех самых «мальчиков революции», что «опоздали» к гражданской, — души, сотворенной верой в удивительное единство индивида и мира, единицы и массы, одного и всех, человека и общества, песчинки и потока.

Проба огнем — первое испытание. Но не последнее. Суждена им еще и проба долгой повседневностью, скрытыми ее бедами. Бурные праздники и монотонные будни предстоит пережить этой душе, верность и измену, давление толпы и давление одиночества, внезапность потерь и ожидание старости — все это должна познать душа на долгом пути, прежде чем ее лирическая исповедь войдет в историю поэзии.

Ситуация меняется медленно, но неотвратимо. В начале пятидесятых годов К. Ваншенкин и Е. Винокуров резко сбивают тембр «фронтовой лирики», погружают стих в непривычную повседневность, ставят в центр внимания обыкновенного, полного слабостей человека. Во второй половине пятидесятых годов Б. Слуцкий и Д. Самойлов высвечивают драму этого человека жестким светом исторической, «державной» логики. На рубеже шестидесятых годов Б. Окуджава начинает слагать маленькому солдату большой войны сентиментальный реквием, пронзительная печаль которого уже совершенно не совмещается с мироощущением луконинского героя, привыкшего чувствовать себя победителем.

Слишком упрямый, чтобы прислушиваться к веяниям, Луконин продолжает гнуть свое. Он злится, когда его лирику ставят в новый контекст: после смерти Гудзенко Луконин словно бы утрачивает непосредственное чувство поколения, он не хочет, чтобы критики загоняли его лирику в какое бы то ни было «течение»! Каждую новую книгу свою: и «Стихи дальнего следования» (1956), где собрана лирика первой половины пятидесятых годов, и «Преодоление» (1964), где собраны стихи второй половины десятилетия, и начатое в шестидесятые годы «Испытание на разрыв» (1966) — он демонстративно ставит поперек потока, наперекор поэтической «моде». Это драма победителя, у которого незаметно уходит почва из-под ног, а он упрямо держится привычных точек опоры, потому что не знает другой вселенной, кроме той, которую знает: прочную, устойчивую и надежную. Он не хочет писать изменчивое время и исповедь «меняющейся души» — его влечет ширь и эпичность мира.

---

[1] Наровчатов С., Мы входим в жизнь, с. 93.

Наверное, шестым чувством он все-таки понимает, что пишет исповедь души и что именно *лирическим вкладом* останется в истории своего поколения, а тем самым — в истории русской лирики. Но Луконина смутно беспокоит «узость» такой исповеди. И потому всю жизнь, оставаясь признанным правофланговым чисто *лирического* фронта, он упрямо и неотступно пишет поэмы.

5

Поэмы — предмет его непрестанного ревнивого беспокойства: «Я знаю, есть читатели и критики, которые не воспринимают моих поэм... Я и не рассчитывал на общее признание, знал, что популярным не буду...» [1]

У Луконина имелись основания сомневаться в читательском эффекте его поэм. Критики, как правило, отдавали им должное. Но даже самые доброжелательные из них оговаривали свои сомнения по части читабельности этих огромных полотен. Никто не сомневался в том, что Луконин *мог бы* сделать их более легкими для чтения. Он не хотел.

Может, он и был прав. Как нельзя вообще «переиграть жизнь», так и в данном случае нельзя представить себе, что было бы, если бы Луконин нашел для своих поэм более легкую форму. Возможно, они просто рассыпались бы.

Есть своеобразный драматизм в самой истории их создания: официальные поздравления критики никогда не могли обмануть Луконина: всю жизнь подозревая читательский неуспех своих эпических детищ, он всю жизнь продолжал считать их главным делом. Не только из упрямства конечно, хотя без упрямства Луконин не был бы Лукониным, а из того непреложного обстоятельства, что он по внутреннему самоощущению, по изначальному бытийному заданию всегда чувствовал себя человеком эпоса. Человеком, в чьей личной судьбе адекватно выявляется логика мира. Человеком, в сознании которого мир вообще непременно *имеет* логику, цель и путь к цели.

В этом смысле Луконин тяготеет к старшим поколениям, для которых эпос всегда был на первом месте. С некоторой долей преувеличения рискну все-таки сказать, что та поэтическая генерация, которую мы прямо и непосредственно соотносим с солдатской поэзией Великой Отечественной войны, дает русской литературе прежде всего лирическую и драматическую картины мира. Коротко говоря, это судьба солдата, а не панорама событий. Чуть раньше, чуть старше — и уже именно эпос, именно поэма решающий жанр: при име-

---

[1] **Луконин** М., Товарищ Поэзия, с. 71.

нах А. Твардовского и А. Недогонова, М. Алигер и К. Симонова прежде всего возникает мысль об их поэмах... Чуть позже, чуть моложе — и у послевоенных романтиков восстанавливается неповрежденно целостная модель мироздания: с поэм начинается Василий Федоров, от поэмы к поэме развиваются Р. Рождественский, Е. Евтушенко, В. Фирсов, А. Вознесенский...

Но нет поэм у Б. Слуцкого, нет у Е. Винокурова; никто не запомнил поэм А. Межирова и К. Ваншенкина; никто не поставит на первое место перед лирикой поэмы С. Гудзенко или С. Орлова. Никто не скажет, что в лирике Д. Самойлова продолжен строй его поэм, но все согласятся, что в его поэмах (точнее, исторических балладах и драмах) продолжен строй его лирики. Характерно и то, что внутри «солдатской волны» к эпическому жанру тянутся те, кто постарше, кто успел, подобно М. Кульчицкому, С. Наровчатову и П. Когану, начать картину в предвоенной, предгрозовой тиши, — те, кто стоит на рубеже поколений.

На рубеже и Луконин. И если всею реальной судьбой его выносит в волну солдатской лирики, то первоначальным опытом он тянется к тому берегу, на котором сделаны первые шаги: поэтический «генофонд» Луконина определенно эпичен.

От этого-то «с самого начала меня тянуло к поэмам». Первое, что написано, — поэма о футболе. Под одной из первых сталинградских публикаций — пометка: «Из поэмы „Симфония“» (поэма посвящена событиям гражданской войны). Первые годы в Москве — две поэмы. «Поэма нескольких дней» — как сам Луконин определяет, «лирически личная» (журнал «Знамя» берет ее, но не публикует: наступает 22 июня 1941 года). Другая поэма, привезенная Лукониным из Карелии, называется «Вступление», он ее в журнал отдать не успевает и берет с собой на фронт (она-то и сгорает в грузовике под Негино). «Поэма нескольких дней» тоже пропадает: в 1943 году, во время одного из переездов, в эшелоне, вместе с вещмешком. Судьба словно испытывает его настойчивость: весной 1945 года в Восточной Пруссии, снимаясь с постоя, Луконин опять забывает вещмешок. Под Штеттином, хватившись, разворачивает машину, гонит назад... находит — «на рояле в дымящемся доме». В вещмешке — главы «Дороги к миру». Через месяц, уже после Победы, Луконин в Москве читает эти главы Семену Гудзенко. Сидят на подоконнике. Майский ветер рвет из рук рукопись, несколько листов летят вниз с восьмого этажа.

«Это естественная редактура!» — смеются они и не бегут за листами. «Так много всего, что ничего не жалко».[1]

---

[1] Луконин М., Товарищ Поэзия, с. 221

«Так много всего...» И судьба словно отступается, дает Луконину написать все, что клубится в нем. Он укладывает в три огромные поэмы все, что накопилось: за годы военные («Дорога к миру», 1944—1950), за первые послевоенные («Рабочий день», 1948), за пятидесятые («Признание в любви», 1952—1959)... И из шестидесятых досылает вдогон: «Поэму возвращения» (1962) и «Обугленную границу» (1967—1968) — так сильна творческая инерция, так мощно, через край, идет жизненный материал, не удерживаясь в лирических пределах, требуя поэм.

«Поэма встреч» — первая из сохранившихся. Фронтовой сюжет: наступление, ремонт танка, германское поместье невдалеке, перепуганный немец, хозяин, «бауэр», куровод-лауреат, протягивающий победителям охранную грамоту какой-то сельхозвыставки рейха — «за успехи в хозяйстве поместья...».

Мотив нравственного счета: ах, ты хочешь разводить кур? А вспомни, как твои солдаты стреляли гусей и уток на Орловщине, во дворе у Тимофея Емельянова, а у него, между прочим, тоже грамота была за успехи в сельском хозяйстве, и он тоже хотел заниматься своим любимым полеводством!.. Мотив прямого, конкретного, персонально ощутимого возмездия, скрыто присутствующий во всей фронтовой лирике Луконина (помните: «А зачем стрелял в меня на улице Коминтерна?»), пожалуй, слишком тут плакатен; Луконин куда лучше и тоньше продумает и разработает эту систему встреч — очных ставок в поэме «Дорога к миру» (в 1945 году он уже пишет ее, но до конца пока далеко).

В «Поэме встреч» есть момент более интересный: концепция труда. Автор говорит врагу: лезь в навоз! Наработайся до упаду — не останется сил и разбойничать. Луконин признает ломовую, тяжелую, мышечную работу, чтоб пот катился, чтоб мозоли горели да чтоб нужда подгоняла.

В лирике это дало пронзительные строчки: «жажда трудной работы нам ладони сечет...» («Пришедшим с войны»).

Там мотив — здесь уже программа. Очень легко в наш век «кибернетики и атома» доказать ограниченность ее. Но вопрос не так элементарен, как может показаться: подобную оценку труда пропагандировал, между прочим, Лев Толстой в последние годы жизни. Вряд ли именно его числит среди своих предтеч военкор газеты «На штурм» двадцатисемилетний старший лейтенант, идущий по Германии в составе танковой армии. Луконин отсчитывает от другого. От своей юности в Тракторном заводе. От детства в Быковых Хуторах. Вот когда земля начинает проступать из-под «земшарной» мечты.

В следующей поэме, «Рабочий день», Луконин развивает эту

концепцию детально. Мускульная работа. Сброшенные ватники. Горящие руки. Пульсирующий, мускульный ритм стиха:

Он вставил стебель раскаленный,
нажал педаль,
и молот
стукнулся
с разгона
в тугую сталь.

Пластический лейтмотив — удар. Сильное бьет, формует, плющит; слабое поддается, подчиняется — стих отзывается ударам. В самой стиховой интонации поэмы обнаруживается жесткость — открытый звук. Пропадает та чуть заметная «развалка», та хрипловатая «свернутость» звука, по которой всегда узнавался Луконин. В черно-красных контрастах, в веерах летящих слов-искр очень чувствуется Маяковский. Машина — продолжение человека, человек — продолжение машины. Воспоминания детства: машина для мальчишки — живое существо, капельки смазки на боках трактора кажутся ему капельками пота; во время митинга он, свесив ноги, сидит на крыле трактора, как на плече отца... Встречный мотив: среди уличной вольницы мальчишки друг в друге ценят железные мускулы. Если есть *железо* в мышцах, в характере — выдержишь. Детство пропитано металлом — это ощущение в словах, в красках, в дыхании. Мальчишка бежит к *«маслянистой»* воде Волги, пыля «пятками *бронзовыми»*... «Жестколицый» — кажется, о Луконине сказано..

Любопытное ощущение: в нравственной системе поэмы нет... врагов. Это кажется невероятным. А война? Интервенты?! Они — вне нравственной системы. Да, была война, горел город, горел завод, под стенами копошилась зловещая мышиношинельная масса. Выжгли, вымели, вывели.

...Метет пурга,
мечется чертом.
Ступает застуженная нога
по немцам мертвым.

Враги — мертвый утиль, материя, они вне действия.

Внутри действия — среди героев поэмы, в семье Бадиных и вокруг — «плохих людей» не видно. Разве что Илья? Тот, что подался в теплые края, где картошки побольше. Однако и он вернулся, раскаялся. Это самая крайняя точка негативности среди действующих лиц поэмы.

Ну а природа? Природа почти не видна. Редко и лишь в просветах работающей системы. Ветер в стропилах. Ласточки в проводах. Дождик в водосточных трубах. Тепло вытеснено крайними со-

стояниями: либо выжжено огнем — там, где природу человек переплавляет, либо выморожено холодом пустыни — там, где у человека еще руки не дошли. Природа — земля, в лоне которой пробует себя воля человека, причем земля не только в глобальном плане, но и в пластико-технологическом: формовочная земля металлургии, которая буквально выдерживает удары расплавленного или твердого металла.

Как ведет себя земля? Устает. Технологически. «Усталость форм», «усталость металла». Сменить — и работать дальше. В глобальном смысле земля не устает. Не имеет права. Все «выдержит земная гладь: она недаром Училась противостоять любым ударам».

Безостановочную монолитность этой работающей системы, отсутствие в ней моментов внутреннего сомнения, разлитый в поэме прямой бестеневой свет — все это можно было бы назвать в стиле *тогдашней* критики «бесконфликтностью», если бы глубокий и серьезный нравственный конфликт не был заложен потенциально в самой основе такой системы. Полемичность в ней заложена, и оппонент предполагается, и расхождение с ним сформулировано... но не в поэме Луконина. А в одной его статье того времени.

Как раз в ту пору, весной 1949 года, несколько недель спустя после появления поэмы «Рабочий день» в ленинградском журнале «Звезда», Луконин публикует (в той же «Звезде», а в сокращенном виде и в «Литературной газете»[1]) большую статью «Проблемы советской поэзии». Там он, в частности, высказывает свое отношение к поэме Н. Заболоцкого «Творцы дорог», отношение очень интересное, с нашей точки зрения, но настолько резкое, что резкость эта, пожалуй, сегодня уже требует специального объяснения.

Боюсь, что *современный* читатель, заглянув в № 3 «Звезды» за 1949 год, будет несколько ошарашен стилем Луконина, который назвал Т. С. Элиота агентом космополитизма и американизма, Б. Пастернака — юродивым, путающимся у нас в ногах, а А. Ахматову — декаденткой, чью поэзию культивируют подонки. Луконин *никогда* впоследствии не вспоминал об этой статье, он ни одной строки из нее не вставил в два объемистых издания книги своих статей «Товарищ Поэзия». «Есть случаи, которых я сейчас просто стыжусь».[2] Я уверен: это признание имеет в виду статью 1949 года. Исследователи творчества Луконина ее, правда, вспоминать не любят: ни один из критиков, писавших о нем, ни словом о ней не обмолвился. Считается, что вспоминать бестактно. Я иначе смотрю на задачи истории литературы: умнеть надо не забвением, а памятью. Луконин достаточно сильная фигура, чтобы отвечать за свои слова. Не только

---

[1] «Литературная газета», 1949, 19 марта.
[2] Луконин М., Товарищ Поэзия, с. 91.

в смысле верности оценок: тут время само всех расставило по своим местам: и Заболоцкого, и Элиота, и Пастернака, и Ахматову (в издании которой в Большой серии «Библиотеки поэта» четверть века спустя Луконин сам участвовал как член редколлегии). Но интересен момент чисто психологический: как Луконин, человек самобытного характера и независимого нрава, в 1949 году написал и напечатал такое? Механическим исполнителем его не назовешь.

Тут надо учесть, конечно, что статья представляет собою *доклад*, а Луконин был тогда работником Союза писателей. «По должности» не мог отказаться. А уж взявшись за доклад, Луконин вложил в него всю свою страсть. Пожалуй, в этом был оттенок и чисто солдатской решимости: пропадать — так с музыкой! Обрушился на Д. Данина, одного из лучших критиков того времени, который писал о стихах Луконина интересно и ярко, а на «Рабочий день» откликнулся почти восторженной рецензией — буквально за считанные дни до того, как «попал» в луконинский доклад!

...Долго потом пришлось Луконину ждать хороших критиков. Двадцать пять лет спустя он сказал мне (это был единственный мой разговор с Лукониным, и я помню его слово в слово), даже не сказал, а буркнул: «Надоела дамская критика». Меня потянуло спросить: «Михаил Кузьмич, а помните, как вы оттолкнули Данина?» Но посмотрел на эти чугунные обвисшие плечи. Дыхание вдруг расслышал шумное, тяжелое. Понял, что ни волоска не добавлю к тому грузу, который и так уже таскает на себе этот человек... Разговор произошел летом 1974 года.

В 1949 году Луконину было куда легче. И он с гневом говорил о Заболоцком, что тот книжничает, выдумывает, пугается сам и пугает читателей. Что тот плохо разбирается в происходящем. Что никому не нужно его «иконописное мастерство и рассуждения о стихиях и толпах, о мирозданьях и прочей символике».[1] Раздражение Луконина вызвали следующие строки из поэмы Н. Заболоцкого «Творцы дорог»:

Рожок поет протяжно и уныло, —
Знакомый сердцу, радостный сигнал!
Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал...
И, равномерным грохотом обвала
До глубины своей потрясена,
Из тьмы веков природа простонала,
И, простонав, замолкнула она.

---

[1] Луконин М., Проблемы советской поэзии (Итоги 1948 года). — «Звезда», 1949, № 3, с. 189.

Комментарий Луконина: «Вот, оказывается... приходится пожалеть природу... В этих стихах как раз то отношение к труду, тот подход к изображению рабочих, который мы должны решительно отмести». [1]

Луконин уловил в поэзии Заболоцкого ту концепцию, которая фундаментальным ощущением ценностей противостояла в тот момент его собственной. У Заболоцкого земля наделена духовным суверенитетом, ей больно, ее надо пожалеть.

В 1949 году Луконин еще не знает этих чувств. Вернее, так: он еще не знает, что он их знает.

«Рабочий день» с предельной последовательностью выражает тогдашнее время, но параллельно этой поэме, достаточно локальной по теме и охвату, Луконин пишет вещь значительно более широкую и масштабную — поэтическую хронику военных лет.

6

«Дорога к миру» появляется через полтора года после «Рабочего дня». На сей раз московские журналы не упускают рукописи, они даже соперничают из-за нее: Луконин несет текст в «Знамя», случайно показывает Твардовскому; тот читает за ночь (три тысячи строк!) и ставит в ближайший, майский номер 1950 года.

Начнем разбор этой поэмы с темы земли, природы: сравнительно с «Рабочим днем» она в «Дороге к миру» занимает заметное место и играет самостоятельную роль — родная земля действительно *участвует* в драме войны. В художественной системе она как бы «помогает» бойцам: березы им кивают сиротливо, дождик прикрывает их сеткой, ветер гладит им головы, солнце заглядывает им в лицо, израненная трава кланяется им колосками... И падает трава на колени, когда проносятся над нею немецкие «мессера». Трава — ключевой образ в этой системе связей человека с родной землей; чувствуется, что породил Луконина степной край; у него и в лирике, в стихотворении «Машинист»: «Я траву высокую поставил над головой...» Здесь то же: упасть в траву лицом — спрятать лицо от огня.

Истомленные травы,
                    замирая от света,
встают, выпрямляя онемевшие ножки,
узнать,
          как проходим мы средь горячего лета,
и аплодируют в крохотные ладошки...

---

[1] Там же, с. 188.

Интересно, что, отрицая в стихах Заболоцкого мотив жалости к природе, Луконин в эту же пору практически приходит к близким чувствам. Жалости Заболоцкого тут, конечно, нет. Но есть ощущение того, что земля *живая*. Беззащитная. «И я боялся бегать по лужам, чтоб в небо нечаянно не провалиться...» Этот детством навеянный образ отвечает у Луконина глубинному плану мироощущения: земля, стеклянно отраженная в небе, небо — в земле. Мир завершен и... хрупок. Его надо беречь. Понять себя на родной земле, в связи с родной землей. Это станет темой и предметом следующей, главной поэмы Луконина и окрасит в его творчестве целое десятилетие — пятидесятые годы.

Сейчас, в «Дороге к миру», этот мотив идет как бы вторым голосом. А что — первым? Что определяет? Что связывает воедино эти сменяющиеся картины, в которых дан как бы срез истории войны: выход из окружения 1941 года — Сталинград — Курск — Харьков — Корсунь-Шевченковский — граница? Поэму держит разветвленная сетка сюжетных связей, личных судеб. Эти линии — логично ли или самым фантастическим образом — обязательно сходятся, смыкаются, кольцуются; люди, услышавшие друг о друге, в конце концов встречаются; попутчик, с которым герой поэмы вместе выходит из окружения, оказывается в финале тем комбатом, к которому приводят пленного, а пленный этот оказывается тем самым рыжим немцем, которого они с 1941 года запомнили в деревне под Брянском, когда во дворе упала перед ним на колени русская крестьянка.

Враги в поэме — уже не та сплошная, слепая масса, след которой ощущался в «Рабочем дне». Масса расчленена. Вот пленные идут толпой, опустив почерневшие лица... У них есть *лица*! Немец — контрагент нравственного действия. «Я хочу говорить с ним...» Не убить его, не сжечь, не вымести просто — *говорить*. Убить — это еще не разрешение вопроса. Надо главный вопрос решить, надо немца *спросить* кое о чем... «Не стесняйся, закури, подсудимый... Ты помнишь, у Брянска была деревенька?!» Деревенька 1941 года, хлипкий сарай, в котором спрятались окруженцы, а во дворе хозяйничают оккупанты, и сквозь щели сарая видно, как они уводят корову, и слышен бабий плач — хозяйка упала на колени: «Пан!..» И этот рыжий взглянул на нее и, усмехнувшись, бросил своим: «Düngermenschen! Навозные люди...»

Удар пули, танковая атака, бомбежка, окружение, горящие города, рвы мертвецов, встречные бои, рукопашные схватки — все бледнеет перед этим небрежным словом. Можно перейти курганы черепов, но нельзя стерпеть «научный труд» герра профессора Бельфингера «Сравнительное изучение черепов и влияние их различий на ум». Можно месить грязь, навоз — дюнгер... Но невозможно стерпеть

пощечину, невозможно, когда немка бьет батрачку, пригнанную с востока, по щекам. Можно сгореть в танке. Но идти на шаг сзади немецкого барина и мирно нести ему чемоданы невозможно! Само слово это произнести невозможно: «Барин...» — кровь в лицо бросается...

Здесь суть. Когда историки русской революции размышляли о движущих народных силах ее, то, учтя все социальные, экономические и политические причины, потом, после всего, замечали еще вот что: очень уж русский барин был *не похож* на русского мужика. Ходил не так, говорил непонятно, одевался иначе. Детали... А ранило, представьте, больней, чем капитальные имущественные контрасты. Презрением несло от этой непохожести. Почти иррациональная вставала ненависть. Ибо здесь было замешано достоинство.

В нравственной системе поэмы Луконина есть этот коренной, всеопределяющий мотив: здесь замешано достоинство. «Избранная раса» и «навозные люди». Инстинкт крови, упакованный в научные теории. Обмеры черепов, преподаваемые чистенькому школяру чистеньким учителем. Вот что вызывает у Луконина холодное бешенство — они *чистенькие*!

Так сплавилось с первоначальным лукопинским романтизмом все то, что было спрессовано в другой первоначальности — в вековой социальной памяти поколений. И вскипающее самолюбие, и уязвленное достоинство мальчишки, кинутого в батраки, и бешеная гордость, скопленная поколениями там, в вольных южных степях.

Дети и судьбы, отцы и история, кровный союз человека с породившей и вскормившей его землей — вот круг проблем, над которыми бьется Луконин все следующее десятилетие. Результат — «Признание в любви», главная его поэма.

7

Он задумывает ее летом 1950 года — точнее, не «задумывает», а испытывает первотолчок, когда, подплывая на пароходе к родным местам, слышит по радио правительственное постановление о строительстве ГЭС под Сталинградом и обводнении Прикаспия.

Заканчивает поэму весной 1959 года в тех же Быковых Хуторах, прожив зиму в Доме колхозника, — на ГЭС как раз пущены первые агрегаты, и первая вода идет в степь.

Поэма «опоясана» строительством гидроэлектростанции. Преображение земли руками человека — вот широкий сюжет. Конечно, в такой махинище на шесть тысяч строк много и других мотивов. Там вообще много материала: и современного, и исторического. Словно отвечая критикам на всегдашние обвинения в тяжеловесности, Луко-

нин все демонстративно утяжеляет, даже вводит в поэму выдержки из газеты «Царицынский вестник». И это тоже подкрепляет общую установку на своеобразную многослойную хронику: хронику общественной истории, хронику семейной истории, хронику строительства ГЭС, хронику переживаний лирического героя... Перед нами скорее не поэма, а стихотворная книга, *поэма* же — об истории семьи поэта, о его деде Ефиме, о его отце, о матери — составляет внутри книги, как точно сформулировал сам Луконин, «поэму в поэме», крепко сбитую сюжетно и единую по пафосу.

Пафос — попранное достоинство и ответная неистовая гордыня. Отсюда — поэтические краски. Жажда и ветер. Огонь и вихрь. Палящий зной и сносящая с ног метель. Иссохшая земля Прикаспия, голод, обожженные поля, обожженные жаждой рты, огненное солнце, дразнящее, похожее на котел дымящейся каши, и ветер, освежающий или бессильный освежить этот мир, — вот пластический контрапункт поэмы. Вплоть до венчающего поэму великолепного пейзажа:

Верблюды ветер нюхали подувший,
солончаковые бока их обожглись.
Висели стрепеты,
как рваные подушки,
перо,
    сухое от жары,
                роняя вниз...

Огонь — это и огонь тайных дум. Пожар чувств, раздуваемых ветром. Иссушающий ветер гордости, дар гордости, шок гордости...

Американцы на Тракторном. Специалисты. Обедают отдельно, в специальной столовой. А в цеху — аврал. Первый трактор собирают. Москва ждет, партийный съезд ждет! Сборщики, не так давно пришедшие в лаптях из деревни, насаживают колесо на полуось. Не лезет! Бегут слесаря; обжигая руки, сдирают лишнее — шуруют напильниками посреди цеха, выстроенного по последнему слову американской техники. Лихорадка, горячка, шок!

Спецы, правда, про навоз — ни звука: вежливые. У этих реакции потоньше:

Американцы щурились:
                «Коллеги,
мы едем, оставляем вас одних.
Не трактора вам делать, а телеги», —
выплевывали жвачку в проходных...

Поворот темы — чисто луконинский! Голодный пацан, сквозь прутья беседки жадно глядящий, как обедают американцы, — *его* герой. Только ли голод жжет его? Нет, больше. Визг напильников в ушах. Горькая обида: доказать им...

Опаляющая ответная гордость держит душу героя, держит поэму. Она определяет поступки героев центральной части, где под реальными именами выведены главные лица луконинского родословия, и прежде всего его дед Ефим Денисович Луконин. Тот самый, что вилами выгнал сына из дому, а потом в его же дом — постучался...

Сын от отца откалывается — из-за гордости: не хлебом единым жив человек! И сбрасывает голодный сын с крыльца привезенный Ефимом мешок муки: не хочу твоего! Подавитесь! Гордость на гордость.

Двадцать лет проходит. Уж в могиле сын, а счеты все не сведены: внук наследует дедов нрав. Дедово упрямство! А дед — жив... Ловит внука у комбеда, зазывает в дом, кормит так, как тому и не снилось: «ложка в жиру!» Мать, «краснокосыночница», отговаривает: «Не ходи туда, слышишь, сыночек, пусть богатством подавится, зверь!..» Гордость нищих, гордость голодных!

И еще пять лет проходит; переламывается наконец жизнь: дед сослан, а внук в городе: бегает в школу. Но не сведены счеты. Может быть, это сильнейшая во всех луконинских поэмах сцена: не просто *кусок хлеба* дают вернувшемуся деду. Хлеб — ответ, довод в давнем споре.

И был он страшен, дед, в минуту эту.
Детей прижали женщины к груди.
«Опомнись, тятя...»
— «Нет, пойду по свету».
Он взял котомку.
«Темень, не ходи!..»
— «Сдыхайте вы,
пойду своей дорогой».
Шагнул он;
борода была в слезах,
дрожали ноздри давнею тревогой,
огонь плясал в косых его глазах...

Страшная сцена. Страшна пропасть, проточенная воспаленной гордостью. Неутолима жажда достоинства, прожигающая душу, еще вчера втоптанную в унижение, — страшно распрямление такой пружины. «Подохнешь!..» — «...На ваши слезы поглядеть хочу...» И визжат в ушах напильники, и щурятся сытые американцы: «Не трактора вам делать, а телеги...»

Дед уходит. Уходит из жизни внука. Но не из памяти. Оставил внуку загадку. И, мучась над этой загадкой, повзрослевший внук всматривается в старую фотографию, в крупные дедовы руки в узлах жил, и неожиданно для себя, десятилетия спустя, вдруг жалеет дедушку. И — ненавидит его. За то ненавидит, что не дал дед полюбить себя. Дедова гордыня у этого внука: «Есть еще твое в моей крови...» С этим и надо жить — в новом, мирном времени. Он доказывает свое, внук. Берет все от жизни. Он утверждает свою правду, вчерашний свинопас, «кухаркин сын», голь перекатная. Он чувствует себя хозяином земли! К ногам любимой готов он положить все это: эту ширь, эту даль, эту глубину...

А ты молчала, век не размыкая,
потом сказала:
«Сыро над водой...
Греби обратно...»
Да, ты вся такая.
Я замирал над зреющей бедой...

Придет час — вспомнится это предчувствие. Или рок такой над «жестколицыми» — именно на любви, на нежности подрываться?..

Еще дважды в шестидесятые годы Луконин обратится к жанру поэмы. Но ни «Поэма возвращения» (1962), ни «Обугленная граница» (1967—1968), похожие, впрочем, больше на развернутые стихотворения, чем на поэмы луконинского масштаба, не стали событиями в литературе. Логика развития повернула Луконина к «чистой» лирике; именно как лирик он в шестидесятые годы еще раз вышел на авансцену литературы. И это было нелегкое испытание.

8

Потом, когда кончилось и это десятилетие, когда *«испытание на разрыв»*, выпавшее Луконину, осталось далеко позади, когда уже и *«преодоление»* этих событий в душе стало фактом, и *«необходимость»* свершившегося была тяжко осознана, и *«вздох облегчения»* вырвался и тоже был осмыслен поэтически, когда все эти поименованные мной сейчас поэтические циклы и книги прочно вошли в нашу лирику шестидесятых годов и критики поэзии признали за Лукониным одно из видных мест в ней, — у него в 1971 году вырвалось: «Наверно, так писать стихи нельзя...» [1] Опасно так писать стихи — когда не «сочиняешь», не «воображаешь» их, а рассказываешь в них реальную душевную драму. «Опасно жить...» Опасно сердечным разрывом платить за такую, в общем-то, эфемерность, как «качество стиха».

---

[1] См. стихотворение «Наверно, так писать стихи нельзя...».

Безумная затея нами движет:
чтоб каждую строку прожить собой
и самому еще
при этом
выжить.

Луконин изорвал себе душу, написав «Испытание на разрыв». Именно на любовном сюжете особенно резко выявилась, обнаружила себя и максимально исчерпалась суть луконинской лирики, заложенная в его стихах с самого начала и выношенная десятилетиями. Эта поэзия словно вошла в предельный режим.

Дело в том, что она вдруг ощутила присутствие антипода. Она наконец дождалась противника.

Странно сказать: при всей жесткости и боевой задиристости, луконинская лирика, в сущности, не знала до шестидесятых годов внутреннего нравственного оппонента. Внешних противников хватало, но они, подобно немцу в прорези прицела, были как бы вне структуры мироздания. Внутри структуры мир был весь свой, весь — дом. В 1946 году счастливый победитель мог предложить любимой в качестве обручального дара Садовое кольцо столицы, он мог переговариваться с соснами, домами, даже с руинами, а с людьми — само собой: казалось, что мир, спасенный от гибели, состоит из одних однополчан.

Знала ли эта лирика раньше любовные драмы? Вопреки некоторым хрестоматийным строчкам, луконинская героиня — не ожидающая солдатка. Это образ совсем другой тональности: тихая, тоненькая, слабая девочка, школьница, послушная, неопытная, нуждающаяся в защите и покровительстве. Он и опекает ее. «Дай руку, перейдем через ручей!» Забота, как о маленькой. Портфель не забудь! Ключей не потеряй! Держи варежку! Дай пальцы, отогрею... Все берет на себя — ей остается тихо идти следом «безмолвницей бескрылой...» Она и идет молча, и молча радуется. Идет следом, тенью, тихим эхом — вечная девочка, «податливая, словно глина»... Такова ранняя луконинская героиня. И это тот самый омут, в который суждено ему провалиться, когда вдруг обнаружатся обман и бездна в «расплывчатом взгляде» покорной молчальницы. Тогда тщетно он станет ловить в ее поведении логику и будет всматриваться в загадочное лицо и искать определенность, а она, ускользая, подобно воде ручья, упархивая, подобно стрижу, будет дразнить и не даваться... И вслед за нею станет двоиться, рушиться, рассыпаться мир — на кусочки, на детали, на подробности... Словно подменится что-то в самом центре этого мира; там, в центре, на месте огненного солнца, посылавшего всему ровный и справедливый жар жизни, окажется

что-то фантастическое, страшное, подложное, манящее и обманывающее, морочащее и прекрасное:

Ты музыки клубок
из разноцветных ниток.
Ты — музыка во мне.
Я слушаю цвета...

(«Ты музыки клубок...»)

Духовный слом луконинской лирики в начале шестидесятых годов связан не только с историей любви героя,— драма шире и глубже. Измена любимой потому и оказалась возможной, что изменилось что-то в самом мироздании. На психологическом уровне любовную драму объяснить не так уж и трудно: она вытекает из характеров, она есть ответ жизни на жесткую авторитарную властность героя; можно сказать, что он сам подготовил свою драму, когда искал себе тихую молчальницу. Но ведь и в более широком контексте произошло нечто не менее драматичное: лирический герой Луконина, открытый, доверчивый и ясный в своих отношениях с миром, упустил в мире какую-то перемену, он оказался психологически не готов к тому, что в этом мире появился у него нравственный оппонент. Нет, не «враг», отчетливый и понятный, как когда-то фашист на фронте, а именно нравственный противовес его опыту: в близком человеке, в любимой женщине, чуть ли не в себе самом. Может быть, именно психологическая неподготовленность луконинского героя к встрече с этим антиподом и дала такую неожиданную остроту его реакциям и такую силу его стихам: тяжелое сознало себя по-настоящему тяжелым, когда ему противопоставилось «легкое».

Облик лирического антипода в луконинской поэзии шестидесятых годов: ложь, двоедушие, игра, свободная переменчивость, порыв, нежная слабость, прикрытая апломбом, любопытство к новому, падкость на эффекты, обворожительность, обаяние. Легко все принимает этот противник, легко все забывает, живет он весело и шибко, он даже в притворстве — артист, наивное дитя, праздничное, праздное, порожнее.

Нет, не втиснешь это «антилуконинское» начало в рамки одних только отрицательных определений, и непроста позиция, какую вынужден занять по отношению к этому антиподу лирический герой. Это какое-то странное соперничество, сложное соединение неприязни с азартом и соблазном. Словно извратил антипод что-то дорогое и самому герою, словно воплотил он что-то, в нем самом то ли недовоплощенное, то ли подавленное...

Эта внутренняя драма потому еще приобрела такое значение, что наложилась она на происходивший в ту пору в русской поэзии

процесс смены поколений, когда молодые, невоевавшие «послевоенные романтики» стремительно вышли на подмостки поэтической эстрады, захватив сердца своих молодых сверстников. А ведь поэты фронтового поколения в ту пору еще далеко не чувствовали себя стариками и отнюдь не собирались «в гроб сходить». Молодая смена, легким ветром просвистевшая мимо них и занявшая в начале шестидесятых годов авансцену поэзии, вызвала у поэтов фронта достаточно сложные чувства уже потому, что эти новые были *легки* поступью, а они — *тяжелы*, и закономерно, что самый тяжелый из них, Луконин, оказался на острие взаимодействия.

По иронии судьбы вышло так, что молодые, переимчивые, нежные романтики невоевавшего поколения, искавшие свою интонацию, как на спасительную находку натолкнулись именно на луконинский ритм:

За окном
            во дворе
                        голоса малышат
начали раздаваться.
Мама с сестренкой меня тормошат:
«Вставай!
            Тебе
                  уже двадцать!»
Двадцать?
            Так быстро?
                        Неправда.
                                    Нет.
Не может быть.
                        Ведь вчера еще только...
Неужели мне двадцать лет?
Неужели мне столько?..

В пробуждении поэта Е. Евтушенко, автора стихотворения «Мне двадцать лет», всплывает интонация «Пробуждения» поэта Луконина:

Я проснулся от радости,
                        глаза раскрываю,
ногами отпихиваю одеяло,
                        встаю, как пружина...

Евтушенко совсем иную жизнь вписывает в этот «шатающийся стих». Его легкое, переменчивое, поверхностное и заразительное дыхание совсем не похоже на трудное, мощное, западающее, хриплое дыхание луконинского стиха. И перекличка обостряет реакцию. При-

сутствие нравственного оппонента, проникшего «внутрь системы», перехватившего святую святых ее — интонацию стиха, выводит луконинскую лирику в напряженнейший, катастрофический, сжигающий душу режим: еще никогда его внутренний мир не выявлялся так рельефно, так ясно и так больно.

Луконинская лирика шестидесятых годов есть его ответ непоследовательной артистической легкости, изменчивой игре, праздничной воздушности и пленительной наивности, с которыми он теперь соприкоснулся. Этот ответ: прямота, устойчивость, монолитная верность однажды избранному, жесткость, надежность... Это не просто тяжесть, это реакция тяжести на легкость. Луконин не приемлет ни вкрадчивой, гибкой нежности, ни юного удивления миру, ни даже тяги к переменам. Его лирический герой не знает этой тяги. Он испытывает к новому не столько удивление, сколько горькое чувство: все было, все пережито... столько пережито, что хватило бы на двоих. Его мир тяжек и прочен, обвит и пронизан связями, заполнен: пустоты в нем просто нет. А уж если она есть, эта пустая свобода, пустая игра, — вот тогда катастрофа!

Антипод говорит: «Я разный...», или: «Я — ничей!» Герой Луконина этого не приемлет. Ничего случайного, неожиданного, прихотливого! Тяжек памятью этот герой и не умеет забывать. «Необходимость» — ключевое понятие. Случайность — химера, случайность — обман, «случайностями все опьянены». Это все «фантазии», и если нравственный антипод легко сходится и расходится, то герой Луконина буквально рвет от сердца, он очень тяжко прощается.

Пронзительная боль луконинской лирики — от желания не отдать структурное целое, строй мира. Этим-то глобальным ощущением и напоена изнутри, высвечена «интимная драма». И потому такая сила в этих стихах, хотя это, наверное, тот самый случай, когда невозможно объяснить, в чем сила стихов, и они «непонятно чем» воздействуют:

И так поломала немало
в разгуле своей пустоты.
Цветы поливать перестала.
За что ты казнила цветы?

Не любовь кончена — структура мира сломана, оскорблена, искажена — до цветов неполитых... Миропорядок нарушен — вот о чем стихотворение «Цветы»!

Еще один лейтмотив поздней луконинской лирики — возврат: «Завод мой, зачем я ушел когда-то?» («Рабочий день»); «Все к одному придут из поиска!» («В полете»). Нет, он не кочевник, кочевье

ему душу выматывает: как блудный сын, он теперь тянется к родному берегу:

Волга, приду
и щекой небритой
прижмусь к твоему рукаву.

(«Лето мое началось с полета...»)

Вот когда настигает Луконина мысль об «истоках». Мотив «возвращения» подключает Луконина к одной из важнейших линий в нашей лирике шестидесятых годов. «Возврат» — это ж целое направление, это В. Фирсов и И. Лысцов, это Н. Рубцов и А. Жигулин... И среди воевавших, среди сверстников Луконина, многие откликнулись на поветрие... ну хотя бы Сергей Голованов, давний товарищ по сталинградской пионерской газете, по литкружку СТЗ, по «Разбегу», один из «триумвиров» школы имени Эдисона, получивший когда-то в удел «вечные снега и торосы». Торосы не торосы, а непролазные тамбовские заросли поглотили в шестидесятые годы поэзию С. Голованова, и он издал поэтическую книжку «Урема» (1969), которую можно понять только со словарем В. И. Даля в руках. Луконину это было чуждо.

Можно сказать, что луконинская лирика оказалась к концу шестидесятых годов как бы между двух станов. С одной стороны — звонкоголосые, легкие, задорные романтики; с другой стороны — угрюмые певцы сельской тишины, защитники уремы и околицы... Первые были новые «граждане мира», вторые — старые обитатели «родного уголка»; первые казались едва ли не беспочвенными, вторые чувствовали себя чуть ли не спасателями земли и почвы. У тех и этих была своя правда: возврат поэзии к «околице» воспринимался в ту пору как реакция на широковещательную шумливость переменчивых молодых романтиков; еще ее называли «эстрадностью».

Ни тот, ни этот вариант не мог привлечь Луконина. Со свойственной ему резкостью он ощетинился против той и этой «моды». Лейтмотив изданной в 1964 году его публицистической книги «Товарищ Поэзия» — отказ от моды: «Я никогда не был модным, мне незнакомо ощущение знаменитости...»[1] Есть своя горечь в этом признании. «Модным»-то, может, и не был, а вот «правофланговым» был всегда: привык чувствовать себя во главе процесса. Оказаться «вне потока» — вернее, меж двух потоков, *против* двух потоков — такая позиция таила немалый риск. Зная это, Луконин готовил себя к отливу читательского интереса.

«Испытание на разрыв» могло бы избавить его от этих опасений, если бы ему и впрямь нужно было внешнее признание. Но ему нужно было другое: воссоединить структуру мира. Непросто

[1] Луконин М., Товарищ Поэзия, с. 48.

было держаться своей линии, когда поэзия разлеталась все дальше на края. Однако фронтовики встали твердо; в шестидесятые годы именно они удержали центр русской поэзии, и именно в эту пору критика закрепила за ними новое, найденное Л. Лавлинским слово: *«узловое поколение»*.[1] Луконину и здесь выпало стоять правофланговым... впрочем, фланги были растянуты — здесь стоял именно центр, узел, опорный пункт. Они его и удержали — «мальчики державы». «Лобастые мальчики невиданной революции»...

9

«Ощущение знаменитости» все-таки приходит. Семидесятые годы. Луконин — секретарь Правления Союза писателей СССР. Он во второй раз становится лауреатом Государственной премии, присужденной за книгу «Необходимость». Первый раз такую премию он получил в 1949 году за поэму «Рабочий день», — тогда он был известен как автор фактически одной книги стихов и одной поэмы. Теперь он автор почти полусотни книг.

Людей вокруг него множество: пост секретаря Союза, ведающего творческими связями между литераторами республик, обязывает к контактам. Луконин делает все по-луконински. С мучениями составляет официальные бумаги; перемарывает их по нескольку раз: не умеет. Гостей принимает с упоением; угощение готовит сам: умеет. Официальная и неофициальная стороны его деятельности перемешиваются; он ничего не делает формально или холодно-дипломатично, во все вкладывает личный нерасчетливый азарт. Этот луконинский стиль работы, достаточно своеобразный для такой представительной организации, как «большой писательский союз», постепенно становится объектом легенд. Луконина тесным кольцом окружают молодые поэты, преимущественно земляки-волжане, он им покровительствует. Остроты и шутки Луконина гуляют по литературным кулуарам, вокруг его имени складывается своеобразная мифология.

Он много ездит, его зарубежные маршруты опоясывают «земшар»; но все сильней и больней в эти последние годы тянет его на «малую родину», в заастраханские Килинчи. Луконин едет в Астрахань (теперь там есть улица его имени). Из Астрахани отправляется в степь. Впервые в зрелой жизни он видит дом, где родился. С помощью стариков он разыскивает могилу своего отца, Кузьмы Ефимовича. Ставит надгробие. Луконин не успевает написать об этом стихи. Но этот выход на «собственные следы», этот «возврат к началу», эта, лучше сказать, «очная ставка» с собственной судьбой имеет для него огромное внутреннее значение. Острее всего чув-

---

[1] Лавлинский Л., Сердца взрывная сила (О лирической поэзии 60-х годов). М., 1972, с. 117.

ствуешь, когда читаешь последние стихи Луконина, — это стремление связать концы и начала в своей судьбе.

Тридцать лет спустя после Победы он попадает в Берлин. Ищет места, которые помнит по маю 1945-го. За десятилетия те мгновенья не отдалились. Наоборот, приблизились. Луконинская душа и по природе-то не склонна ничего упускать, отбрасывать, забывать; в ней все застревает — навечно. Из всех «возвратов» самым прочным оказывается возврат к солдатской поре, из всех «ностальгий» — фронтовая. Нужно вжиться в странную, уникальную, трагическую логику этой тоски. Обыденное сознание может понять тоску по утерянному раю, ностальгию по безоблачным дням. Но тоска по смертному испытанию! Не счастье просит вернуть — беды и горести!

Вслед за Лукониным в семидесятые годы к этому мотиву один за другим выходят поэты «узлового поколения». Календарно им не так уж и много: за пятьдесят. Реально же, по внутренним «часам» пережитого, они знают другие сроки и, как к последнему бою, начинают готовиться к последнему часу. И С. Наровчатов все ближе к строчке: «Сходить с огромной сцены пора приходит нам». И у М. Дудина: «Кончается наша дорога...», и Е. Винокуров: «Наконец почувствовал: прошла...», и Б. Слуцкий, автор «Неоконченных споров», и Д. Самойлов, автор «Вести», и К. Ваншенкин, автор «Дорожного знака», и С. Орлов, автор книги «Костры», вышедшей уже посмертно, — все это варианты последнего горького раздумья: о близкой смерти.

Борис Слуцкий смотрит в бездну с отчаянной решимостью. Иллюзий никаких: там пустота, мгла, черная яма, сизая муть, отсутствие всего — абсурд. В яростном самосмирении Слуцкого перед законом, которому подчинено бытие, есть что-то от ветхозаветных пророков. Пригнуть себя, подчинить закону все бренное в себе. Мысль о делах, что будут продолжены, о памяти, что останется, помогает скрутить себя Слуцкому-рационалисту, но личность поэта не может примириться с ощущением конца и финала — личность бьется на краю, сгорая от трезвой ясности, от горькой ясности сознания.

Как светел, как спокоен рядом с ним Сергей Орлов! Он прощается с деревьями, с избами, с друзьями, со всем миром; природная мягкость характера окрашивает это прощание в тона светлой печали, и именно свет в душе дает Орлову спокойствие.

Спокоен и Давид Самойлов, но по-другому: классическая уравновешенность его поэзии, ясность спокойного знания, неуязвимого для романтических страстей и страхов, холодное бесстрашие философа, для которого единичное существование — только момент великого и прекрасного круговращения мировых сфер, — вот что дает опору. Такое самообладание было когда-то у стоиков.

А Луконин? В нем нет ни жесткой рациональности, ни светлой легкости нрава, ни склонности к философскому созерцанию. Горячий и импульсивный, он всю жизнь полагался на свою силу, и он оказался совершенно не готов к ощущению собственной слабости. Он никогда не верил в свою смерть, да и не думал о ней всерьез: смеялся, когда по дороге на финский фронт вытянул в шуточной лотерее смертный билет.

И теперь в нем нет ощущения смерти, а есть какая-то азартная, нестихающая тоска по жизни... по прежней жизни... нет, даже и не по прежней жизни, а по силе, по драке, по победной битве — Луконин никогда не знал и не хотел знать других вариантов бытия. Изначально нашедший себя в тесном строю единомышленников, товарищей, соратников, однополчан, он и теперь всецело опирается на чувство многолюдного боевого целого. Как начиналась его лирика обменом смертными медальонами с Николаем Отрадой, так это в ней и осталось, и оглядывается теперь Луконин на своих погибших побратимов из этой нынешней, сохраненной, сверхмерной, праздничной жизни. *Там* ему легче:

...Живу сверх меры
праздничнo и трудно
и славлю жизнь на вечные года.
И надо бы мне уходить оттуда,
а я иду, иду, иду туда,
туда, где смерть померилась со мною,
где,
как тогда,
прислушаюсь к огню,
последний раз
спружиню над землею
и всех своих, безвестных, догоню...

(«А жизнь сверх меры...»)

Летом 1976 года поэт Михаил Луконин умер от разрыва сердца.

Л. Аннинский

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 29 октября 1918 года в Астрахани. Отца, служащего на почте, не помню: весной 1921 года он внезапно заболел и умер. Мать с детьми в этом же году переехала в родное село Быковы Хутора, около Сталинграда.

В Быковых Хуторах я и воспитывался. Трудная была жизнь вдовы с четырьмя детьми в те годы в голодающем Заволжье. Мать и старшая сестра ходили по найму, батрачили. Осенью 1926 года меня снарядили в школу. Летом нанимался пасти свиней на хуторах. В то время мать сколотила вдовью артель, комитет бедноты дал землю, у нас в семье появился хлеб. В 1928 году мать приняли в Коммунистическую партию, она активно участвовала в раскулачивании, в организации колхозов.

В 1930 году старшая сестра взяла меня в Сталинград. Учился в школе при заводе «Красный Октябрь», целыми днями не выходил из завода, хотелось работать, тянуло к технике. После пятого класса, летом, в библиотеке детской технической станции в поисках книги по металлургии взял «Как закалялась сталь». Свою счастливую ошибку обнаружил поздно: оторваться уже не мог. Второй книгой был «Тихий Дон». После этого целый год «писал роман» о раскулачивании, а однажды написал такое, что, прочитанное вслух, странно воодушевило и удивило меня. Это были первые стихи.

С шестого класса учился в школе на Тракторном заводе, куда приехала вся наша семья. В 1934 году напечатали мой рассказ, затем стали печатать в областных газетах стихи. Через год, окончив девять классов, пошел работать на завод, некоторое время работал в комсомольской газете «Молодой ленинец», затем стал заниматься в Учительском институте. Осенью 1937 года был принят в Литературный институт Союза писателей.

В это время окончательно пришел к выводу, что творческие принципы Маяковского, расширяющие возможности поэзии, его пример служения народу являются для меня самым дорогим из всего опыта поэзии. Это формировало мои взгляды.

В декабре 1939 года с группой товарищей вступил в 12-й добровольческий лыжный батальон, участвовал в финской кампании. Привез ряд стихотворений, которые были напечатаны в журналах «Знамя», «Молодая гвардия». Написал лирическую поэму «Несколько дней»; соединив ее со стихами, подготовил первую книгу «Стихи дальнего следования» и отправил в Сталинградское областное издательство. Будучи уже почти готовой, книга эта сгорела в разрушенной типографии в августе 1942 года.

Когда началась Великая Отечественная война, я дописывал поэму «Вступление», взял ее в рукописи с собой на Брянский фронт. Во время вражеской атаки она сгорела в машине. В этом бою я был ранен.

В дни первых бомбардировок Сталинграда погибла моя мать.

Всю войну работал специальным корреспондентом армейских газет «Сын Родины» и «На штурм», с которыми и был на фронтах. Писал статьи, очерки, стихи. В августе 1942 года был принят в члены ВКП(б). В Советской Армии служил до 1946 года.

В 1947 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга стихов «Сердцебиенье», вслед за ней — книги: «Стихи Сталинграду», «Дни свиданий». Одновременно писал поэму «Рабочий день». В 1949 году эта поэма, опубликованная в журнале «Звезда», была удостоена Сталинской премии. После этого я возвратился к работе над поэмой «Дорога к миру», которая вчерне была набросана на фронте в 1944—1945 годах. Работая над «Дорогой к миру», много ездил по стране. Был на Баренцевом море, на Дальнем Востоке, на юге и на севере. В 1950 году поэма «Дорога к миру» была закончена и опубликована в журнале «Новый мир».

1952



СТИХОТВОРЕНИЯ

СЕРДЦЕБИЕНЬЕ

1. МАМА

Я маму не целовал давно.
Маленьким был —
                    целовал,
                              душил,
с улицы жаловаться спешил,
потом торопливо мужать решил.
Думал: «Мужество! Вот оно!»
Думал: «Мужество — это вот —
прийти домой
               и сказать:
                         «Пока!

Я на войну!..»
               Улыбнуться слегка
и повернуться спиной к слезам,
к зовам маминым, —
                    на вокзал!..»

Женщина вырастила меня.
Морщины уже на лицо легли.
Губы сомкнуты. Отцвели.
Нет в глазах моего огня.
Вот фотокарточка.

Изо дня
          в день
я думаю о тебе —
моей колыбели,
               моей судьбе —
женщине, вырастившей меня.

Я маму не целовал давно...
Только бы мне возвратиться лишь!..
Мама,
если меня простишь
сердцем маминым,
                    решено:
я расцелую тебя одну,
сердце послушаю,
обниму,
слезы вытру,
              в лицо взгляну...

Перед тем, как уйти на войну.

1940

2. ПИСЬМО

А ты всё плачешь —
                    пишут мне, —
мне всё известно на войне.
А пишешь: «Я не плачу...» —
чтоб пуля не смогла
вдруг
      приостановить
                    мои
сердечные дела.
Я потерял твое письмо
здесь где-то, на снегу.
По старой лыжне в эту ночь
вернуться не могу.
А как жило твое письмо,
волнуясь за меня,
мое убежище,
              моя
веселая броня!
Оно снега укором жгло,
оно грозило как могло,
просило: «Победи!»
Оно спасеньем залегло
в карманчик на груди.

Я потерял твое письмо
здесь где-то, на снегу.

А вдруг
оно зашелестит
и попадет к врагу?
Наткнувшись на мои следы,
он кинется за мной
по лыжне
узенькой
моей
тропинкою лесной.
И лыжи черные его,
слетая
с вышины,
перевернут
твое
письмо
перед лицом луны.
Обрадуется белофинн,
язык ему знаком.
Твой почерк, освещая,
он разберет тайком.
И позавидует он мне,
метнется
по моей
лыжне...

Твое письмо верну я —
тут, прислонясь к сосне.

1939

3

Ночью
лыжи шипят:
молчи!
Лес выслушивают враги.
Друзей береги,
себя береги,
спичку теплую не зажги,
тихо,
тихо
ступай в ночи.
От беды — головою в снег,

так,
чтоб снег,
не дыша, сверкал,
так, чтобы снайпер не отыскал.
Не закрывай утомленных век.
Спи —
с тобою противогаз,
спи —
под голову автомат.
Идешь —
вокруг погляди не раз,
крадешься —
каску надвинь до глаз.
Ты в сражении! Ты — солдат!
Как об этом другим скажу?
Там, когда я домой вернусь,
им подумается:
«Не трус?
Себялюбивый какой — боюсь!»
А я —
себялюбивый какой!
мне приказал командир, —
я мог
в рост под пули пойти, дымок
взрыва закружился б у ног.
Только ведь я люблю тебя,
жизнь —
действительность и мечты,
жизнь понравилась мне
и ты,
книжек тоненькие листы,
площадь Пушкина и мосты.
И для того, чтобы жить с тобой,
радоваться с тобой, мечтать,
должен был я с винтовкой встать,
версты военные перелистать,
хитро ползти,
принимая бой.
Должен был победить в борьбе,
свободу свою отстоять
и жить,
тебя любить, с друзьями дружить...
Дорого я обхожусь себе!
Дорого я обхожусь стране!

Ради победы
и ради нас,
чтоб жил я,
а не умирал на войне,
вместе с винтовкою
в этот час
мне выдали каску и противогаз.

1939

4. НАБЛЮДАТЕЛЬ

В жизни я наблюдать любил.
Бывало, идешь, глядишь —
Волга вечером,
Волга, тишь,
волны выносят ил.
Волны камешками стучат,
баржи идут вдали.
В степь выходил —
цветы замечал,
белые ковыли.

В Москве —
любил по Москве ходить,
вдруг, изменяя путь,
девушку пристально оглянуть,
с прохожим заговорить.

Или вдруг, притаясь, как вор,
весь превратившись в слух,
тихий выслушать разговор
самых влюбленных двух.

Так ко мне приходили стихи...

Я, притаясь в снегу,
вижу, как не везет врагу,
дела у врага плохи!
Слышу — ругается белофинн,
язык искажая мой.
Гранатой хочется разрывной,
но — тихо!
Лежи.
Один.

Так, дыхание затая,
всё вокруг наблюдай!
Не шевелись!
                    Всё передай! —
вот специальность моя.

Я жил у Москвы-реки,
я не думал, страна,
что поэзия и война
так предельно близки.
Я обязательно буду жив,
я по жизни пройду,
не так —
            в рассеянности,
                              в бреду,
праздно руки сложив.
Я пойду по тебе, земля,
любую открою дверь,
свои заводы,
                свои поля
ты мне предоставь, поверь.

1940

5. ПО ДОРОГЕ НА ВОЙНУ

Холодно.
Холодно.
Холодно.
Пó снегу, пó лесу
едем мы
до полуночи с полудня
на войну, как к полюсу.

А когда мы остановились,
стало томительно с непривычки.
Нас стали разводить по домам.
Мы обшарили стены, обчиркали спички,
покамест дверь не открылась сама.
Мы вошли, от тепла онемев,
и холод пролез за нами.

Сняли заиндевелые каски.
Они, загремев,
устроились рядом с домашними чугунами.
Нас за стол посадила хозяйка.
А мы
ложки отыскали за голенищами.
Слушали говор карелов,
услышали: ищет
нас за темными окнами
непогода зимы.
А когда отошли, оттаяли, отогрелись,
прочли на стеклах:
мороз до пятидесяти!
Разговорились:
«И как это терпят в Карелии!
Не война бы — так нам
ни за что и не вынести!..»
— «Что, морозно?»
— «Да так, ничего», — отвечаем.
Появился старик
(он спал в другой комнате)
и сказал,
что морозец к утру покрепчает.
«Переночуете, может?
Куда вы!
Замерзнете!»

А пока мы молчали обиженно
и в тишине вьюга стала заметней,
карел хвалился широкими лыжами
давности тридцатилетней.
А потом рассказал о таком холоде,
который, пожалуй, больше не повторится.
«Было это
назад за тридцать,
в лесу и сейчас
есть сосны расколотые.
Много было всяких морозов потом,
но не было более сильного.
Тогда,
в такую же полночь,
в наш дом
привели русского ссыльного.

Мороз ему щеки дорогой выжег,
выбелил голые пальцы,
он все-таки вынес,
выжил,
не сдался.
Вот это —
его лыжи.
А ведь не на войну шел!
И не такое на нем...»

Но мы уже каски отыскивали,
а за окнами, между машинами рыская,
уже помахивали фонарем.
Мы прощались.
«Прощайте,
прямого пути!
Я пожелаю вам лучшего самого:
после войны
вам к ссыльному моему подойти», —
и показал на сосновую стенку глазами.
Мы застыли у порога,
удивлены
глазами в очках, знакомыми,
и бородкою клином.
Смотрел на нас
Михаил Иваныч Калинин.

Мы подумали:
«Что ж,
это было в начале
нашей войны!»

1940

6. ФРОНТОВЫЕ СТИХИ

Если б книгу я выдумал,
где описал бы подробно:
крови цвет на траве,
цвет ее на земле,
на снегу,
вид убитого парня
на черном снегу
у разбитого дома;

описал бы подробно,
как смерть
помогает врагу,—
если б книгу такую
я назвал
«Фронтовыми стихами»
и она превратилась бы
в тонну угластых томов,
то она пригодилась бы фронту:
глухими ночами
ею печь в блиндаже
разжигал бы
сержант Иванов.
Вот он печь растопил, мой сержант Иванов,
и не спится,
руки греет над ней,
удивляется, —
ночи глухи!
На простор снеговой
загляделась большая бойница,
месяц ходит вокруг...
Это есть фронтовые стихи!

Вот сержант Иванов
письма пишет на противогазе:
как живет,
где живет,
что дела и харчи неплохи,
что пора бы домой, —
«ждешь меня?
Обращаюсь с наказом:
Ты себя береги!..»
Это есть фронтовые стихи!

Вот сержант Иванов
в атаку выводит пехоту.
Сам в цепи.
И бегут, выдвигая штыки.
Пот стирает с лица Иванов
(он устал от тяжелой работы),
улыбнулся друзьям...
Это есть фронтовые стихи!
Вот Иваново-город.
Снег идет, темновато.

В клубе «Красная Талка» собранье.
Ткачихи тихи.
Иванова, ткачиха,
читает письмо от сержанта,
все встают и поют...
Это вот фронтовые стихи!

Фронтовые стихи — это чувство победы,
такое,
что идут и идут неустанно
на подвиг и труд.
Все — туда,
где земля
стала полем великого боя,
иногда умирают там.
Главное — это живут!

1943

7. ПОЛЕ БОЯ

Пахать пора!
Вчера весенний ливень
прошелся по распахнутой земле.
Землей зеленой пахнет в блиндаже.
А мы сидим — и локти на столе,
и гром над головами,
визг тоскливый.
Атаки ждем.
Пахать пора уже!

Глянь в стереотрубу на это поле,
сквозь дымку испарений, вон туда.
Там стонет чернозем, шипит от боли,
там ползают противники труда.
Их привели отнять у нас свободу
и поле, где пахали мы с утра,
и зелень,
землю,
наши хлеб и воду.
«Готов, товарищ?»
— «Эх, пахать пора!»

Постой!
Как раз команда: «Выходи!»
Зовут, пошли!
Окопы опустели.
Уже передают сигнал, пора!
«Пора! Пора!»
Волнение в груди.
Рассыпались по полю, полетели,
и спинам жарко с самого утра.
Ползти...
На поле плуг забытый...
Друга
перевязать и положить у плуга.
Свист пуль перескочить,
упасть на грудь,
опять вперед —
всё полем тем бескрайним,
и пулемет, как плуг, держать,
и в путь —
туда,
где самолет стрижет комбайном.
Шинель отбросить в сторону —
жара!
Опять бежать, спешить.
Пахать пора!..

Идти к домам,
к родным своим порогам,
стрелять в фашистов,
помнить до конца:
взята деревня!
Впереди дорога,
и вновь идти от милого крыльца.
Так мы освобождаем наше поле,
родную пашню,
дом,
свою весну.
В атаку ходим, пахари,
на воле,
чтоб жить,
не быть у нечисти в плену.

А поле, где у нас хлеба росли, —
любой покос и пастбище любое,

любой комок исхоженной земли,
где мы себе бессмертье обрели, —
теперь мы называем полем боя.

1942

8. КОЛЕ ОТРАДЕ

Я жалею девушку Полю.
Жалею
за любовь осторожную:
«Чтоб не в плену б».
За:
«Мы мало знакомы»,
«не знаю»,
«не смею»...
За ладонь, отделившую губы от губ.
Вам казался он:
летом —
слишком двадцатилетним,
осенью —
рыжим, как листва на опушке,
зимою
ходит слишком в летнем,
а весною —
были веснушки.
А когда он поднял автомат, —
вы слышите? —
когда он вышел,
дерзкий,
такой, как в школе,
вы на фронт
прислали ему платок вышитый,
вышив:
«Моему Коле!»
У нас у всех
были платки поименные, —
но ведь мы не могли узнать
двадцатью зимами,
что когда
на войну уходят
безнадежно влюбленные —
назад приходят
любимыми.

Это всё пустяки, Николай,
если б не плакали.
Но живые
никак представить не могут:
как это, когда пулеметы такали,
не встать,
не услышать тревогу?
Белым пятном
на снегу
выделяться,
руки не перележать и встать не силиться,
не видеть,
как чернильные пятна
повыступали на пальцах,
не обрадоваться,
что веснушки сошли с лица?!

Я бы всем запретил охать.
Губы сжав — живи!
Плакать нельзя!
Не позволю в своем присутствии плохо
отзываться о жизни,
за которую гибли друзья.

Николай!
С каждым годом
он будет моложе меня,
заметней
постараются годы
мою беспечность стереть.
Он
останется
слишком двадцатилетним,
слишком юным,
для того чтобы дальше стареть.
И хотя я сам видел,
как вьюжный ветер, воя,
волосы рыжие
на кулаки наматывал,
невозможно отвыкнуть
от товарища и провожатого,
как нельзя отказаться
от движения вместе с землею.

Мы суровеем,
друзьям улыбаемся сжатыми ртами,
мы не пишем записочек девочкам,
не поджидаем ответа...
А если бы в марте,
тогда,
мы поменялись местами,
он
сейчас
обо мне написал бы
вот это.

1940

9. ХОРОШО

Хорошо перед боем,
когда верится просто
в то,
что встретимся двое,
в то,
что выживем до ста,
в то,
что не оборвется
всё свистящим снарядом,
что не тут разорвется,
дальше где-нибудь,
рядом.
В то,
что с тоненьким воем
пуля кинется мимо.
В то,
чему перед боем
верить
необходимо.

1942

10. В ВАГОНЕ

Как странно все-таки: вагон.
Билет. Звонок. Вокзал. Домой.
И свет и гром со всех сторон.
Колеса бьются подо мной.

Шестнадцать месяцев копил
я недоверие к тому,
что кто-то жил, работал, был,
болел и спал в своем дому.
Шестнадцать месяцев подряд
окопом всё казалось мне.
В вагоне громко говорят
о керосине и вине.
А у меня всего три дня.
Я вслушиваюсь в их слова.
Вздыхают, горестно кляня
дороговизну на дрова.
А мне ведь дорог каждый час.

Жилет раскинув меховой,
я по вагону, напоказ,
пошел походкой фронтовой.
Я был во всей своей красе
(блестит на левой стороне!).
«Оттуда? — спрашивают все. —
Да, тяжело вам на войне...»
Шел, улыбался и кивал,
молодцеватый и прямой.
«В боях бывали?»
— «Да, бывал».
— «Куда же едете?»
— «Домой!»
— «Из госпиталя? На, сынок...» —
Беру, жую мякинный кус.
«Кури».
Глотаю я дымок,
соломой отдает на вкус.
«Ложись, устал...
Мы ничего,
мы тут пристроимся в углу.
У вас там трудно с ночевой,
мы перебьемся. Мы в тылу».
— «Ложись и спи...»
— «Слаба кирза,
как они там зимой, в бою!» —
Прикрыла женщина глаза,
упрятав ноги под скамью.
«Спи...»
А колеса всё галдят,

«Спи...»
— «Все живем одной бедой».
— «Спи. Исхудал-то как, солдат...»

А был я просто молодой.

1942

11

Получил письмо я:
«Как живете?» —
спрашивает Соня Милиоти.
Это даже странно — «как живу»,
не спросила первая «живу ли?»,
не упал ли я от медной пули
желтыми глазами в синеву.
Жив ли я? Живу я?
Всем в ответ
шлю, углом листочки запечатав.
«Жив!» — кричат мне тысячи примет,
Пусть про это скажет Наровчатов.
Метились в меня.
Сидели в доте.
Танки гнали. Мерзли. Ни к чему —
я хожу, шепчу слова, живу.
«Как живу?» — спросила Милиоти.
Так поверила в мою звезду,
знает — жив, мне жить необходимо,
значит — мины мимо, пули — мимо.
Значит, верит — я еще приду!
Мну сугробы и топчу траву.
Ты спроси,
ревнуя и тоскуя:
как живу?
О чем?
За что живу я?
Чем живу?
Спроси — о ком живу?

1942

12

Перед боем на рассвете
тишина.
И, как бывало,
по испытанной примете
нам кукушка куковала.
Мне года узнать охота —
дай, кукушка, мне ответ:
жить на этом белом свете
сколько мне осталось лет?
Только тут
                    из пулемета
очередью грянул кто-то.
Я прислушивался —
нет,
нет моих веселых лет.
Свистнули по свету пули,
и опять пошла война.
Не считается —
                              спугнули!
Не кукушкина вина.
Я не признаю ответа.
У кукушки не всегда
получаются года.
Как ты смотришь?
Ерунда,
правда?
Глупая примета.

1942 или 1943

13. В ЕЛЬЦЕ

Пленный пляшет.
Молодой еще немец.
Руки в рукава,
                              подняв невысокий ворот.
Ночь идет по Ельцу,
не успевая за теми,
что в атаку идут, открывая задымленный город.

Дом полуразрушен.
Рассвет освобожденье приблизит,

Толпятся разведчики, бодрствующие ночами.
Пришли с донесением к командиру дивизии,
за столом —
начальник политотдела Качанов.
Он слушает донесения и спрашивает: «Скоро?»
Скоро город будет освобожден.
Ожидая допроса,
в зеленых шинелях
в полутьме коридора
пляшут словоохотливые пленные,
шмыгают носом.
Город осыпается трескотней пулеметной.
Автоматчики у тюрьмы, засели на колокольнях.

Город наш. Рассвет начинается. Вот он!
Люди выходят, прищуриваясь невольно.
Пленный жмется к стене,
а разведчики — мимо.
Автоматчик с забинтованной рукою
покуривает рядом.
«Что, замерз? У нас на Орловщине зимно!
Идем к командиру», —
и показывает прикладом.
Город освобождается. Уставший. Продымленный
за ночь.

Пленный глядит на людей, как на диво.
Пляшет и пляшет, заискивая глазами.
«Капут, капут», — повторяет он торопливо.
«Брось скулить! —
говорит автоматчик. —
Надорвешься до грыжи.
«Капут» — не подлизывайся,
привычка, наверно.
«Капут, капут» — и пододвигается ближе: —
А зачем стрелял в меня на улице Коминтерна?»

1941 или 1942

14

Иду.
Решаю.
Передумываю то и дело.
А лето цветное проходит мимо.
Вспоминаю о том,
как умирают смело,
но — жизни
тоже
смелость необходима!
Жизни тоже мужество надо,
не поза.
Я помню, как, захватив две гранаты,
к «тигру»,
оборвав себя на полуслове,
вышел Морозов,
и дымом окутался танк полосатый.
Все-таки странно — разные люди,
прямо приходится удивляться:
одни
на танки выходят грудью,
другим
не хватает силы признаться.
Третьи —
тоже военные,
в звании,
ходят, волнуются, не спят до пяти,
мямлят,
топчутся с кулаками в кармане
и не находят мужества
просто уйти.
Иду.
Удивляюсь.
Глаз от бессонницы розов.
Фронтовая дорога,
подбитые танки во рву.
Дай мне силы,
командир отделенья Морозов.
Постой. Я справлюсь.
Возьму и взорву.

1943

15. ОСЕНЬ

Зори опять холодеют,
                                        морщатся лужицы,
красными вихрями закружились закаты.
Дубы желтеют.
                                Листья падают, кружатся.
Облака развешаны, как плакаты.
Обгоревшие печи застыли.
                                            Тепла им не надо.
Село притихло.
                                Не возвращается стадо.
Но утро приходит!
Мы дальше идем вдоль заборов.
На каланче у самой зари развевается знамя.
Осень, осень!
Смотри — над Днепром задумался город.
Это Киев! Это Киев пред нами!
Вот над Киевом знамя!
Солнце остывает, как блюдце.
Но люди выходят.
                                Прекрасны и праздничны лица.
Дома отепляют,
                                соломy везут
                                                и смеются:
скоро
и лужи,
и небо,
и окна —
                всё застеклится!
А мы уходим!
                            Поля вокруг пожелтели,
то солнце пригреет,
                                    то обдаст мокроватая стужа.
Но нам ничего. Мы получили шинели
и, складки расправив, подпоясались туже.
А в перелесках
                                по листьям
                                            вода дождевая струится.
Орудия бьют.
По отсыревшей дороге
бредут под конвоем посиневшие фрицы,
и русская осень плюет им под ноги.

1944

16. ПРОВОЖАЮЩИМ

Провожали меня, встречали
с поля боя, на поле боя.
Не давалось нам так вначале,
чтобы мы оставались двое.
Не случалось таким приказом
на поверхность бумаг являться,
чтобы мы уезжали разом,
чтобы некому оставаться.
Так устроено между нами,
что один — проводить обязан,
оставаться с плохими снами,
к городам и делам привязан.
Обязательно так бывало,
что один уезжал по праву,
а другой по горячим шпалам
шел, махая вослед составу.
Много раз уезжал я снова,
и мешались в колесном стуке:
провожание — всё до слова,
провожатых родные руки.
И недавно совсем, ребята,
стало мне наконец понятно:
лучше мне уезжать куда-то,
чем идти, проводив, обратно.
Лучше мне проходить дорогой
незнакомой, весенней, ранней,
чем тебе жить моей тревогой,
слабым светом моих посланий.
Дорогие друзья!
                                        Да будет
вечно счастлив на этом свете,
кто проводит и не забудет,
кто дождется, увидит, встретит.
И да здравствует счастья дата —
час, когда на краю перрона
тех, кто нас проводил когда-то,
мы найдем из окна вагона!

1943

17. ПРИДУ К ТЕБЕ

Ты думаешь:
принесу с собой
усталое тело свое.
Сумею ли быть тогда с тобой
целый день вдвоем?
Захочу рассказать о смертном дожде,
как горела трава,
а ты —
          и ты жила в беде,
тебе не нужны слова.
Про то, как чудом выжил, начну,
как смерть меня обожгла,
а ты, ты в ночь роковую одну
Волгу переплыла.
Спеть попрошу,
                    а ты сама
забыла, как поют.
Потом
          меня
                    сведет с ума
непривычный уют.
Будешь к завтраку накрывать,
а я усядусь в углу.
Начнешь,
               как прежде,
                              стелить кровать,
а я
    усну
          на полу.
Потом покоя тебя лишу,
вырою щель у ворот,
ночью,
          вздрогнув,
                         тебя спрошу:
«Стой! Кто идет?!»

Нет, не думай, что так приду.
В этой большой войне
мы научились ломать беду,
работать и жить вдвойне.

Приду к тебе.

Ты думаешь.
~~Приду к тебе,~~
Принесу с собой
Усталое тело свое.
Сумею ли быть тогда с тобой,
Целый ~~Быть весь~~ день вдвоем?
Захочу рассказать о смертном дожде,
Как горела трава.
А ты — ~~По вспомню: И~~ ты жила в беде,
Тебе не нужны ~~И побледнеют~~ слова.
Про то, как чудом выжил начну,
Как смерть меня обошла.
[illegible] —
Ты в ночь роковую одну
Волгу переплыла.
~~Пожаловаться захочу, а ты~~
~~Сама устала от слез.~~
~~Слова скажу, а они пусты,~~
~~Язык чепухой оброс.~~
Спеть попрошу, а ты сама
Забыла, как поют.
Потом меня сведет с ума
Неприглядный ~~Невероятный~~ уют.
Будешь к завтраку накрывать,
И я усядусь ~~побуду~~ в углу,
Наливаешь, как прежде, стелить ~~Себе, если хочешь, стели кровать,~~
А я усну на полу.
Потом покоя тебя лишу,
Вырою щель у ворот,
Ночью, вздрогнув, тебя спрошу:
"Стой, кто идет?!".

Не так вернемся мы!
Если так,
то лучше не приходить.
Придем — работать,
курить табак,
в комнате начадить.
Не за благодарностью я бегу —
благодарить лечу.
Всё, что хотел, я сказал врагу.
Теперь работать хочу.
Не за утешением —
утешать
переступлю порог.
То, что я сделал,
к тебе спеша,
не одолженье, а долг.
Друзей увидеть,
в гостях побывать
и трудно
и жадно
жить.
Работать — в кузницу,
спать — в кровать.
Слова про любовь сложить.
В этом зареве ветровом
выбор был небольшой.
Но лучше прийти
с пустым рукавом,
чем с пустой душой.

1943

18

Ты в эти дни жила вдали,
не на войне со мной.
Жила на краешке земли.
Легко ль тебе одной!

Три лета, три больших зимы
просил: «Повремени!»
Теперь я рад, что жили мы
в разлуке эти дни.

Теперь хочу тебя просить:
«Будь той же самой ты,
чтоб было у кого спросить:
„А как цветут цветы?
А что же нет окопа тут,
что ночи так тихи?
А где,
когда,
на чем растут
хорошие стихи?“»
Чтоб объяснила: «Вот река.
(Как я просил: «Воды!»)
А вот на трубочке листка
есть гусениц следы».
Чтоб я поднялся в полный рост,
узнав из милых слов,
что нету пулеметных гнезд, —
есть гнезда воробьев.
Чтоб я,
покамест я живу,
увидел: жизнь сложней!
Чтоб я
и счастье
и беду
сердечные
узнал.
Чтоб я не понимал траву
как средство
скрыться в ней
или упавшую звезду
не принял за сигнал.
Шалун уронит барабан,
гроза пройдет в окне,
метель пройдется по дворам —
я вспомню
о войне.
А ты догадку утаи,
так всё сумей понять,
чтоб я
взглянул
в глаза твои
и мог любить опять.
Ведь в эти взорванные дни,

в дышащий местью час
был должен
к празднику хранить
любовь один из нас.
Хвалю прощание свое,
что мы разделены,
что мы не вместе,
не вдвоем
в разлуке
для войны.
Хвалю,
что ядовитый дым
не тронул глаз твоих!
Того,
что видел
я один,
нам хватит
на двоих.

1943

19. МЫ В ЭЛЬБИНГЕ

Сто километров прорыва!
А в Эльбинге спали.
Метнулись мосты, ожидая удара.
Трамваи,
бежать собираясь,
упали
передними лапами
на тротуары.
Кирки запрятали головы в плечи,
башни позванивают, как бутылки.
Дома к домам рванулись навстречу,
черепичные крыши смахнув на затылки.
Но ничто не ушло,
всё осталось на месте.
Берлин снабжал еще электрическим светом,
пока не поверил невероятным известьям
о том, что мы в Эльбинге,
в городе этом.

Вот город немецкий.
Стоит обалдело.

Изумленно глядит почерневшее здание.
Мы смеемся:
«Смотри, еще уцелела
вывеска: „Адольф и Компания“».
— «Смотрите!
На стенке,
пробитой снарядом:
„Мы выше всех!“»
Надпись прямо на камне,
в опровержение этого —
фашисты идут
ряд за рядом
и разговаривают
поднятыми руками.
Я вспомнил...
Тогда, в сорок первом!
Я вспомнил:
мы Брянск проезжали.
Пожаром огромным
он был.
На расколотом бомбою доме
надпись:
«Тише, школа!»
Я вспомнил:
огонь охватил и березы и клены,
плясал на крышах,
бушевал в перекрытьях
и надпись лизал на стене раскаленной:
«Курить воспрещается!»
Мог ли забыть я?..

А в Эльбинге
здесь перекрасили глобус,
рыжий маляр
вывел кистью
под крышей:
«Мы выше всех!»
И сбросил он бомбу
к школе,
где шли мы, стараясь потише.
Мы из Брянска пришли в этот город,
туда,
где нянчили сумасшедшую клику.

Фашистские надписи
на домах и заборах
мы читаем,
как позорную книг

Мы едем на танке.
Торопимся —
с новым приказом!
Подталкивая друг друга,
глядим мы
на обломок стены с почерневшей фразой
готическим шрифтом:
«Мы непобедимы!»

1945

20. ШВАРЦВАЛЬД

Мы ломаем ногами валежник лежалый.
Он пожаром бы мог встрепенуться, пожалуй.
Только мы не курили.
Мы идем через лес.
И единственно, что тут могло загореться:
гневом — наши глаза.
Мужеством — наше сердце.
И горели!
Да как!
От земли до небес!
Мы ломаем ногами валежник Шварцвальда.
Мы молчим.
Нам ни песен,
ни сказок не надо,
как услада
идти по земле по самой,
шагать по Шварцвальду,
по чаще дубовой,
прикладом о ствол не ударить!
И снова —
в направлении от дома,
и всё же — домой.
Шварцвальд?
Почему он не черный, ребята?
Как всякий — рогатый, цветной, суковатый,

Зачем нас пугать,
раздувая беду!
По всем направленьям с боями кружили,
прошли Померанию всю мы, —
а живы!
В Шварцвальде светло!
И Берлин на виду!

«Постойте, —
сказал я, —
давайте отметим!»
Мы бьем топором, чтобы в новом столетье
немецкие дети в Шварцвальде своем
прочли бы на этом стволе необъятном:
здесь мы проходили в году сорок пятом.
Идем мы,
ломаем валежник лежалый.
«А скоро мы выйдем?»
— «К рассвету, пожалуй!»

1945

21. 9 МАЯ В БЕРЛИНЕ

Мы сидим на косилке
у магазина
сельскохозяйственных машин и орудий.
Мы глядим на сраженный город, а мимо,
пройдя сквозь каменоломню Берлина,
идут советские люди.
День мира!
Солнце за облаком щурится,
а под открытым небом
стоят обгоревшие печи.
Кажется,
немцы решили отапливать улицы,
но топить незачем.
День мира!
Дождь развешал капели.
Подрывники выгребают последние мины.
Птицы откуда-то поналетели.
Мы сидим у сожженного магазина
сельскохозяйственных машин и орудий.

Нам приказано не стрелять!
«Ну что ж, понятно! —
Мы ставим винтовки между колен —
стрелять не будем. —
Мир пришел! Закуривайте, ребята!»

Мы смогли,
мы смогли к этому часу пробиться,
мы шли и шли за своим командиром...
Нам давно известна наша традиция:
только в час победы
начинается день мира!
Мы сидим, удивленно переглядываясь,
как после долгой разлуки. Что-то переменилось!
«Что случилось? Не знаешь? Не угадываешь?
Угадываешь!»
И смеемся задумчиво: все-таки что-то случилось!
О, что я вспомнил!
Я сразу ловлю, как в прятках,
противогаз
и веду его на колени.
Вот она,
смятая ученическая тетрадка —
запись моих далеких,
далеких волнений.
Тетрадь стихов о любви —
я помню слабо,
как я давно не читал запись неистовую.
Я беру плуг,
переворачиваю его набок,
на лемех тетрадку кладу
и перелистываю:
«Я просыпаюсь — четыре стены», —
вот начало.
Четыре стены! —
вот начало тревоги!
Четыре стены! —
как это все-таки мало
юности,
для которой
мир по экватору —
это немного!

Мы победили! Мы победили!..
Я слышу,
кто-то шагнул на косилку и обнял по-братски.
Вот у самого уха сдавленно дышит.
Я обернулся так, что мы стукнулись касками.
«Вася? Ты что?
Нет, это не письма, а впрочем —
это письмо, понимаешь,
от юности нашей.
Почитай, почитай наше далекое очень...»
— «Нет, — говорит он, —
я влюблен в настоящее».
— «С победой!»
— «С победой!»
— «День этот будет отмечен
в истории! — говорит он запальчиво
и встает, опираясь на мои плечи. —
Вот что случилось —
мужчинами стали мальчики!
Вот что случилось —
жизнь начинается следом.
Счастье наше в борьбе мы отстояли от казни.

Мы вышли к великому счастью.
Победа!
Это открылся нашей улицы праздник!»
— «Какое сегодня?
Девятое?
Вот как?
Девятый вал!»
Я стряхиваю дождевые росинки.
«Мы победили!
Пойдем!» —
Он надевает винтовку
и решительно переводит рычаг на косилке.
Как вчера мы поднимались в атаку, я вспомнил:
от танка к танку волненье носило ветром,
и расстояние до мира, до полной победы
исчислялось не днями,
не временем —
сотнею километров!
Я теперь думаю:
«Уж если сумели пройти мы четыре года,
от схватки до схватки,

если сумели преодолеть притяженье земли
и жизни,
то теперь мы готовы пройти по любому меридиану
и выстроить счастье победившей отчизны».

Какая лётная погода!..

1945

22. О МАЕ

Когда нас друг от друга отнесло?
Не в мае ли?

Мы, загрустив, стояли...
Светило ль солнце в этот день?
Едва ли.
Была метель. Пустынно и бело.
С тех пор мне месяц май — одно число.

А вот еще другое вспоминаю:
под пулями я маюсь и бреду
на ледяном ветру.
Иду в бреду,
и кровь течет...
Когда? В каком году?
Да говорят, что это было в мае!

Зато письмо твое передадут.
Иду. Читаю. Снег летит и ветер.
Что — снег?
Да нет — цветы в веселом свете.
Какой январь, когда сады цветут?!
А это в мае?
Лыжи завизжали
в тяжелую хрустящую пургу.
Все в майские костюмы наряжались,
все в белом
на сверкающем снегу.
Бежали и стреляли на бегу.
Сбегали к Дону
в снеговой пыли,
и в воду — раз!
Плывем,
руками машем...

Вода ли это? Ледяная каша!
Цимлянскую отбили на заре.
Когда был май вот этот?
В январе!
Зима ли, лето —
что нам время года?
Война!
Зимою, летом — не гляди.
Когда зовут — в атаку выходи!
Смешно спросить:
какая там погода?

Я маем только радость называю.
Мой май —
шагнул на запад по земле,
мой май —
письмо на узеньком столе.
А мой январь —
разлука наша в мае.

Мы дожили до майской красоты.
До Первомая нашего святого!
Теперь видать, что снег, а что цветы,
где ты,
в январь ли, в май ли входишь ты,
как выглядишь теперь ты в платье новом.
Свершилось это.
И теперь, как встарь,
май будет в мае,
в январе — январь.

1945

ДНИ СВИДАНИЙ

23. ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ

Нам не речи хвалебные,
нам не лавры нужны,
не цветы под ногами,
нам, пришедшим с войны.
Нет, не это.
Нам надо,
чтоб ступила нога
на хлебные степи,
на цветные луга.

Не жалейте,
не жалуйте отдыхом нас,
мы совсем не устали.
Нам — в дорогу как раз!
Не глядите на нас с умилением,
не
удивляйтесь
живым.
Жили мы на войне.
Нам не отдыха надо
и не тишины.
Не ласкайте нас званьем:
«Участник войны!»
Нам —
трудом обновить
ордена и почет!
Жажда трудной работы
нам ладони сечет.
Мы окопами землю изрыли,
пора
нам точить лемехи
и водить трактора.

Нам пора —
звон оружья
на звон топора,
посвист пуль —
на шипенье пилы
и пера.

Ты прости меня, милая.
Ты мне жить помоги.
Сам шинель я повешу,
сам сниму сапоги.
Сам тебя поведу,
где дома и гроза.
Пальцы в пальцы вплету,
и глазами — в глаза.

Я вернулся к тебе,
но кольцо твоих рук —
не замок,
не венок,
не спасательный круг.

1945

24. МОИ ДРУЗЬЯ

Госпиталь.
Всё в белом.
Стены пахнут сыроватым мелом.
Запеленав нас туго в одеяла
и подтрунив над тем, как мы малы,
нагнувшись, воду по полу гоняла
сестра.

А мы глядели на полы.
И нам в глаза влетала синева,
вода, полы...
Кружилась голова.
Слова кружились:
«Друг, какое нынче?
Суббота?
Вот, не вижу двадцать дней...»
Пол голубой в воде, а воздух дымчат.
«Послушай, друг...» —
И всё о ней, о ней...

Несли обед.
Их с ложек всех кормили.
А я уже сидел спиной к стене,
и капли щей на одеяле стыли.
Завидует танкист ослепший мне
и говорит
про то, как двадцать дней
не видит. И —
о ней, о ней, о ней...

«А вот сестра,
ты письма продиктуй ей!»
— «Она не сможет, друг,
тут сложность есть».
— «Какая сложность? Ты о ней не думай...»
— «Вот ты бы взялся!»
— «Я?»
— «Ведь руки есть?!»
— «Я не смогу!»
— «Ты сможешь!»
— «Слов не знаю!»
— «Я дам слова!»
— «Я не любил...»
— «Люби!
Я научу тебя, припоминая...»
Я взял перо.
А он сказал: «Родная!»
Я записал.
Он: «Думай, что убит...»
«Живу», — я написал.
Он: «Ждать не надо...»
А я, у правды всей на поводу,
водил пером: «Дождись, моя награда...»
Он: «Не вернусь...»
А я: «Приду! Приду!»

Шли письма от нее. Он пел и плакал,
письмо держал у просветленных глаз.
Теперь меня просила вся палата:
«Пиши!»
Их мог обидеть мой отказ.
«Пиши!»
— «Но ты же сам сумеешь, левой!»

— «Пиши!»
— «Но ты же видишь сам?!»
— «Пиши! ..»

Всё в белом.
Стены пахнут сыроватым мелом.
Где это всё? Ни звука. Ни души.
Друзья, где вы? ..
Светает у причала.
Вот мой сосед дежурит у руля.
Всё в памяти переберу сначала.
Друзей моих ведет ко мне земля.
Один мотор заводит на заставе,
другой с утра пускает жернова.

А я?
А я молчать уже не вправе.
Порученные мне горят слова.
«Пиши! — диктуют мне они.
Сквозная
летит строка.
— Пиши о нас! Труби! ..»
— «Я не смогу!»
— «Ты сможешь!»
— «Слов не знаю...»
— «Я дам слова!
Ты только жизнь люби!»

1947

25. ДНИ СВИДАНИЙ

Когда на родине опять
я вспомнил дни разлук,
я вспомнил эшелон,
и вас,
и город ранний
четыре лета и зимы назад...
Я задохнулся вдруг
и, радостью подхваченный,
вошел в дни свиданий.
Тут я увидел пограничный ручеек
в районе Бреста,

как паровозный дым садится
на мокрую траву
и сосны брянские,
что посмотреть меня
тронулись с места.
На удивленное: «Живешь?» —
я ответил: «Живу!»
На улицы меня Москва
приподняла, как на руки,
и я увидел мирный мир
и небо на рассвете,
в окнах — свет,
из труб — дым,
заснеженные парки,
и вас,
и ваше счастье...
Когда я всё заметил,
тогда подумал:
«Если бы,
для того чтобы видеть это,
вдруг нужно было опять идти
на смертный круг
и нужно было опять повторить
четыре зимы и лета, —
я б дни свиданий оборвал
и снова —
в дни разлук».

1945 или 1946

26. КОГДА Я ПРИШЕЛ

Когда я пришел,
я был в форме красноармейца.
Так и хотелось шагнуть по-военному —
шире.
Я так и шел,
но захотелось переодеться
в штатское
и походить по квартире.
В одежде красноармейца
удобно мне было:
я шел не один,
когда орудие выло,

я лежал на снегу,
и кровь не стыла,
я стрелял по врагу —
и убедительно выходило.

Когда я пришел,
стихи вырывались тревожно,
снилось так,
что кипело на сердце.
Приходили строчки,
спрашивали: «Можно?»
Подбегали к зеркалу:
«Можно нам посмотреться?»
Плавали ритмы,
они были еще не измерены,
плавные — воздухоплавательных аппаратов,
быстрые — ритмы улицы.
Приходили герои с холода,
не закрывали двери,
я сердился:
«Захлопните!
Видите — плохо рифмуются...»

Но однажды я вспомнил
про красноармейскую форму:
как удобно мне было!
Как лежал на снегу,
и кровь не стыла,
и как стрелял,
и как убедительно выходило!
Я вспомнил красноармейскую форму
и даже
подпрыгнул от радости
и побежал, чтобы согреться.
Это был ритм!..

И я записал тогда же:
стихотворению форма нужна такая,
как на красноармейце.

1945

27. СТАЛИНГРАДСКИЙ ТЕАТР

Здесь львы
стояли
у крыльца
лет сто
без перемен,
как вдруг
кирпичная пыльца,
отбитая дождем свинца,
завьюжила у стен.

В фойе театра
шел бой.
упал
левый
лев,
а правый
заслонил собой
дверей высокий зев.
По ложам
лежа
немец бил
и слушал долгий звон;
вмерзая в ледяной настил,
лежать остался он.
На сцену —
за колосники,
со сцены —
в первый ряд,
прицеливаясь с руки,
двинулся наш
отряд.
К суфлерской будке
старшина
припал
и бил во тьму.
И
история сама
суфлировала ему.
Огнем поддерживая нас,
в боку зажимая боль,

он без позы и без прикрас
сыграл
великую
роль.

Я вспомнил об этом,
взглянув вчера
на театр в коробке лесов.
Фанерную дверь его по вечерам
сторож берет на засов.
Строители утром идут сюда,
чтобы весной
театр засиял,
как никогда,
красками и новизной.

Я шел,
и шел,
и думал о тех,
кому на сцене жить,
какую правду
и в слезы
и в смех
должны они вложить!
Какие волнения им нужны,
какие нужны слова,
чтоб после подвига старшины
искусству
вернуть
права!

1946

28. НОВЫЙ ДЕНЬ

Я так люблю дома в лесах!..

Вокзал — внизу.
Я был немым.
На пикировщике висел
над попаданием прямым.
Чтобы прижать врага к земле,
не жаль мне стен вокзальных,

Я,
рельсы бомбой перекрыв,
в Орле
в узлы вязал их.
Я дрался, не жалея сил,
над полем, сдерживая дрожь,
на бреющем рубя врага,
косил
двухмесячную рожь.

Я так решил:
разрушу дом
и мост взорву,
себя сожгу,
чтоб только не владеть врагу
моим трудом.
Приду потом —
простят мне мост,
и дом,
и рожь.
А рельсы
снова развернем, —
дорога, ты в Берлин пойдешь,
я — шпала на пути твоем.

На поле боя, у берез,
я в землю взорванную врос,
все радости я перенес
до вечных встреч,
до светлых слез.

Я так люблю дома в лесах
и в голосах!
Косую тень
бросает новая стена.
У застекленного окна
позванивает новый день!
Мой новый день!
Свои права
работать
отстоял в бою, —
закатывает рукава,
торопит молодость мою.

И мы
опять встаем чуть свет.
Мост взорванный — опять в прыжке,
сожженный сад
листвой одет,
рожь плещется на ветерке.
Я рельсы распрямил в Орле,
по старым их послал следам,
рукой разгладил на земле.
Опять,
покачиваясь день и ночь,
сплошные поезда
летят.
Благословляю мир страны
трудом.
Дымится мой завод.
Я в Сталинграде строю дом,
в Саратове — газопровод.
Идет, идет моя страна.
Мой день —
еще одна ступень.
Я так люблю дома в лесах
и в голосах!
Косую тень
бросает новая стена.
У застекленного окна
встает, звенит мой новый день.

1947

29. ДОМ НОМЕР ОДИН

В Сталинграде,
у обрыва над Волгой, —
окопы и блиндажи.
Лежат
в обломках
простреленные этажи.
Смотри:
на шесте
скворечник новый
у входа в блиндаж.

Окошко, с землею вровень,
вглядывается в пейзаж.
Девушка
над корытом,
в радуге пенной,
кланяется реке.
Бельевая веревка
плещется на ветерке.
Блиндаж в три наката,
по правилам войны.
Крыша его покатa.
И вот
с одной стороны
полблиндажа закрыл
обрывок железной крыши —
крыши Дворца труда,
а может,
с Дворца пионеров
лист
взрывом
снесло сюда.
Синей краской
рукой уверенной
у листа на груди
вывел хозяин:
«Улица Ленина,
дом номер один».

Именно — улица,
иначе не разберут.
Дом,
а не что иное.
Эти слова не врут!

Хозяин пришел с работы,
с устатку
присел сперва,
инструмент уложил в плащ-палатку,
стружки отбил с рукава...
Приезжие шли от пристани,
прикурить подошел танкист.
Все,
вглядываясь пристально,
читали железный лист,

Иностранная делегация остановилась,
любопытством приклеена.
Остолбенел господин,
когда перевел переводчик:
«Улица Ленина,
дом номер один».

Мы сидели с хозяином,
строители шли,
пели,
к набережной сходя.
Закат потух.
Волга засверкала
вдали.
Упала темь такая,
что не забьешь гвоздя.
Потом тройчатые фонари
вспыхнули все.
Потом знамена зари
проплыли над шоссе.
Хозяин ушел на свои леса.
К блиндажу
архитекторы подошли,
с планом сверили местность.
Их голоса
доходили до сердца
обожженной земли.
Я всё
до слова слышал:
«Здесь будет дом
и улица
выстроится потом.
Вывеску и скворечню
подымем повыше.
Хозяина — в дом».

А пока
грузовики,
подскакивая на обломках,
везут кирпичи.
Каменщикам подпевай негромко
или
просто молчи!

У окопа
над Волгой встань,
молодая вселенная,
голову вскинь:
здесь начинается
улица Ленина
домом номер один.

1946

30. БЫКОВЫ ХУТОРА

Летит вода, прохладная с утра,
у пристани Быковы Хутора.

Дай, память, мне перенестись на версты
и наверстать года!
Гляжу в Москву,
как волны катятся под Крымским мостом,
от стен Кремля,
по перекатам острым,
туда, где жил,
оттуда, где живу.

Дай видеть всё.
Алеют вечера
над пристанью Быковы хутора.

Над босоногой ивой кипень галок
на левой стороне, на луговой;
вода промасленная у причала
непросыхавший берег укачала,
и небо ясное над головой;
травой обросшие обрывы...
Рано
встают у нас,
выходят из ворот.
Туман скрывает сизые лиманы...
Так в памяти отцовский край живет.
Так Волга мне
приветным платом машет,

Волна волну подталкивает мне,
зовет меня к низинной стороне,
к теплу
глазастых
ветреных ромашек.

Там, где еще шумел огневорот,
я вас встречал
на землях чужедальных,
на улицах,
на площадях,
в преданьях,
волжане —
уважаемый народ.
Тогда гляделись в воды тухлой Шпрее
высокие колеса батареи!
Теперь вы дома.
Ничего не надо, —
прийти с полей зеленых,
на закат
глядеть.
Идут по Волге облака,
дождем пройдясь над степью Сталинграда.
Приречных сел вечерний переклик!
Дома расселись, обхватив колени.
И ночь плывет, как черный дощаник,
в зеленое хмельное загляденье.

А скоро
в колос вымахнут хлеба,
а скоро будет новая изба,
и молотьба пойдет колхозным полем,
и сразу —
всем
по локоть рукава,
а в белых башнях шатких мукомолен
тяжелые закружат жернова.
А скоро
пир у мира.
Половина
села
начистит сразу сапоги,
проверенные на камнях Берлина.

И пыль закружится из-под ноги,
арбузный мед забулькает в садах.
Проклеванные воробьями вишни
сушить рассыплют на припек
в затишье,
и девушек открытые глаза
взволнуются догадкою давнишней.

А скоро будут свадьбы —
честь по чести, —
мне погулять бы!
Угостят вином.
Носы расплющив, парни на окно
надвинутся, вздыхая по невесте, —
всему черед.
Жених сидит на месте,
и горница заходит ходуном.

Мой милый край!
Арбузная столица!
Я перешел и войны и миры.
Я не могу к тебе не возвратиться,
я должен стать на солнечном лугу,
в кругу родных,
у родственного дома
проверить, как живу
и что могу,
напиться Волги,
выспаться в стогу —
и в путь опять,
и в путь —
до окоема.

1946

31. К ПОЭЗИИ

В далеком
от войны
году
по Сталинграду вновь иду.

Всё радует меня:
окно
в стекле,
фонарь над головой,
большая вывеска: «Кино»,
и сквер
с бушующей травой,
и кран с охапкой кирпича,
и сталинградский первый зной,
и каменщики
над стеной,
заложенные до плеча.

Я за угол свернул, и вот,
как сон,
как сказка,
на меня
стена горящая плывет
в отеках
дыма
и
огня.
Красноармейцы пронесли
картину,
пели озорно;
дотрагиваясь до земли,
на раме билось полотно.
К ларьку прибили стену ту,
квасница вывеску сняла,
маляр набросил черноту
на просинь чистого стекла.

Бойцы передохнули всласть,
жару задобрили кваском,
к ларьку,
под крышу,
стали класть
мешки, набитые песком.
Везли подбитый танк сюда,
и «мессер» ставили торчком,
и скручивали провода,
смеясь, тянули их крючком.

Дом новый,
закоптив до пят,
заляпали со всех сторон,
а оператору
опять
казался слишком новым он.
Пустили дым,
сжигая ель,
воронки выкопали вновь
и на веселую панель
плеснули из ведерка кровь.
Изобразили цвет и звук —
не получилось всё равно.
Мальчишки,
бегая вокруг,
кричат на них:
«Кино! Кино!»

Легко мне стало:
жизнь идет!
Искусство, успевай и ты,
разведывай,
гляди вперед,
заметь грядущего черты.
Не мажьте стены,
красьте их,
чтоб свет
рождался под рукой,
не тормозите
дел живых...
Поэзия,
не будь такой!..

Гремя,
по мне скользнула тень,
я на ходу влетел в трамвай.
Скорей
туда,
где новый день!..

Строка моя, не отставай!

1949

32. УТРО

Земля просыпается,
празднично дышит.
Всё готово к цветенью —
от дерева
до древка.
Расселись над городом,
навалились на крыши
белокаменные облака,
и, крыльями оттолкнувшись слегка,
птицы поднимаются выше.

Прогудев по мостам ажурным,
в город врываются поезда.
Трамваи расходятся, как всегда,
кланяясь стрелочникам дежурным.
И плывет,
пробуждая громом,
самолет над аэродромом.

Телеграфные провода расцвели,
в капли убранные,
как в почки.
Капли бегают по цепочке,
как новости для весенней земли, —
сорвавшись,
эти капли легли
в стихотворение первой строчкой.

И утро это,
когда рассвело,
в счастье мое, как начальный камень,
вошло поездами пришедшими
и залегло
ручьем, пробивающимся рывками,
деревом, выбеленным набело,
и белокаменными облаками.

1946

33. ЗИМОЙ

Синеет небо.
Падает капель,
и тени голубеют на снегу,
зеленая стоит в сугробе ель, —
соединить всё вместе
не могу.
Ты рядом не такая,
как вдали.
Я мысленно подальше ухожу.
Молчи,
я на другом краю земли,
воспоминаньем смутным дорожу.
Вот вспоминаю всю тебя мою,
придумываю мысленно опять,
как ты опять
в заснеженном краю
не устаешь меня живого ждать.
Твое письмо давнишнее беру:
«Благополучно всё. Пиши. Привет».
Приписываю твоему письму
всё то,
о чем в письме
ни слова нет.
Я мыслью дом домой перенесу,
в мечте
письмо в свиданье претворю,
все яблони твои
в моем лесу
я поселю
и разожгу зарю.

Все строчки истолкую, как хочу,
из равнодушья твоего слеплю
любовь.
За эту вольность я плачу
тем,
    что из нас двоих
                    один люблю.
Но я устал от выдумки своей,
фантазия устала, не могу.

Летит капель с заснеженных ветвей,
и голубеют тени
                на снегу.

1955

34. ЖАЖДА

А дождь всё тот же
                    бьет по стеклам,
по наклоненным ветром кленам,
по мостовым,
            мостам промоклым,
по лицам,
        жаждой опаленным.
Какою жаждой?
                Той, что гулом
в груди тревожно зародится,
тревожит,
        гонит в переулок
и заставляет торопиться.
Куда?
    Просить тебя: не надо
так запираться в отдаленье,
бежать, ловить деревья сада
и водосточных труб колени.
Зачем?
    Найти тебя под ливнем,
и увести,
        и косы выжать.
Чтобы навовсе стать счастливым,
сложнее,
        чем счастливо выжить.

⟨1955⟩

35. ГОДЫ

Молодость твоя —
секрет
моего расцвета.
То не разность наших лет,
а единство это.
На двоих у нас одна
молодость и старость.
Эта
жизни глубина
мне с тобой досталась.
И дана возможность мне,
выбор дан безбрежный —
жить на разной глубине
нашей жизни смежной.
Облюбую год любой
в нашей общей кассе.
Хорошо мне так с тобой:
десять лет в запасе!
Жить хочу
и жить могу
с сердцем, туго сжатым.
Я к твоим годам бегу,
вот и —
в сорок пятом.
И опять бушует стих,
и трубит тревога,
и товарищей моих
рядом —
много-много.
Не изменит друг в бою,
недруг — не преграда...
Не стреляйте в грудь мою,
жить мне очень надо!
И опять иду, иду,
не хожу — летаю,
неудачу и беду
на ходу сметаю.
И живется в полный рост,
дышится завидно,
и на много лет и верст
мне дорогу видно.

1955

36. ТЫ

Я представлял любовь такой,
что ты
во мне заключена,
души не чаешь,
до немоты — моя,
до слепоты.
В слезах
и провожаешь
и встречаешь.
Но нет того,
чтоб слепота была.
Так иногда заметишь,
так увидишь!
Откуда смелость возражать взяла,
возьмешь —
и самолюбие обидишь.
Считал я:
для тебя я —
полный свет.
Что ни скажу —
всё так, а не иначе.
Ты любишь —
значит,
выше,
лучше нет
того, что я могу,
того, что значу!

А ты мне иногда:
«Не то, мой друг,
тут сдал,
а надо выше,
проще,
дальше...»
Ты можешь при других отметить вдруг
неверный шаг,
смахнуть пылинку фальши.
Обида стукнет в сердце иногда:
мне собственного критика не нужно!

Ты засмеешься,
глянешь, как всегда, —
и вновь
моя обида безоружна.

Мне думалось:
ты за моей спиной
пойдешь теперь
безмолвницей бескрылой.
Через ручьи перенесу весной
и к солнцу донесу,
играя силой.
Опять не так.
Смотрю —
к руке рука,
плечо — к плечу.
Своим лукавым взглядом
сигналишь мне:
«Дорога широка!»
И всё идешь,
идешь
со мною рядом.

Вот ты какая!
Ты поймешь меня,
скажу,
что ты и жизнь —
предельно схожи,
И замечаю я:
день ото дня
ты всё необходимей, всё дороже.
Любви для всех —
подозреваю я —
готовой нет.
Ее слагают сами.

Вот ты какая, умница моя!
Ты всё смеешься серыми глазами.

1954

37. ВЕСНА

Дай руку,
перейдем через ручей.
Сырой ледок похрустывает гулко.
Наш дом уснул в начале переулка.
И нам пора.
Не потеряй ключей.

Вот я нашел Полярную звезду.
Смотри:
на юг, домой, тебя веду!
Знаком звезды мерцающий цветок.
Смотри:
на запад —
наши расставанья,
на юг — наш дом
и наши ожиданья,
а встречи наши —
вправо,
на восток.

Весенний предрассветный холодок.
Дай руку,
год назад,
тогда, в апреле,
я видел всё
сквозь смотровые щели.
Прислушайся, как щелкает ледок.
Встревоженные галки загалдели.
Прислушайся,
ведь тишина над миром,
а звон в ушах.
Спят люди по квартирам.

Возьми себе,
как свадебный подарок,
вот эту ночь.
Пей льдистое винцо
весны.
Как дар мой обручальный ярок —
граненое Садовое кольцо!
Дай руку — и ни слова, —
я пойму.

Москва весной!
Как это всё знакомо!
Я видел этот дом,
спешил к нему.
Мы полюбили эту тишину
в те дни, когда не ночевали дома.

1946 или 1947

38. В АЛЬБОМ ЗНАКОМОЙ

Вы скажете:
«Мне скучно», —
мне не верится,
лишь я взгляну на мир окрестный.
Два ваших слова мне пугают сердце:
«не нравится»,
«неинтересно».
Вам нечего смотреть,
читать вам нечего,
рассеянно
следите вы за лицами,
живете осторожно,
недоверчиво,
процеживая мир ресницами.
Сама земля,
от края и до края,
зовет к себе,
трубит на повороте.
Вы,
медленная,
землю попирая,
возвышенно —
на каблуках —
идете.
Вас показать друзьям моим, красавица,
для них как оскорбление,
как вызов,
и то, что вам земля не нравится,
и вся сумятица капризов.
А вы всё недовольней,
всё капризней.
Вы неба не видали,
оглянитесь!

Вы даже не дотронулись до жизни,
как будто бы
испачкаться боитесь.
Красивая...
А вот когда случится,
что ваше сердце сонное забьется,
вы замахнетесь цепкими ресницами,
он
в западню
не попадется.
Он за руку вас к свету вытянет,
он скажет вам:
«Идемте с нами!»
Не щурьтесь утомленно и презрительно,
глядите полными глазами.
И если вы полюбите всей силою —
засмейтесь и откройтесь
жизни,
свету.
За то, что носит вас, красивую,
благодарите
землю эту.

1947

39. ПРОБУЖДЕНИЕ

Я проснулся от радости,
глаза раскрываю,
ногами отпихиваю одеяло,
встаю, как пружина.
Что же такое?
Может, солнце продвинулось к маю?
Подходит зима?
Радость меня закружила.
Радость волнует меня,
охватывает,
тревожит.
Я воду плещу на лицо
и подпрыгиваю даже.
Какая же радость?
По службе?
По дружбе, быть может?

Или слава пришла
и меня полюбили?
Когда же?
Перебираю дела свои —
ничего в них такого —
ни вчера,
ни сегодня,
ни завтра —
особенного не вижу.
А сердце от радости ворочается бестолково,
и что-то
необычайно счастливое —
ближе и ближе.
Надо что-то предпринимать,
разорвусь ведь на части!
Надо всем сообщить обо всем,
это радость какая!
Так нельзя,
я не справлюсь один с этим счастьем,
так и буду ходить по земле я,
к нему привыкая.
Обзваниваю друзей:
«Что случилось? Не слышал?
Не знаете ничего?
Не случилось?
Вот странное дело!..»
А радость меня между тем поднимает всё выше,
и я несу ее,
к сердцу прижав неумело.
И вдруг осенило!
И всё загорается светом:
да,
война ведь окончена!
Вот как!
Скажи-ка на милость!
Как это мог я забыть и не вспомнить об этом!
Мне
Девятое мая в Берлине
сегодня приснилось.

1954

Я проснулся от радости,
глаза раскрываю
отпихиваю одеяло ногами —
~~как пружина~~ и встаю, как пружина.
Что же такое?
может солнце пододвинулось к нам? —
Оревелось ещё только.
А радость меня закружила.

Я воду плещу на лицо,
радость охватывает,
волнует
~~сердце и подрагивает~~ ~~и будоражит~~, тревожит
подзуживает, ~~замирание сердца~~
дразнит
~~Я воду плещу на лицо,~~
~~Какая же радость меня с утра тревожит~~
~~по службе? известия! Сердце~~
~~по дружбе? Кому-нибудь~~
Может, слава пришла? И меня полюбили?
Как ее не угадать, по службе? по дружбе? от мыслей? когда же?
Перебираю дела свои —
ничего ~~тут~~ в них такого.
ни вчера,
ни сегодня особенного ~~ничего~~ не вижу.
ни завтра — ~~такого~~ ~~не предвижу~~.
В сердце
~~особенного — ничего~~
от радости
подпрыгивает беспокойно
~~надо что~~
и что-то необычайно счастливое
ближе и ближе.

Надо что-то предпринимать,
Я разрываюсь на части. ~~сообщать всем~~
~~Бегу к телефону,~~ ~~всем радость какая!~~
Набираю.
~~Надо кричать!~~ ~~А что сообщу?~~
Надо всем ~~о чем?~~
сообщить:
всем радость какая!
~~Но всем~~ Так же нельзя
Я не справлюсь один
с этим счастьем
~~Надо кричать~~
~~Бегу к телефону~~ ~~какие?~~

Так и буду метаться
к радости привыкая!

40. ПАМЯТЬ

«Люблю без памяти», —
читал
и слышал я не раз.
«„Без памяти!“ —
смеялся я. —
Словесный трафарет!..»
Влюбленные,
прошу
прощения у вас.

Опять в дороге я один.
Тебя со мною нет.
Ты на манер воды в ручье —
вглядеться не могу,
так переменчиво светла,
всегда
под стать стрижу,
стрижу летящему:
за ним
я взглядом пробегу
и вверх и вниз по синеве
и всё ж
не разгляжу.
Я собираюсь каждый день:
вглядеться так,
чтоб в память вправить навсегда,
на все года!
Но ты уйдешь,
и я над памятью —
как над неводом рыбак,
когда в пустых ячейках
пузырится
пойманная вода.
На что уж карточка твоя —
без памяти и та:
не помнит смеха твоего,
ни слов твоих,
ни слез,
в ней —
не присущие тебе —
покой и немота.

Могу ли с памятью такой считаться я всерьез?!
Нет, понял я теперь:
тебя
нельзя запоминать.
Все искры глаз твоих родных я в памяти коплю:
Но не запомню никогда
и не смогу узнать.
Мне мало памяти одной, когда люблю.

1950

41. ДАЛЕКОЕ

Я шел,
и я никак не узнавал
тот самый
Земляной Садовый вал,
там, где бывал,
где ты жила,
где мы...
Здесь всё снежком занесено слегка.
Мы шли и шли,
в моей —
твоя рука.
Тогда я не заметил там зимы.
Я не нашел ни дома, ни окна,
в том не твоя
и не моя вина.
И не война.
Ушли дороги врозь.
Тогда мы дружбой называли это,
то, что вело зимой нас до рассвета,
потом уже
любовью назвалось.
Тогда я провожал тебя,
в ту ночь,
по лестнице поднялся,
чтоб помочь
ключ повернуть,
вернуть портфелик твой
и варежку пожать:
«Нет, не снимай,
не май же!»
— «Да, пока еще не май...»

И я ушел
по скользкой мостовой.
Пойми,
я не лукавлю и не лгу,
мой давний друг,
я у тебя в долгу:
на много лет, с зимы далекой той
влюбился в жизнь,
захвачен высотой,
и счастьем то далекое зову.
Ты разбудила всё,
чем я живу.
Была еще любовь.
Еще была.
А та зима —
опять чиста, бела.
Иду по ней в том памятном году,
и легкий тот снежок в начале дня
зовет,
волнует,
радует меня,
чего-то я ищу,
чего-то жду.

(1956)

42. СТИХИ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Ночь.
Хожу по дальнему маршруту,
небо наблюдая на ходу,
думаю:
«Ты, может, в ту минуту
видишь ту же самую звезду».
День,
иду с товарищами рядом,
самолет летит над головой.
Провожу его тревожным взглядом,
задохнусь цветущею травой.
Только вспомню о тебе,
вздохну
так, что посочувствуют соседи:
«Что у вас?
Помочь?
Сейчас доедем».

Отвернусь к трамвайному окну.
Через всю Москву лечу трамваем,
на вокзал Казанский выхожу,
выйду,
встану
и — зачем, не знаю —
в окна встречных поездов гляжу.
Голосит вдали земной предел.
Я спешу, как все,
я беспокоюсь:
может, ты увидишь этот поезд,
на который долго я глядел?

1954

43

Лето мое началось с полета,
кончилось в «Красной стреле».
Легкое,
белое,
беглое что-то
наискосок
слетало к земле.
Ночью к окну подплыло́ Бологое,
но виделся
памятный край,
к горлу прихлынуло всё дорогое
с просьбой:
«Не забывай!..»
Что же, скажи, не сбылось?
Что забылось?
Мать,
расскажи, научи.
Сердце встревоженное забилось,
ворочается в ночи.
Видишь, сын повернулся к дому,
Волга,
слышишь меня?
Хочу я к простору припасть снеговому
в свете
ясного дня.
Я выхожу и иду по зазимью,
больше ждать не могу,

город вдали за рассветною синью,
степь
на другом берегу.
Дышит, дымит полынья,
не застыла
Волга моя на ходу,
глазок,
чтобы видеть всегда светило,
дыханьем
прожгла во льду.
Я по веленью сыновьего долга
иду всё смелей, быстрей,
кличет,
зовет меня,
требует Волга
зовом
всех матерей.
Волга, приду
и щекой небритой
прижмусь к твоему рукаву.
Волга,
слышишь,
в глаза взгляни ты,
скажи мне:
так ли живу?

1955

44. В ПОИСКАХ НЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

Товарищи, сюда —
от снежных гор Памира,
где льдистая гряда
века переломила.
Покиньте высоту,
скорей ко мне на помощь,
скорей покиньте ту
заоблачную полночь.
Спускайтесь с дальних гор,
куда слетают реки.
Вы отложите спор
о «снежном» человеке.

Потерян след иной,
иду землею зимней.
Запутал белизной
то снегопад, то иней.
Ни знаков и ни вех.
Ищу в дали безбрежной —
потерян человек,
заснеженный
и нежный.
Не то что «снежный» ваш —
виденье или сказка.
Не призрачный мираж.
Живая.
Сероглазка.
Мой нежный человек,
смеющийся от снега!
Ее бровей разбег
остановил с разбега.
Пока искал слова,
она дышала рядом.
Но вдруг
ее
зима
укрыла снегопадом.
Вот где-то здесь она —
протягиваю руки.
Какая-то вина
томит меня в разлуке.
Вот только что была.
Но нету, нету.
Нету!..
Бросайте все дела,
на поиски,
по следу!
Вот сострađанья след —
не этот след нам нужен.
Вот жалость шла.
Но нет,
подделку обнаружим.
Нас не собьет с пути
похожесть или смежность.
Нет, надо нам найти
обиженную нежность.

Она теперь в беде,
нуждается в защите.
Не где-нибудь нигде,
в себе ее ищите.
Ищу я...
Тает снег.
Весною тянет прежней.
Потерян человек,
заснеженный
и нежный.

1956

45. В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Вы представляете,
у меня уже старость была —
отсталость,
забывчивость,
чопорность
и усталость.
Она морщины на сердце плела,
моя почтенная
скоропостижная старость.
Мне начинало нравиться даже,
я даже гордился тайком:
уже не ругают,
кормят протертою кашкой...
Был и красивым и умным я стариком?
Нет, не скажу.
Был обыкновеннейшим старикашкой...
Просили не волноваться, отдохновеньем маня,
подчеркнуто вежливо, бережно уважали.
И под руки поддерживали меня,
когда в президиум
церемонно сажали.
Я начал подумывать,
что старость
удобней, чем то,
что молодостью зовут
и что связано с болью
неизвестности,
с поисками,
с сильно потертым пальто,

с непризнанием,
с неразделенной любовью.
Я сначала блаженствовал,
но потом неожиданно стал замечать,
что завистников у меня не осталось,
хотя бы для виду.
А враги мои почему-то стали молчать.
В эту минуту
я почувствовал
неслыханную обиду.
Я мягкие руки отстранил в этот миг,
встал
и ушел из президиума,
задыхаясь от жажды,
и пошел, и пошел.
И в сердце внезапно возник
тот самый огонь,
что полыхал не однажды.
Враги мои и завистники увязались со мной.
Деньги перевелись. И пальто прохудилось.
Я снова не знаю, как надо писать.
И в гостиной одной
уже принимать меня отказались!
Скажите на милость!
Я распрямился, почувствовал силу плеча,
хрустнул руками, спружинил спиной
и — помчался,
не разбирая дороги,
ничего не боясь,
над собой хохоча.
Так и иду я теперь,
спотыкаясь от счастья.
Мне совсем неизвестно,
что сделаю я,
что найду.
Ничего еще нет у меня,
кроме жажды полета.
Предчувствую радости и предвижу беду,
в сердце растет откровенное новое что-то.
Чувствую, как молодею,
худею лицом,
злею, ревнивею и, словно ветер, крепчаю.

Жизнь свою
переворачиваю
обратным концом —
по направлению к юности,
понимаете? —
прямо к началу!

1956

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ

46. ПОСЛЕ ВСЕГО

Всё утихало,
будто в море после шторма,
когда на берегу травинки и ракушки,
и сохли заплески,
затвердевали ровно,
как на щеке от сна следы подушки.
Дул ветер, дождь выветривая буднично.
Светлело всё.
И начинало петь под окнами.
Клевали сыто голуби у булочной,
и облокачивались облака на крыши мокрые.
Но остывало всё от неба близкого,
и после бури одиночество охватывало.
И всё в природе
от большой тоски
выискивало
кого-то,
где-то
и чем-то виноватого.
Тебе дышалось легче.
Дальше виделось.
Но замечала ты одни подробности.
Потом на жизнь чего-то вдруг обиделась.
И, смелой став,
зажмурилась от робости.
И было тебе трудно это вынести,
ты отвечаешь, нервно пальцы комкая.
Ты, чуткая,
всё понимающая,
тонкая,
становишься всё громче,
всё порывистей.

Тебя несет, уводит, жжет неведомое
и гонит, гонит к каждой небывалости.
Я понимаю,
что с тобой, девчонка бедная.
Но я молчу и замираю сам от жалости.
Ну, отдохни, я говорю,
пойми, одумайся.
Пойдем, я говорю, покамест звездно...
Всё прояснеет, говорю,
и всё обдуется...
Я говорю.
Зову тебя.
Наверно, поздно.

Как будто среди ночи разбудила —
так разлюбила.
Но ты сама еще не поняла,
что это было.

1962

47. НЕЖНОСТЬ

Да,
нежность тихо-тихо так подкрадывается,
баюкает так мерно, как прибой.
Как будто бы
за что-то там оправдывается,
смиряется
и жертвует собой.
Она предупредительна, как счастьице,
улыбчива, как море вдалеке.
Та нежность
как приладится — и ластится.
Лепечет имя.
Гладит по щеке.
На пепелище, сжатое любовью,
на войлочных подошвах вышла ты.
К ней,
как сиделка,
села к изголовью
и подала осенние цветы.

О нежность,
ты —
прилежность принадлежности,
ты вырасти из милости могла,
из чувства долга
или так — из вежливости.
Ты думала — природу обвела!
Из жалобности выросла,
из жалости.
Ты можешь обмануть и заманить.
Но всё ж тебе,
хотя бы в самой малости,
пожара
никогда не заменить.
Я думаю порой о неизбежности.
Огонь под пеплом.
Да, огонь в крови.
А трудно будет этой жалкой нежности,
когда любовь
потребует любви.

1962

48

Нет памяти у счастья.
Просто нету.
Я проверял недавно
и давно.
Любая боль оставит сразу мету,
а счастье — нет.
Беспамятно оно.
Оно как воздух — чувствуем и знаем,
естественно, как воздух и вода.
Вот почему
и не запоминаем,
и к бедам не готовы никогда.
О счастье говорить —
и то излишне.
Как сердце — полагается в груди,
пока не стиснет боль, оно неслышно,
и кажется — столетья впереди.
Удивлена ты:
я смеюсь, не плачу,
проститься с белым светом не спешу.

А я любую боль переиначу,
я памятью обид не дорожу.
Беспамятное счастье я не выдам,
мы — вдох и выдох,
связаны в одно.
Нас пересорить
бедам и обидам —
меня и счастье —
просто не дано.

1962

49

Из глины он тебя лепил,
податливую, словно глина.
А я тогда еще любил
легко,
доверчиво,
старинно.
Он убеждал тебя, что ты
не то, что есть.
Ты замирала.
Свои кудряшки подбирала,
меняла детские черты.
Он поправлял рукою позу,
корпел, неловкий ученик,
и из поэзии на прозу
переводил тебя в тот миг.
Ты в восхищении застыла.
Лепил он, лестью заманя.
Ты незаметно уходила
и от себя
и от меня.
Хотела крикнуть,
но смолчала.
Была сладка тебе беда.
Ты всё тончала и мельчала —
и растворилась без следа.
Вот выставлена.
Ну и что же?
Да это вовсе не она.
Изображенье у окна
с той, выдуманной мной, не схоже.

Ни в чем ее не нахожу,
легко смеюсь стряпне бездарной,
и мимо кошечки базарной
так равнодушно прохожу.
Та, что любил, — в моей судьбе,
я выдумал ее, как сказку.
А эту
гипсовую маску
посмертную —
возьми себе.

1962

50. В ОСОБНЯКЕ

Ты краски созерцай.
По лестнице скрипучей
ходи хозяйкой.
Ты себя не мучай
сомненьями. И не тревожь себя.
Закономерно
всё, что случилось.
Да и не случилось это,
всё было так рассчитано, примерно.
Ну, веселись.
Еще не всё пропето.

На Масловке стоят картины, маслом
намазанные, словно бутерброды.
Ты умиляйся их высоким смыслом
и не смущайся.
Веселись по красным числам,
и отмечай —
идут за годом годы,
проходят в распорядке ежечасном.

Как я боюсь:
в тебе клокочет нечто.
Не вспоминай.
Забудь ту комнатенку,
ту тоненькую бледную девчонку
с ногами на тахте.
В слезах признанья...
Ну зачем? Забудь навечно.

На Масловке живи себе, как ты хотела.
Играй. Осваивай другое дело.
Вживайся в образ, становись совсем иною,
забудь скорей подаренное мною.
Всё оборви,
что от любви осталось нашей,
и не трогай.
Всё это не твое.
Иди своей дорогой.

Ты выбирала,
ты искала,
ты выискивала,
металась и ждала, играла в прятки,
и страхом
побеждала страх
разрыва близкого.
Ты заслужила.
Отдохни.
Теперь уж всё в порядке.

1962

51. ТОВАРИЩАМ

Я живу на Песчаной,
приходите ко мне!
Снег и снег величавый
кружится в вышине.
Снег и снег, снег и снег...
Товарищи,
приходите скорей.
Снег оттопайте тающий,
веник есть у дверей.

Я прошел по дорогам
из Москвы в Сталинград,
и теперь я о многом
побеседовать рад.
Нам, товарищи, вместе
надо быть в этот час,
я дорогою вести
встретил —
вести от вас.

Вести важные плыли
через лес, через степь,
в тех вагонах, что были
с меткой:

«Годен под хлеб».
Грейдер вытерт до лоска,
кони шли и быки,
от вестей на повозках
распирало мешки.
ЗИСы встречные пели,
было весело им,
и рессоры терпели
под зерном молодым.
Проводил меня снова
Сталинград на заре.
Мне не надо иного,
чем земля в сентябре!

Я живу. . .

Вы запомните.
Приходите, друзья.
Мне без вас в этой комнате
больше просто нельзя.
Я зову вас надолго —
до конца моих дней,
как зовет меня Волга
и поэма о ней.
Собирайтесь от Волги,
от речонки любой,
чистый ветер тревоги
захватите с собой.
Отогрева, обдува
жду от ветра того.
Очень надо обдумать
мне себя самого.

Снег, товарищи.

В инее
стекла окон моих.
Что-то очень уж зимнее
нанесло на двоих.

Где сегодня летаете?
Приходите ко мне,
отдышите, оттайте
иней тот на окне!

1955

52. В ПУТИ

Родная степь уснула в теплом ветре,
дыша настоем зреющей травы.
На тысяча двухсотом километре
встречаю ночь,
вторую от Москвы.
Руль под рукой подрагивает крупно,
машина мчит, ее не торопи.

(А ты сопровождаешь неотступно. . .)

Как пахнет ночь весенняя в степи!
В Дебальцево
свернул я к Сталинграду.
То вниз лети,
то круче забирай.
Всех терриконов темные громады
расположил в степи шахтерский край.

(Захлестнутый воспоминаньем сложным,
всем ложным,
чем меня ты обожгла,
я этим одиночеством дорожным
так дорожил,
как той,
кем ты была.)

И вот,
в луче, внезапно оробелом,
прищуренные вспыхнули глаза:
явилась сразу —
тоненькая, в белом;
я, топнув, надавил на тормоза.

«Вам далеко?»
— «Нет, километров восемь».
— «Одна? В такую темень!»
— «Что ж с того?» —
смеется и стоит.
«Садись, подбросим».
И села
возле локтя моего.

(Я знаю,
ты сказала бы: «Нахалка!
К мужчине! Ночью! Это неспроста...»
Да, мне всегда тебя бывало жалко:
тебя пугала ночью темнота.
И всё же ты —
святоша и трусиха,
ханжа, в гордыне выгнувшая бровь,
как ты хитро,
извилисто и тихо
решилась
обокрасть мою любовь!)

«Наш драмкружок —
ведущий в нашей школе.
Да, мы концерт давали в том селе.
Кто? Ухажер? Теленок на приколе...
Ой, гоните,
вы что — навеселе?..»
Я горько усмехнулся:
«Юность всё же,
понять ли ей ту боль, что я таю!»
Заметила.
Притихла.
Стала строже.
«Да что вы — роль!
Танцую и пою...»
И вспомнилась мне девушка иная,
как шла ночами долгими, одна,
плясала, пела в клубе, озорная,
любовью неземной озарена...

(Так оставайся, стриженная модно,
красавица презрительная, ты.
Передохнул легко я и свободно.

Увидел всё, прозрев от слепоты.
Качайся в море на волне глубокой,
заплачь другому, —
знаю, что вода.
Я серо-голубые с поволокой
глаза твои
не помню,
навсегда!)

«Как вы вздохнули странно!»
— «Просто — сердце».
— «Смотрите,
как красив наш Краснодон!
У памятника молодогвардейцам
сойду.
Остановите.
Вот мой дом».
И выпорхнула в платьице веселом.
А я сквозь ночь степную,
сквозь весну
промчался по уснувшим тихим селам
и знал:
до самой Волги не усну.
И распростился с тяжкою тревогой.
И всех,
кому придет пора помочь,
направлю этой дальнею дорогой.
И пожелаю встретить эту ночь.

1956

53

Как ваше имя?
Как ваше отчество?
Я — одиночество!

Вот как исполнилось в жизни
наше пророчество.
В ушах еще звон
от смеха,
от лепета птичьего,
в глазах еще пересвет непоседливой живости,

но всё это
ложью свалилось к подножью величия,
кошачьей игрой двоедушия,
хитрости,
лживости.
Один для другого —
мы умерли.
Без воскресения.

Два острова мы.
Меж нами легли расстоянья.
И громоздит одиночество льдины весенние.
Встречи забыты.
Остались одни расставанья.
Будем с тобою, мое одиночество, смелыми.
Вздох облегчения.
Выздоровление в ясности.
Ты избавленье от пытки
улыбками беглыми,
ты избежание
мягкой смертельной опасности.

Как ваше имя?
Как ваше отчество?
Я — одиночество.

1962

54. СЛЕДЫ

Ты вспоминаешься мне,
будто море
шумом в раковине.
То обовьет меня тобою
степь пастушья.
Прощай.
То улица словами одинаковыми
поймает
и напоминает до удушья.
И Волга
о тебе так иногда расспрашивает,
а то рассказывать начнет,
как море выстроили.

Прощай.
Всё для тебя наивно приукрашивает,
а помнишь бурю,
как тогда срывало пристани!
Все наши крики торжества
еще взлетают взапуски,
но ликования и боли тихо отмерли,
и узкие следы твои на берегах
смывают заплески.
Пустынно, одиноко и бело
сияют отмели.
Нет,
спрятанная грусть, ты хуже лжи.
Всё обозначено
тем,
что ни мне и ни тебе
жизнь не простила.
Второе лето, как всегда, опять обманчиво.
Все запоздалые цветы
зима застигла.

1961

55. В ДОРОГЕ

Как с друзьями я не встречусь,
если в Грузии порой,
встретившись на повороте,
сходятся
гора
с горой!
Как же не найду!..
Бывало,
так и жили — вместе все,
ездили до перевала
по горячему шоссе.
В этом гаме, в этом шуме
часа не были одни.
Кутаиси и Батуми
вспоминают эти дни.
Вехи юности тревожной,
беспокойной и хмельной,
этот камень придорожный,
этот ключик ледяной.

Помнят белые уступы,
как смеяться ты могла,
ровные оскалив зубы,
воду горную пила.
Брызгалась водой,
смеялась,
всё кружилось столько дней!
Всё смеялось,
всё сменялось,
стало проще и ясней.
А, друзья мои!..
Немало
отцвело во всей красе.

Еду, еду к перевалу
по нагретому шоссе.
То же всё, и та дорога,
виноградники, жнивье...
Выменяла ты не много
за предательство свое.
Всё веселье променяла,
все дороги продала,
выцвела и полиняла,
стаяла,
как не была.

Как с друзьями не увижусь,
если в Грузии порой,
встретившись на повороте,
сходятся
гора
с горой!
Сходятся гора с горою!
Встретится с грядой гряда,
только мы в круженье этом
разлетелись без следа.

1963

56. ЦВЕТЫ

Цветы поливать перестала.
Молчала, являлась домой.
Какую-то книгу листала,
смеялась,
ходила со мной.
Томительны стали и тяжки,
запущены —
вот уж тщета! —
противные эти бумажки —
квартирные наши счета.
Цветы поливать перестала.
Подумаешь!
Дни коротки!
Но очень уж ново и ало
сияли твои коготки.
А я не поверил сначала,
как верить беде не хотят.
Но ты невпопад отвечала.
Смеялась — и то невпопад.
Цветы поливать перестала.
Заметил. Жалею. Молчу.
Как будто от солнца устала.
Расспрашивать я не хочу.
А может быть, надо бы,
надо
тебя расспросить и понять?
Искала призывного взгляда —
я видел —
опять и опять.
Зрачки распирало от страха,
и губы сводило виной.
Таилась трусливая птаха
под смелостью этой шальной.
Я сам удивлен, провожая, —
какая во всем простота!
Не ты уходила,
чужая,
совсем и не ты,
и не та.
Иди!
Ни прощенья, ни просьбы.

Да если бы не отошла,
пожалуй, уже не нашлось бы
тех слов,
что сгорели дотла.
И так поломала немало
в разгуле своей пустоты.
Цветы поливать перестала.
За что ты казнила цветы?

По улице ходим с утра мы.
Прости мне, испытанный друг, —
ранений давнишние шрамы
чего-то напомнили вдруг.
Восходит тбилисское лето,
цветы и цветы на распыл.
Они
и напомнили это,
как будто я это забыл.

1963

57. ПРОЩАНИЕ

Ты помнишь — первый раз в Тбилиси. Лето.
Веселые и молодые, шли
сквозь волны знаменитого проспекта
плечом к плечу,
расстаться не могли.
Такой и шла,
как встретил на Арбате,
девчонкой светлокосой поутру.
Так тебе шло сиреневое платье,
в твоих коленях билось на ветру.
Зачем я это?
Кто подумать мог ли —
Москва, Тбилиси, Хельсинки, Париж?
И ты —
как в перевернутом бинокле
туманно, отдаленно отстоишь.
Всё возвращаю —
ничего не надо,
себе не оставляю ничего:
ни твоего расплывчатого взгляда,
ни сдержанного смеха твоего.

Хотелось бы спросить —
скажи на милость,
ты хорошо освоилась, скажи,
достаточно ли ты переменилась,
не тяжелы другие этажи?
Меня совсем из сердца излучила?
Теперь уже не мучает вина?
Ты хорошо другого изучила?
Смотри
не перепутай имена.
Твоя беспечность выглядела мнимой,
и бунтовство,
и смелая игра.
Я знаю — на душе твоей ранимой
вся беззащитность женщины была.
Неведомы порывы и извивы.
Рисковые чудачества темны.
К случайностям мы все несправедливы,
случайностями
все опьянены.
Боюсь я за тебя —
ты фантазерка.
Прощай совсем.
Теперь уже пора.
Живи же настороженно и зорко,
желаю тебе счастья и добра.
Не осуждаю, но и не прощаю,
не обсуждаю, но и не корю.
Спокойствия тебе не обещаю,
но вечное прощание дарю.

1961

58

Отлегло. Забываю.
А всё-таки грустно.
Опять кружись, как ветер в поле.
А может,
чтобы жило искусство,
нужны на свете такие боли?
Свет мой, зачем так внезапно гаснуть?
Нехорошо так.

Как ночью в роще.
Ослепила такая ясность,
что ухожу
на память,
на ощупь.
Я, оглохший. И спящий город.
Стоим вдвоем, ни назад, ни вперед.
Я —
открыв удушливый ворот.
Он —
с открытыми ртами ворот.
Мне тяжело.
                    И если правда,
что поэзии это сродни,
то бросить стихи
                    обязательно надо, —
слишком дорого стоят они.

1961

59

Ты музыки клубок
                    из разноцветных ниток.
Ты — музыка во мне.
Я слушаю цвета.
Туманный, словно сон,
                    пещерный пережиток
ты разбудила вдруг,
                    наверно, неспроста.
Ты тень или ты свет?
                    Меняешься мгновенно.
Ты пересвет такой, что путаю слова.
Ты пестрота цветов и звуков,
перемена
дней и ночей моих, очерченных едва.
Остановить тебя на чем-нибудь
                    нет силы.
Как будто бы в костер,
                    глядеть не устаю
на беглые огни.
                    Их дымные извивы
нельзя предугадать,
как молодость твою.

А тем и хороша. И потому загадка.
Поэтому живу на свете в полный рост.
Ты музыки земной
космическая прядка,
ты музыка лучей,
протянутых меж звезд.

1961

60

Мы встретились с тобой —
два одиночества.
Не хочется нам вспоминать
о том, что было.
Не то чтобы всё отошло и всё остыло,
нет, просто так —
не вспоминается, не ропщется.
Красивая ты, как никто,
другим завидная,
ты умная, всё понимаешь.
В чем-то старшая,
движеньем головы
густую прядь откидывая,
идешь с работы, улыбаешься, уставшая.
Всё бы не так,
не будь другого в памяти,
или забудь другую я,
или прости я.
Но ты и я
раздельно
чем-то заняты,
и ходим рядом, как Орда и Византия.
И впереди такая даль!
Такая улица!
Идем, и всё благодарим себя за что-то.
Возвышенно и ново
с жизнью дружится,
как будто бы мы на земле
после полета.
Когда глаза мои увиделись с твоими,
мы догадались о себе легко, открыто:
нам вместе не бывать,

не быть двоими, —
у каждого из одиночеств
                                        есть орбита.
А ты смеешься мне опять —
моя сообщница,
не хочется нам вспоминать
                                                  о том, что было,
и не о том,
            кого любил,
                        кого любила.
Идем, свободные, как два пути, —
два одиночества.

1963

61. МОРЕ

Открылось.
Доплеснуло до меня.
Вровень с глазами вздыбилось стеною.
Я от него пошел день от дня,
а море шло, и шло, и шло за мною.

Я отступал назад,
за годом год.
В тот миг,
            когда особенно штормило,
всё смыло, предвестило весь исход,
и всё вокруг в себе переломило.

Оставив нас на острове,
                                        волна
ушла.
А остров был необитаем.
Заметил я —
                мы в облаках витаем,
но было поздно.
Вот моя вина.

Накатывало грозные валы,
и в воздухе от соли всё прогоркло.
Я ставил сети жалкой похвалы.
На цыпочках стоял —
вода по горло.

Захлестывало нас уже совсем.
Так — год за годом, тут уже, на суше.
И надо бы сигналить:
«Всем. Всем. Всем.
Товарищи, спасите наши души!»

Развеяны уже, оттеснены,
раскиданы далёко друг от друга.
Еще казались мы со стороны
у двух сторон спасательного круга.

Кого из нас оторвало сперва?
Где я, где ты?
Теперь уже не важно.
На встречи, на улыбки, на слова
глядим теперь продуманно отважно.

И вот сейчас,
когда опять открылось
и снова доплеснуло до меня,
почувствовал
всю боль
и всю бескрылость.
И начал отступать
день ото дня.

Я, шторм, и ты, и небо — были в сборе.
Я, шторм, и ты, и небо — стали врозь.
А море? Как оно? А что же море?
А море
к нам в сердца перелилось.

1964

62. ОТСТУПЛЕНИЕ

Власть ее
не изучена,
значительно приуменьшена,
пока что уж —
в крайнем случае —
всесильна над нами
женщина.

Водительство пресловутое,
нам данное от рождения,
наше главенство дутое —
чистое заблуждение.
Укоренилось ложное
представленье привычное.
Женщина —
дело сложное,
явление необычное.
Эта простая истина
не каждому открывается.
Застенчиво
и таинственно
женщина улыбается.
Приходим, бедой отмечены,
подвигами небывалыми,
мы всё равно
                для женщины
детьми остаемся малыми.
На взлеты
                и на крушения,
на все наши игры шумные
смотрят, даря прощение.
Женщины —
люди умные.
Спорится
                или ссорится,
любится
или дружится,
забудется или помнится —
женщину
                надо слушаться.
Она одарит надеждами,
осмеивает сомнения.
Врачует руками нежными
отметины и ранения.
Учит она. Воспитывает...
Потом —
на разрыв
испытывает.

1964

63

Как выпрыгнула из такси
на улице Новопесчаной!..
«Проси меня
иль не проси, —
прими —
твоей,
первоначальной.
Всё заново начну.
Сотру
всё, что полжизни угнетало.
Прими меня,
свою сестру,
пойми
во что бы то ни стало.
Давай уедем!
Навсегда...»
— «Когда?»
— «Сейчас же», — отвечала.
«Куда?»
— «Куда-нибудь туда,
где начинают всё сначала.
Молчишь, чего-то медлишь ты,
решай.
Приходит лето».
— «Постой,
я подожгу мосты...»

А может, просто снилось это?..

1962

64

Приходит день.
Необычайна осень.
И кажется, что снова будет лето,
переплетенье музыки и света,
дней и ночей,
заката и рассвета,
ветров и трав
и переплеск морей.

Твой день сегодня,
выходи скорей
навстречу ожиданью новых весен.

Семнадцать зим и лет сплошной весны.
И ты — побег,
зовут еще девчонкой.
Твой белый лоб прикрыт прозрачной челкой,
зрачкам глаза славянские тесны.
И губ твоих нетронутая завязь,
и плеск
еще не разведенных рук...
Ты стон времен,
ты мировая зависть.
Ты будущее радостей и мук.

Ну что уж там, казалось бы:
семнадцать!
Но даже дням положено сменяться.
Меня сквозь жизнь
как пламя пронесло,
вело сквозь бури желтого огня.
Я пулей был в войне
и песней в мире.
Немыслимо ты для меня —
число
с семнадцатью нулями,
для меня,
узнавшего,
что дважды два — четыре.
Ты еще только человечек мелом
из черточек и точек на доске.
Но я горю
в костре твоем несмелом,
ты проступаешь солью на виске.
Ты медленно идешь Москвой иль Прагой,
кому-то
где-то
кажется, и снится,
и чудится,
мерещится и мнится,
что будешь скоро небом,
будешь правдой.

Ты —
невозможность верить в бесконечность,
да,
ты опроверженье постоянства,
ты жизни обновляемая вечность,
ты ей нужна,
как времени
                    пространство.
Счастливо тебе!
                        Будет утро скоро
твое, а не мое.
                        А ты иди.
Пролейся плодородьем, солнцем брызни.
Ты —
        семечко из яблока раздора,
раздора между мной
                            и сменой жизни.
Иди, как жизнь.
Счастливого пути.

1964

65

Не утешенье ты,
не украшенье.
Я у тебя в пожизненном долгу.
Ты озаренье
или воскрешенье, —
и слов найти пока что не могу.
Цветение земли ты мне открыла,
ты Волгу прямо к сердцу привела
и засмеялась ласково и мило.
Как будто подарила два крыла.
Мой свет,
всё время думаю об этом,
как это мне увидеть привелось
глаза твои, взволнованные светом,
и светлую волну твоих волос.
Беру тебя за тонкое запястье,
спасибо, жизнь!
Зову тебя — пойдем!
В снегу по пояс —
в тяжкое ненастье,
в ромашках по колено —
летним днем.
Не отрешенье ты,
не возвышенье
и не прощенье отошедшей мгле,
ты —
самое великое решенье:
любить
и быть любимым на земле.

Я на тебя глядеть еще не смею,
но вот светает у меня в судьбе,
смеюсь,
        и прозреваю,
                    и яснею,
и возвращаюсь
к самому себе.

1960

66. НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Раскройте вы книгу мою,
раскрыльте ее для полета!
Развяжите ей жесткие крылья,
разглядите ее, как звезду.
Если бы знали вы,
как летать ей охота.
Без вас она скована в книжном ряду.
Юноши, гляньте —
                виски у меня поседели.
Девушки,
вы не обернетесь теперь на меня.
Раскройте же книгу —
в ней годы,
        мечтания,
                цели.
Себя вы узнаете
                в отблеске каждого дня.
В смехе вашем,
в ваших надеждах,
                в вашей работе —
я повторяюсь.
От ваших дыханий
кровь закипает в крови,
с вами в дороге
                я времени не покорюсь.
Я повторяюсь
в ваших признаньях в любви.
Да, это не книга,
                а я.
Не стихи это —
                сердцебиенье.

С вами я молод.
Вижу небо,
слушаю землю,
вдыхаю траву.
Рядом с вами,
боевое мое поколенье,
вместе с вами
и я
бесконечно живу.

1959

67. БОЛЬШИЕ ДНИ

Пылят поля,
но обдает сентябрь прохладою.
Еще под хлебом день и ночь грузовики.
От Волги снова слышится:
«Докладываю! . .» —
так полюбили это слово земляки.
От космонавтов перешло к нам это слово
и как приветствие звучит все эти дни.
Тебе докладываю, родина:
готово!
Еще подарок сыновей своих прими.
Мечталось нам,
и виделось,
и зналось,
что одолеем мы, и можем, и должны.
И вот —
отходят мастера, стряхнув усталость,
свою работу оглядеть со стороны.
Нам жизни красота теперь видна над Волгой,
и наша высота наглядней и видней.
Мы шли и шли сюда дорогой нашей долгой,
века веков.
Поволжье думало о ней.
Об этой красоте
народ мечту вынашивал,
она всегда была призывом для борьбы.
И Ленин путь ей осветил
в деревне Кашино,
рукой поглаживая
загудевшие столбы.

Мы забирались ниже Волги
в глуби илистые
и поднимались над землей из года в год.
Теперь столетия столетий прочно выстоит
наш небывалый
через Волгу
перелет.
Здесь, у селения безвестного
Безродное,
здесь, у безводного степного миража,
энергия стремления народного
открыла жизнь,
бессилье века сокруша.
Тьме мировой
мы нашим светом угрожаем,
степь орошаем, чтоб в Поволжье рассвело,
мы нашу землю украшаем урожаем,
и нам
от колоса
до космоса —
светло.
Над морем Волги —
море неба разогретого,
под морем неба —
море хлебное взакрай.
И столько радостей больших у лета этого —
любые дни
себе на память выбирай.

1961

68

Дождь падает
иль поднимается?
В разливе и не разберешь.
Что под весною понимается?
Что так сердца бросает в дрожь?
Вот эта даль необозримая,
трава под талою водой,
цветенье краснотала дымное,
грачи над черной бороздой.

«Все в поле!» —
мелом четко пишется
на всех бортах автомашин.
И глубже любится и дышится, —
вот почему в поля спешим.
От Дона к Волге
междуречьем
весна прокладывает путь.
Весенний ветер бьет навстречу:
«Великим будь! Счастливым будь!»
И это в сердце отзывается
и остается навсегда.
Вот что весною называется —
пора любви,
пора труда.
Теплынью дующей пронизанный,
ты в поле выйдешь и поймешь:
не мог ты не ответить вызову,
когда так счастлив, что живешь.

1960

69. НОЧЬЮ

«Нежная овощь —
сгнила б от непогоды.
Приехали на помощь
девчата-рыбоводы. . .»
Весел председатель,
морщинки у глаз.
«Сколько, угадайте. . .
картошки у нас? . .»

Ситцевая кофта,
сатиновые брюки.
Быстро,
ловко
работают подруги.
Ты вспомнишь общежитку,
а тут канитель.
Откусишь нитку —
готова постель.

Матрас колюч от сена,
вали его,
смейся.
Темнеет постепенно,
не видно месяца.
Булькает варево,
у костра —
всё в инее.
Дружно ударили
ложки алюминиевые.
Зарозовели пальцы
у дымного огня.
Я к стволу прижался,
не видно меня.

Лежишь, подмяв подушки,
ладошка под щекой.
Я стоял и слушал
осенний покой.
Дрожишь ты от сырости,
холод от пруда.
Не успела вырасти,
вот уж беда!..

Спите,
спите,
спите,
пусть шумит трава.
Счастья хотите?
Есть у вас права.
Спи теперь, девчонка,
завтра с зарей
склонится челка
над родной землей.
Спи, девчонка тоненькая,
грейся, молчи.
Одеяло комкая,
спи себе в ночи.
Встал над изголовьем,
грозен и красив,
танк, умытый кровью,
на пути в залив.

Спи, а счастье сбудется.
Встал над тобой
на Гвардейской улице
обелиск святой.

1959

70. ВОЛЖСКОЕ

Ты всё кричишь:
«Не приставать!
Не чалиться!»
Зачем так строго, милая баржа?
От слов таких
совсем могу отчаяться,
на ребра ляжет въедливая ржа.
Ты угрожаешь мне:
«Огнеопасно!»
А я угрозы этой не пойму.
Огнеопасно?
Это же прекрасно!
То, что и надо
сердцу моему.
Хожу, дымлю,
а ты стоишь на месте, —
так можно оказаться на мели.
Есть у меня в груди силенок двести.
Давай буксир.
Гужу я.
Ну, пошли!
Нам хорошо —
весь горизонт качается.
Кипит меж нами светлая вода.
И окрик твой:
«Не приставать!
Не чалиться!» —
мне нравится теперь,
как никогда.

1959

71. ПЕРВЫЕ СЛОВА

Всё молодо,
и всё — сначала,
как трепет первого ростка.
Ты вся как песня
дозвучала
из векового далека.
Ты как оазис —
жизни чаша.
Идешь пескам наперерез.
Как на краю Тахиаташа
шагающие стрелы ГРЭС.
Как расцветающая ветка,
как всходы хлопка,
как весна,
как творчество
и как разведка.
В тебе такая новизна!
Каракалпакия,
прости мне
вот эти первые слова.
Ты учишь говорить простыми,
как жизнь, делами,
ты права.
Меня просторы взволновали,
пленил Нукус —
цветок земли.
Поэты в круг меня позвали,
мы вместе
песню завели.
Народ застенчивый и добрый
мне руку дружбы протянул.
Предчувствие любви
сквозь ребра
доносится,
как вешний гул.
Я в ожиданье переправы
ходил по берегу Аму.
Ее характер мне по нраву.
Он близок сердцу моему.
Я шел по улицам Чимбая,
я вглядывался в чернотал,

он, людям ветки отдавая,
под небо новые метал.
Ты научи меня, просил я,
быть вечным,
старость стороня.
Хочу, чтобы земная сила
так обновляла и меня.
Хочу на травах отогретых
жить,
душу солнцем опаляя.
Хочу ходить в твоих поэтах,
каракалпакская земля.
Запомню,
проходя над Волгой,
твоих ладоней жар людской.
Весны твоей
разлив недолгий,
ее рабочий непокой.
И небо на краю пустыни,
глубокое, как водоем,
и чистую полоску сини
на красном знамени твоем.

1958

72. БЕССМЕРТИЕ ХАМЗЫ

Постойте, товарищи,
снова
подумаем вместе о нем.
Бессмертная слава готова
сиять негасимым огнем.
И песни,
и сказки мы сложим,
но наше, его торжество
не в том, что мы славу умножим,
а дело
продолжим
его.
Ведь было то сердце не камень,
любило
и билось в груди,

и мерило жизнь не веками,
а знало, что смерть впереди.
Прострелено было, как знамя,
кого-то просило — люби.
И черная тень непризнанья,
как рана,
зияла в глуби.
То сердце сжималось в тревоге,
когда он,
готовый к борьбе,
по шахимарданской дороге
поехал на валкой арбе.
Был не великаньего роста
и жил-то не так уж давно,
не песня,
не музыка просто,
не просто герой для кино.
Тем славен он будет и вечен
для жизни,
а не для красы,
понятен нам,
прост, человечен
и близок
характер Хамзы.
Отдача в труде и сраженье,
отчетливость в каждом шагу,
народу любовь и служенье
и
непримиримость к врагу.
Готовность
по первому знаку
пожертвовать жизнью,
собой
и, как над землею,
в атаку —
подняться над личной судьбой.
Всё то, что в отцах трепетало,
в расцвете сегодняшних дней
советским характером стало
и славой советских людей.
То было такое начало,
которому нету конца.
Оно в Маяковском звучало
и нам закаляло сердца.

Роднит нас великая сила —
и смерть комиссаров Баку,
и жизни Хамзы и Джалиля
в единую слиты строку.

1958

73. ХЛОПОК

Да, солнце, это верно,
рядом просто.
Есть трудная арычная вода.
Для роста солнце,
и вода для роста,
и вся земля родная —
для труда.
И вот
земля в моторном перегуде,
канал журчит на каждом рубеже.
Так сотворенье мира
ладят люди,
не боги —
те на пенсии уже.
А хлопок хлопотлив и непокорен,
потом он легок,
а сначала крут.
Пока к цветам
дотянется из зерен
и будет бел,
ты станешь вовсе черен.
А просто так
и палки не растут.
Ты посмотри на женскую походку.
А руки так летучи и нежны,
расцветшему,
разбуженному хлопку
особенные нежности нужны!
Нет, хлопок — это,
нет,
не просто солнце,
нет,
не цветок на праздничном столе.

И хлеб
и хлопок
даром не дается,
а нужно
низко
кланяться земле.
Над всесоюзным урожаем веским
мы кланяемся землям дорогим,
чтоб счастливо
нам жить
в стране Советской
и
никогда
не кланяться другим.

1958

74. ЛЕТО

Пришла, как лето, —
дочь, Анастасия,
вся в мать — солнцеволоса и добра.
Оповестила всех,
оголосила,
что ей в дорогу дальнюю пора.
Всё что-то шепчут трепетные губы,
сердце жжет тепло ее руки.
И глаза загадочны,
как глуби
на переплеске Волги и Оки.

Да,
сколько тебе стукнуло?
Семнадцать!
Я вглядываюсь пристально в часы.
А годы будут множиться,
сменяться,
как волны у прибрежной полосы.
И будет так же буйно
в том июле,
потяжелеют ветки от плодов,
и отзовется всё в сердечном гуле
у Настиных семнадцати годов.

В июле кружат голову предгрозья,
и поле дышит зреющей травой,
и по ночам созвездия,
как гроздья,
свисают над туманной головой.
Ты запрокинешь медленные руки,
глазами встретишь близкую звезду,
все мировые радости и муки
придут к тебе
в далеком том году.

Я говорю тебе: не бойся, Настя,
не бойся жить
открытей и смелей.
Жить на земле!
Да, выше нету счастья,
ты расспроси у матери своей.
Бушует переполненное лето,
мы будем вспоминать еще о нем.
Идем,
благодарю тебя за это.
Тебе семнадцать грянуло —
идем!
Да, по часам семнадцать отстучало,
нет у тебя ни лет еще,
ни дней.
Еще рассвет,
ты — самое начало.
Ты с каждою минутой — всё родней.
Засмейся лету, дочь Анастасия,
как счастливы единою судьбой
две матери —
и Волга, и Россия,
склонившиеся тихо над тобой.

1961

75

Да, отступают признаки ненастья,
из-под ладони август огляди.
Спит, улыбаясь, месячная Настя.
Ее двадцатилетье впереди.

Кричу «здорово!» едущим, идущим,
гляжу в лицо селеньям, городам.
Мы в поле,
в разговоре о грядущем,
путь урожая
вспомним по годам.
Наш урожай не чудится, не снится,
мы это всё посеяли давно.
В разгаре лета клонится пшеница
и солнцем пахнет спелое зерно.
Иду, иду по августу.
За Волгой
опять комбайны встречу поутру,
вдохну жару после разлуки долгой,
между ладоней колос разотру.
Такая в этом августе отрада,
такой в степи волнующий настой,
что мне сейчас
опять в дорогу надо,
чтоб сжиться,
слиться с этой высотой.

1961

76. НА СТАДИОНЕ

А ты не бойся —
вот они, ворота,
ты бей, не опасайся тесноты.
Ты это сделать должен,
а не кто-то,
вот именно,
не кто-нибудь, а ты!
Спорт — это жизнь.
И в жизни и в футболе
не спихивай ответственность в бою,
готовым будь и к радости и к боли
и помни честь бойцовскую свою.

Я знаю, промах свистом отдается,
потом пойдут молчания круги.
Я это знаю.
Так оно ведется.
А ты к мячу стремительней беги.

Штурмуй опять, ворота беспокоя,
бей с лета, с хода, с поворота вдруг.
Тебе еще откроется такое —
почувствуешь, увидишь
всё вокруг.
Но и тогда,
особенно тогда-то,
когда поймут, восторженно вопя,
не стань красой зеленого квадрата,
на пенсии у самого себя.

Опять иди, участвуй в общем счете,
сумей себя от страха расковать.
У свистунов пусть лопаются щеки,
а ты не бойся
снова рисковать.

Я за тобой слежу.
В разгаре лета
гул стадиона тает в вышине.
Не принимай как назиданье это.
Ты мне сейчас напомнил
обо мне.

1961

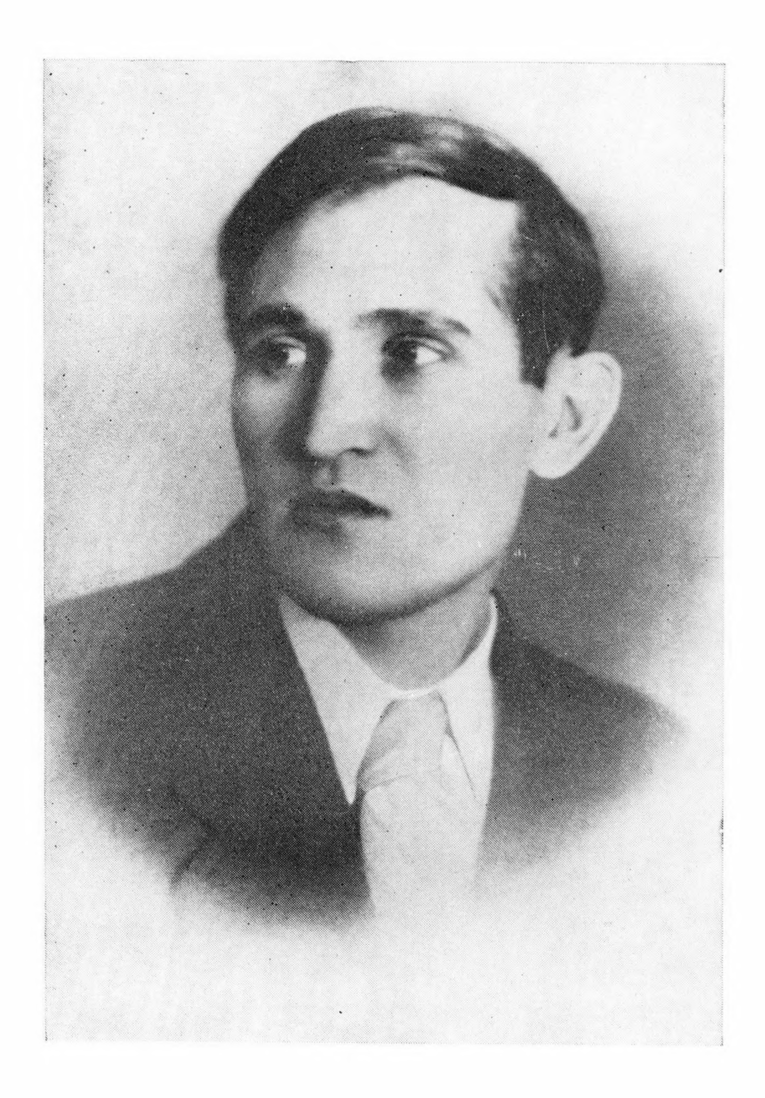
77. АЛЕКСАНДРУ ПОНОМАРЕВУ

«А ты помнишь?»
— «А помнишь?»
— «Помнишь»?
Вот какой разговор ведем.
Память сразу идет на помощь,
обжигает прямым огнем.
А бывало, не вспоминали,
позади — ничего пока,
что-то будет — еще не знали,
начинали издалека.
Волга виделась прямо рядом,
из завода шли трактора;
дальше степь — не окинешь взглядом.
Ветер пыльный. Полынь. Жара.
«Ну-ка, братцы,
мы — сталинградцы!»

Стадион гудел за бугром.
Нас тогда и зажег, признаться,
тех рабочих ладоней гром.
Тех горячих ладоней сила
и вела нас потом в бои,
и тебя по полям носила,
и вливалась в слова мои.

«А ты помнишь?»
— «А помнишь?»
— «Помнишь?»
Ты киваешь мне головой.
Будапештом ходили в полночь.
По Песчаной идем Москвой.
Самолюбием я рискую:
узнают, обернувшись вдруг,
и походку твою морскую,
и летучую легкость рук.
На скамейке среди запаса
тренер плечи нагнул вперед.
Я невольно вперед подался,
любопытство меня берет.
Как ты, тренер, глядишь на поле,
на своих молодых ребят!
Я сочувствую сложной доле,
понимаю мятежный взгляд.
Знаю трудное это чувство,
так знакомо оно и мне.
Это радостно,
это грустно.
Понимаю тебя вполне.
Но они —
твое возвращенье,
все твои молодые дни,
воплощение и свершенье,
продолженье твое —
они.
Позавидуем им немного,
что же, Саша, другим пора.
Дальше,
дальше идет дорога,
надо день начинать с утра.





«А ты помнишь?»
— «А помнишь?»
— «Помнишь?..»
Нет, не надо. Даю отбой.
Время памятью не догонишь,
очень молодо нам с тобой.
Нам еще вспоминать-то рано,
просто так — погрустим слегка.
И от звания ветерана
мы отказываемся пока.
Нас дорога не укачала
и ничто не погонит вспять.
Вспоминаем свое начало,
продолжаем свое
опять.

1960

78. ПРОЗРЕНИЕ

Я ничего не мог припомнить,
не мог ни шагу изменить.
Я вижу —
мяч ко мне приходит,
в нем что-то тоненько звенит.
Бежал и вел его в ворота,
а где ворота — не пойму.
Ищу друзей — не видно что-то,
всё поле в солнечном дыму.
Вот покажи свое искусство,
когда уже грозит скандал.
То на краю щемяще пусто,
то полусредний пропадал.
Рывками сам иду к просвету,
вокруг защитники скользят.
Но вот мяча уже и нету,
опять назад,
опять назад.

Разбор игры казался адом,
и холодело всё внутри.
«Мы выходили,
были рядом...»

Смеялись зло:
«Не мастери!»
Я понимал — друзей обидел.
Не знали, в чем моя беда.
Я просто ничего не видел
в азарте боя иногда.
Мяч упустив за боковую,
однажды на бегу взглянул
на стену шумную, живую,
на разноцветный дружный гул, —
заметились мгновенно, сразу,
запечатлелись в тот же миг
ее глаза.
И как-то сразу
круг стадиона
вдруг возник.
Всё поле вижу — ближе,
дальше,
выходит край на том краю.
Ждет полусредний передачи,
я понял,
я передаю.
Мяч у меня опять в неволе,
даю — и вновь готов к мячу.
«Я вижу поле!
Вижу поле!» —
счастливый, про себя кричу.

Года и годы пролетели,
идет крутой плескучий вал.
Не раз потом на самом деле
я в жизни слеп и прозревал.
Еще возможно повторенье,
но только знаю навсегда:
оно придет,
мое прозренье,
как памятное в те года.
Не огорчайтесь, что обижу.
Не радуйтесь, что не могу.
Я просто временно не вижу
в азарте боя, на бегу.
Не отчисляй меня, команда,
не торопитесь сдать в запас,

не надо, слышите, не надо,
я поведу еще не раз.
Мне то стремление слепое
дороже ясностей иных.
Прозрею я на поле боя,
не на скамейке запасных.
Чтобы земля опять гудела,
чтоб видеть землю и траву,
чтоб видеть поле без предела,
пока дышу,
пока живу.

1958

79. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Всё так,
потеряна прыгучесть,
и ослабел уже рывок.
Что ж, человеческая участь.
Спорт — молодость.
Приходит срок.
«Незаменимых не бывает», —
сказал давно железный век.
«Он плохо место выбирает».
— «Он что-то слабо выбивает...»
И вот уходит,
выбывает.
И убывает человек.
Но тот,
что славил то и дело
и всем хвалился, что знаком,
назвал принципиально, смело
бесперспективным игроком.
Мальчишки
тем, которым лестно
бывало чемодан нести,
почтительно уступят место,
но видно —
им не по пути.
Они смущаются чего-то,
не понимают, почему
им в это верить неохота,
как неохота никому.

Судьей завистливым и строгим
глядит:
        другие полем мчат.
Порой невольно дрогнут ноги
так, что соседи заворчат.
«Не так!» — прошепчет он.
                                        «А ты-то!»
— «Легко с трибуны. . .»
                                        — «Ты бы сам!» —
Со всех сторон шипят сердито.
Он поддается голосам.
И начинается неверье,
подкрадывается пустота,
вот-вот не те откроет двери,
туда, где есть еще места.
А это было лишь начало!
Спорт — подготовка для годов.
И если юность отзвучала,
то, значит, к мужеству готов.
Вы с поля с честью провожайте,
берите юного к мячу,
но зрелость силы уважайте,
давайте дело по плечу.
Не прозевайте в нем героя,
не отводите зорких глаз.
Придет дыхание второе,
оно-то
        главное подчас!
Конечно, он в плечах пошире,
ему нагрузку дай под стать.
Вреднее нет — пустые гири
с такою силой поднимать.
Он сложен, человек, и труден,
да, он на винтик не похож.
А кто придумал это, люди?
Бесперспективность — просто ложь.
Он никогда не примирится,
будь знаменит, не знаменит.
Нет, человек не повторится,
его никем не заменить.

1958

80. СООБЩЕНИЕ ДРУЗЬЯМ

Как только Ту-104 пробил облака,
крутились колеса еще
от земного разбега
и прятались в люки,
мне сердце сдавило слегка
от той красоты,
что явила долина из снега.

Была на земле еще осень, остыла земля,
лужи рябили, и солнце туманом размыло.
Убор потемневшего бора на землю валя,
мел ветер.
И таяло то, что зима уронила.
Да, вот она, здесь она — наша зима!
Пронизана солнцем, сверкает сейчас без предела,
висит над землею.
Готовится.
Знает сама,
когда ей наступит пора,
и возьмется за дело.

Товарищи москвичи,
скоро будут с утра
морозы звенеть,
будут заснежены ели.
На Волге —
готовьтесь, Быковы мои Хутора,
озими ваши прикроют большие метели.
Товарищи, сообщаю на ближней волне,
друзья за Уралом,
я вам сообщаю из неба:
зима заготовками снега довольна вполне —
она поработала вдоволь
для нашего хлеба.

Будут сугробы под лыжи
и лед под коньки.
Снежинки тебе на ресницы, Москва дорогая.
Да вот они, рядом, бодрящие эти деньки.
Столкнул бы руками завалы,
зиме помогая.

Будут все радости наших трудов и побед,
и день новогодья наступит
в разбуженном мире.
И кажется близким
тепло чужедальных планет,
когда над землей пролетаешь на Ту-104.
А ветер
то волоком облако вел у земли,
то войлоком белым всё застилал неустанно,
то хлопьями хлопка. . .

Ташкент появился.
Вдали
уже узнавались вершины Таджикистана.

1957

81. ВОСПОМИНАНИЕ О 1941 ГОДЕ

Горело всё —
людские трупы, лес и поле, —
всё прогоркло.
В дыму тоскливо хлеб горящий пах.
Трещали сосны, скрючивались.
От машины военторга
летели хлопья тлеющих рубах.
Дивизия на островке, в огне капкана вражьего,
фугаски движутся, как по стеклу, наискосок,
бесконечною
взрывной волной
всё выкорчевывая заживо,
крутя, как веник обмочаленный, лесок.
Сдавила боль —
жарой стянуло голенище яловое,
очнулся я, рванулся, как во сне.
Косыми ртами клочья воздуха вылавливая,
еще бегут,
туда — к расколотой сосне.
Бегу, склоняюсь к сердцу,
припадая на ногу остывающую.
Околыш красный промелькнул, крича:
«За мной!»
И я — за ним. Заковылял.

«За мной, товарищи!»
— «Хальт!» — сквозь разрывы ощущаю всей спиной.
Всех насчиталось девять,
и пошли, держа оружие,
в фуражке красной впереди — вожак.
Он знает путь,
он кадровый, где север знает, где восток.
Гремит оружие.
Я голенище распорол и смог шагнуть.
Идем, идем. А немцы здесь перекликаются,
как вороны.
Потом затихло. Рвется гул издалека...
«Стой! Мародер!»
Ведущий выхватил наган,
рванулся в сторону.
А мы — за ним.
И увидали паренька.
Тот стороной идет один,
не замедляет шаг, хоть связывай,
сгорели пóлы,
ствол винтовки жарко ржав.
Две длинных палки под рукой несет
и сверток бязевый.
«Брось!»
Командир наш выбил палки, подбежав.
Упал, разматываясь, сверток сразу,
пни обшаривая,
и мы заметили на нем, разинув рты, —
на школьной карте
улеглись
два полушария,
раскинув ребра широты и долготы.
В одном —
Союз наш, словно флаг горит у полюса,
в другом —
Индийский с Тихим
вперемеск переплелись.
«Ты что? — хрипит ведущий наш,
в глазах угроза строгая, —
Зачем ты взял?!»
— «Простите,
там валялась между пней».
У шапки ухо поднялось,
склонился к карте, палки трогая.

«Сейчас же брось!»
— «Я буду выходить к своим по ней...»
Да, почему я вспомнил,
почему весь день я думаю
о том бойце?
Меня весь день к нему влекло.
Пятнадцать лет дорогой сложною и трудною —
немного меньше, чем полжизни, — утекло.

И нес он карту.
А у нас тогда была еще трехверстка.
Мы путь к Ельцу держали, зная — наши там.
От перестрелок нас совсем осталась горстка,
шли вчетвером,
а он — за мною по пятам.
Толкал мне в спину палками от карты
наш упрямец,
мне чудились два полушария земли,
в одном —
вверху —
наш флаг летит, горит багрянец.
Китай и Бирма виделись вдали.
В другом —
Индийский с Тихим,
островов гряда коралловая.
Египет чудился...
Так шел боец за мной.

И в памяти моей так и живет он:
даль оглядывая,
несет из окруженья шар земной.

(1957)

82. ОСЕНЬ СИБИРИ

Земля летела.
Торопился с нею.
Чуть-чуть не пролетел тебя с утра,
прости, Байкал,
я за себя краснею,
прости меня, товарищ Ангара.
Спасибо —
дали время извиниться.

Земля мне больше нравится пока.
Пусть без меня пока
через границы
летят
за облаками облака.
А тут всю землю осень осенила,
к Иркутску подступила вся тайга,
ее неувядающая сила
напомнила цветущие луга.
А тут еще комбайны не умолкли,
и жатва возвращается ко мне,
как будто я теперь от самой Волги
иду за урожаем по стране.
Опять бетон ложится на основы,
затворы тихо скрылись под водой,
и снова море полнится,
и снова
наполнен провод силой молодой.
И то же поле вижу в дали дымной,
такой же, как над Волгой, небосклон.
Так я пришел
землей своей родимой
от Волгоградской
к Братской
на поклон.
В разливе дней, в смещенье пересвета
гудит вокруг сибирская страда.
И кажется:
вернулось снова лето
и не покинет больше никогда.

1962

83

Зима в городах неказиста,
ей холодно, тесно, темно.
Легла бы —
просторно и чисто.
Да нет —
в городах не дано.
Заметно неспящим поэтам —
у дворников снег не в чести.

Услышишь,
как перед рассветом
они начинают скрести.
Снежинки искрят на лопатах,
нежны и сложны —
не разбей!
Но с крыш,
нестерпимо покатых,
сгоняют их,
как голубей.
Урчит, подвигаясь рывками,
машина, грозна и строга;
стальными своими руками
она загребает снега.
Готово шоссе для разбега,
проснулись большие дома.
Зима остается без снега, —
а это уже не зима.
А вы поезжайте к Заволжью,
к подножью Уральской гряды.
Ликующей
радостной дрожью
охватит вас
степь Кулунды.
Взлетите-ка вы
над Казанью,
и вас позовет Бугульма.
Я видел своими глазами,
как дружит с народом зима.
Земля дорогая искрится,
простор беспределен земной.
К Альметьевску —
к новой столице —
летите сюда
за зимой.
Снега и снега без предела,
пурга подымает дымы.
Найдешь себе место и дело, —
ты только
не бойся зимы.
Мороз пробирает до пота,
железные ходят грома.
Вот это — скажу вам —
работа,

вот это — скажу вам —
зима!
Бетонные крыши оставив,
покинув вдали города,
на крышах товарных составов
снег едет и едет сюда.
Края позабуду иные,
но этот —
забыть не смогу.
Здесь соки земли нефтяные
чернеют
на белом снегу.

1959

84. ПРО ЭТО

Вот это и есть то,
что называют любовью?
Так это зовется?
Так пишется?
Это и есть? ..
Вы руки тяжелые закинете к изголовью,
ночь не ответит.
Дождь забарабанит об жесть.
Будут зимы, и вьюги, и росы на травах,
и звезды, и радости будут.
Разрывы придут.
И только не будет
ни виноватых,
ни правых,
ни знающих,
ни умудренных,
ни лечащих тут.
Никогда никого не расспрашивайте об этом —
ни друга,
ни ветер,
ни самую умную ночь.
Ликуйте или страдайте одни
и не верьте поэтам,
поэты
и сами себе-то не могут помочь.
Берите всю радость себе, не отдавайте и муку,
это только вдвоем открывают,
уж если любовь.

Воспоминания о любви
не годятся в науку,
всё не так.
Всё по-новому, снова,
не снова, а вновь.
Нельзя объяснить —
что это, со мной или с вами.
Один среди поля,
под ливнем,
и ходит гроза.
Об этом никак невозможно чужими словами,
слова не приходят —
молчите глазами в глаза.
Молчите,
чтобы ресницы задели ресницы,
чтоб сердце услышало сердце другое в громах.
Любите друг друга.
Не думайте — явь это всё
или снится,
любите друг друга,
не бойтесь,
не ройтесь в томах.
Ни адреса нет, ни параграфа нету, ни ГОСТа,
будет она неотступна, мучительна,
как и со мной.
Не пишется это,
не слышится.
Дышится просто.

Так и поэзия —
дышится жизнью самой.

1960

85. ДАВНЯЯ НОЧЬ

Вся загорелась и затрепетала,
и сердце тихо охнуло в груди,
когда ватага грянула и встала,
оставив гармониста впереди.
Волне девчат ни спрятаться, ни скрыться.
Держась рукою левой за баса,
не торопясь
он вглядывался в лица.
Мерцали в темноте его глаза.

Он пыхал, распаляя самокрутку,
в глазах девчонок плыли огоньки.
«Наташка, отойди-ка на минутку. . .» —
сказал, поймав дрожащие зрачки.
Не помнит, как с собой не совладала
и сразу отшатнулась от подруг,
как от летящей стаи вдруг отпала
и выпростала руки из-под рук.
И по ночному гулкому бездонью
шла как во сне, покорная огню.
Он опоясал жесткою гармонью,
прижал мехами к колкому плетню.
От слабости,
                    от сладости робела,
глаза закрыла, бледная, без сил.
Услышала:
                    «Наташка, вот в чем дело,
зачем вчера к вам тятька приходил?
Не сватал? . .»
                    — «Сватал», — тихо отвечала.
«А ты? . .»
Глотнула горькую струю.
Недоброе предчувствие качало.
«Смотри не соглашайся —
                    враз убью! . .»
Хотела в ночь кромешную вглядеться.
«Не доводи, Наташка, до греха».
Батистовую кофточку у сердца
окованные стиснули меха.
И отошел.
Ни слова, ни приметы.
Опомнясь от нахлынувшей беды,
услышала — окрикнул: «Катька, где ты? . .» —
и перебрал послушные лады.

Вернули.
Подвели.
И обручили.
В любви прошли их давние года.
А мне для жизни
                    только и вручили
смятение той ночи навсегда.

1960

86. В ПОЛЕТЕ

Лечу,
шепчу свое законно,
мотив старинный напевая.
Как сохранить оседлость тона? —
ответь,
дорога кочевая.

Летишь на винтовом, бывало,
воздушными охвачен ямами,
проваливало,
и взмывало,
и не давало бредить ямбами.
А тут —
не чаял и не верил,
прислушиваюсь к песне дивной,
звенит
в классической манере
Ту-104 реактивный...

Луконин, мы с тобой стареем:
то пишем ямбом,
то хореем...

Смеюсь себе,
а всё же боязно:
вот, скажут, к нам теперь приколот,
выискивал, пока был молод.
Все к одному придут
из поиска!

Нет,
надо, чтоб свободно пелось,
не для манеры или моды.
Свободный стих
имеет смелость
не быть рабом своей свободы.
Условности нас заковали,
хоть у Луны у самой побыли.
Так долго мы не рисковали,
и не пытались,
и не пробовали.

Поэзия, удвой усилия,
сама себя скорее вычисти
от робости и от бескрылия,
а то наступит
культ приличности.
Кто говорит, что ямбы выбыли?
Кто говорит, что ямб полезнее?
Свободный стих
свободен в выборе,
когда стучится
жизнь-поэзия.

1960

87. ХЛЕБ

Хоть и жив человек не единым
и до звезд достигает рука,
остается он непобедимым,
из веков
переходит в века.
Это наше знамение силы,
это то, что, как колос в гербе,
он всегда
на столе у России
и всегда
у народа в судьбе.
Без него ни стиха, ни плаката,
без него и мартен не зажечь.
Он и плавится в тонны проката,
и куется
и в молот и в меч.

Вот так Волга!
Опять зашумела.
Ты своих сыновей огляди:
нет такого великого дела,
чтоб не слышалась ты впереди.
Вижу вас — загорелых и сильных,
по плечу вам такая борьба,
солнце сушит рубахи на спинах,
капли пота стирает со лба.

Горы хлеба,
хлебные горы —
волгоградская наша гряда.

Но еще не сошли комбайнеры
и еще не остыла страда.
Степь раскинулась тихо
и томно,
ветер ходит над волжской водой.
Может, даже не хватит Эльтона
посолить этот хлеб молодой.

1962

88. НА ЭТОМ ПОЛЕ

Вот здесь,
на этом поле под Москвой,
в цветной красе, застенчивой и строгой,
у рощицы березовой сквозной,
под старою смоленскою дорогой,
на этом русском поле,
в поле ржи,
завязанной в снопы,
в покосных травах
твои сыны воздвигли рубежи
насупротив
твоих врагов кровавых.
Европы сгоночь видела с холма,
как ноздри императора раздуты,
и лезла на железные грома,
на огненные флеши и редуты.
На этом рубеже родной земли
сыны отчизну плотно обступили
и, умирая, тесно облегли.
Как любим мы,
так и они любили.
На этом поле у Бородина,
в слиянье речек Колочи и Во́йны,
здесь слава поколений рождена.
Мы здесь стоим.
Мы славы той достойны.

Торжественно знамена склонены,
сердца потомков славой овевая.
Молчат в земле
великие сыны.
Молчит над ними молодость живая.

1960

89. НАПОМИНАНИЕ

Самый светлый,
самый летний день в году,
самый больший день Земли —
двадцать второго.
Спали дети,
зрели яблоки в саду.
Вспоминаем,
вспоминаем это снова.
В Сталинграде Волга тихая плыла
и баюкала прохладой переплеска.
С увольнительной в кармашке
дня ждала
пограничная пехота возле Бреста.
Спал Матросов.
Спал Гастелло в тишине.
На рыбалку Павлов шел тропой недолгой.
В Сталинграде мать письмо писала мне
и звала меня домой,
манила Волгой.
Талалихин по Тверскому шел в ту ночь,
у Никитских попрощался —
ночи мало —
с той, которой я ничем не мог помочь
в день,
когда она на улице рыдала.
Вспоминаем эту ночь и в этот час
взрыв,
что солнце погасил в кромешном гуле,
сквозь повязки неумелые сочась,
кровь народа заалела
в том июне.

Шаг за шагом вспоминаем,
день за днем,

взрыв за взрывом,
смерть за смертью,
боль за болью,
год за годом,
опаленные огнем,
год за годом,
истекающие кровью.
Вспоминаем торжество,
как шли, и шли,
и Берлин огнем открыли
с поворота,
и увидели просторы всей Земли,
проходя
сквозь Бранденбургские ворота.
Сами звери поджигали свой рейхстаг,
дым последний очертанья улиц путал,
но Егоров и Кантария
наш стяг
водрузили на шатающийся купол.
Вспоминаем всех героев имена,
все победы называем поименно.
Помнит вечная кремлевская стена,
как валились к ней
фашистские знамена.

Нам бы только этот май и вспоминать,
но июнь еще стоит перед глазами,
если жало начинают поднимать
и охрипшими пророчить голосами.
Мы не просто вспоминаем
день войны,
не для слез и мемуаров вспоминаем.
Люди мира вспоминать о нем должны.
Мы об этом
всей Земле напоминаем.

1961

90. ПЕСНЯ В ДОРОГЕ

Нас ни кривдой, ни ложью
не рассорить вовек.
Я приписан к Поволжью,
я его человек.

Оторви меня только,
буду жизни не рад.
Нет, моя она — Волга,
это мой — Волгоград...

Ты начальственным тоном
пожелал мне беды.
Мы с соленым Эльтоном
съели соли пуды!

Неуживчивый? — Может.
Неуслужливый? — Да!
Срок не маленький прожит,
а живу навсегда.

Не пошел к тебе первым,
обходил тебя вновь,
не любил тебя, верно,
за твою нелюбовь.

Поклонюсь я поклоном
всем зеленым полям,
а не гладко-зеленым
канцелярским столам.

Я обиду и эту
не поставлю в зачет.
Был — и сплыл ты — и нету.
Волга — дальше течет.

Как я смерть свою встречу,
как живу, как дышу, —
только Волге отвечу,
только Волгу спрошу.

1961

91. ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

«Я слушаю!»
— «Любила!»
                    — «Что? Любила?..»
— «Послушайте,
                    страдала, и не раз».

— «Не слышу, что?»
— «На всех углах ловила. . .»
— «Ну, продолжайте,
слушаю я вас.
Искала счастья? Радостей хотела? . .»
Рокочет трубка:
«То-то и оно!»
— «Кто говорит?»
— «Да нет, не в этом дело».
— «Кто говорит?»
— «А вам не всё равно?
Вас беспокоит просто незнакомка,
всё говорю из уваженья к вам. . .»
Сквозь трубку голос слышится негромко.
Я чувствую, как холодно словам.

Постойте, как же так,
я понимаю,
да, понимаю, долго шли года,
и поворачивалась к октябрю и к маю
Земля,
и пролетали города.
Как ей найти в переплетенье света
и в пересвете незнакомых дней,
легко ли ей, когда летит планета,
искать свое,
найти свое на ней.
Я, войны и миры пройдя устало,
я — площадь от плеча и до плеча, –
как я не слышал, что она искала?
Как жил, свое смирение влача?
Ей было неизвестно всё с начала,
сердечко в страхе ежилось в комок.
Я не услышал, как оно стучало,
и к ней не вышел раньше, не помог.
Она просила жизнь одну: не выдай!
Во все глаза глядела на нее.
И перехватывало обидой
тоненькое горлышко ее.
И надо было столькому случиться
и столькому ответствовать в ответ,
чтоб нашим двум путям перекреститься,
найти свое в круговороте лет! . .

«Ну, говорите! . .»
Нет ее, пропала.
Я понимаю. Не нужны слова.

А к сердцу моему уже припала,
хохочет —
золотая голова.

1959

92

«Я стар, не убивай меня, прошу я. . .» —
тебя увидев, про себя шепчу.
Но, трепеща, бунтуя и бушуя,
бегу по раскаленному лучу.
Подкошенный глазами, рухнул разом,
всё изломал бровей ее излом.
И чувствую,
как намертво завязан
волос ее загадочным узлом.
Всё понимаю.
Всё я принимаю.
Не говорите, знаю. Не гляжу.
Глаза свои притворно подымаю
и в сторону притворно отвожу.
Хожу один в переплетенье улиц,
а время всё летит, как облака.
В полете лет
случайно разминулись
две жизни
и не встретятся пока.
Вы, самолеты, поднимайтесь выше,
вы перекройте лето, поезда!
Не вижу я ее,
уже не слышу
и забываю имя навсегда.
Да только что теперь мое решенье,
так ничего не будет решено.
Преодолеть земное притяженье
пока еще не каждому дано.

Я дальние дороги выбираю,
я от нее все мысли отрешу.
Гляжу в глаза
и в страхе замираю:
я стар, не убивай меня, прошу.

1963

93. ДУРА

Парижу не спится ночью,
мчится во весь опор.
Ресторан эмигрантов.
Русская кухня.
Хор.
«Шахразада» — снаружи темно,
внутри полумрак —
русские эмигранты
старинно зовут «кабак».
«Прошу, господа, садитесь. . .»
К стенке спиной сажусь.
«Любимый столик Ремарка», —
заметил мой друг, француз.
Сумрачна «Шахразада»,
не шум, а какой-то стон.
Всё громче соседний с нашим,
размашисто пьющий стол.
«Выпьем, — кричат, — выпьем!»
— «Господи, поднеси. . .»
Русская речь с французской —
«пардон», «майонез», «мерси».
Старый, худой и желчный —
что на его веку! —
беззвучно, взахлеб смеется,
фужер приложив к виску.
Полнит тарелки дама
с повадками муравья.
Деникинцев и красновцев
дочери и сыновья.
«Выпьем за спутник, братцы.
Вот он, наш русский ум!»
— «Куда там — американцы».
— «Давай поцелую, кум. . .»
— «Ах, сени мои,

ах, сени...»
— «Не так это надо петь...»
Грустно.
Смешно их слушать.
Больно на них смотреть.
Домучивал балалайку,
хоть в гаме не слышен звук,
в вышитой косоворотке
чей-то нелепый внук.
Шампанское солоновато,
не водка и не вода.
«Пойдем-ка, Мишель, пожалуй...»
— «Машка!»
— «Иди сюда!»
— «Машка!» — вокруг вскричали,
ожил дремавший зал.
«Машка,
не бойся, дура,
ты слышишь, кому сказал!..»
Шла через зал от двери,
щеки ее белы,
растерянно
недоверчиво
оглядывая столы.
Шла нехотя,
будто что-то
насильно ее вело,
в синем немодном платье
«сломанное крыло».
Шушукаются. Смеются.
Нелепо идет она.
Не слышно французской речи, —
русская речь слышна.
Соседний стол потеснился.
«Не ела, поди, с утра?»
— «Вот дура».
— «Садись же, дура».
— «Привыкнуть, дура, пора...»
— «А что это значит — «дура»?
Красивых зовут одних?»
— «Не знаю, Мишель, не знаю,
Ты лучше спроси у них».
Я не успел заметить
неслышный его прыжок:

«Пардон!»
Он склонился к уху,
слоеному, как пирожок.
«Дура? —
Старик затрясся. —
Послушайте, господа,
спросил, что такое «дура»,
не слышал он никогда!..—
Взял он под локоть Машу: —
Дура? А вот, гляди».
Встала тихонько Маша,
руки прижав к груди.
«С экскурсией прикатила,
дура, в прошлом году,
решила в раю остаться,
вот она,
на виду».
— «Машка, скажи французу —
незачем в душу лезть.
Дура — сказать по-русски —
это она и есть».

Стояла неслышно Маша
у чужого стола,
сквозь слезы
«Шахразада»
в дымном чаду плыла.

1960

94. НАЧАЛО

Еще ледок в земле оттаявшей поблескивает
и рычаги у тракторов рань леденит.
Туман сырой висит над перелесками,
но голубеет,
проясняется зенит.
Гул в хуторе Отрожки ранней ранью,
затрепетали все моторы, все сердца.
И люди вышли
и стоят большим собраньем,
команды ждут.
Не отводи от них лица.

Стоят, смеются под весенним чистым небом,
перед началом самым вечным и земным.
За ними мнится
рослая пшеница
и видится автоколонна с первым хлебом
и вся страна под солнцем проливным.
И если бы не это раннее начало,
не это вдохновенье вешних дней,
тогда бы и поэзия молчала,
а люди
и не знали бы о ней.

1960

95. ДОРОГА

Ярославу Смелякову

Две тяжелых разлуки,
                    лишенных прощанья,
две встречи,
когда задохнулись глаза.
О дорога,
          с рассвета
я помню твои обещанья,
дорога, дорога,
               зазубренная, как гроза.
«Ну ладно», —
ты скажешь, отодвинув ладонью.
Смеемся с тобою,
захвачены завтрашним днем.
А я не забуду той встречи.
Ты помнишь?
Я помню,
как за руку взял.
А дорога сказала: «Идем!»
Она города
            не эбарабанила славой,
не стелила тебе, подрезая, цветы.
Идет по дороге не гитарист кучерявый,
а верный товарищ земной правоты.
И бесконечна, заманчива эта дорога.

Она не прогулка.
Еще обещает бои.
Ветер времени дует любовно и строго
в молодые
рабочие плечи твои.

1960

96. В НОЧЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

Спи, Настенька,
я к двум твоим годам
клонюсь посеребрённой головою.
Спи.
Никому на свете не отдам,
не бойся,
                    спи спокойно под Москвою.
Во сне растут все дети на земле.
Спи.
А я пойду, ликуя и страдая.
Пускай к тебе в вечерней полумгле
во сне
приходит мама молодая.
Пойду. Бушует летняя Москва.
Да что за утро выпадет ей завтра!
Мне надо знать
заветные слова
готового к полету космонавта.
Да, это завтра.
А сейчас пока
спят космонавты родины, как дети.
Я знаю — их дорога далека,
пусть спят пока в подлунном пересвете.
Я знаю, кто она.
В урочный час
взойдет над всем,
                                    и мир ее услышит,
земной предел пройдет у самых глаз.
А женщина уснула, ровно дышит.
Она всё знает, —
                                    спит,
и сны легки.
Я знаю — и не сплю.
Да, мне не спится —

в полете будут
все ее витки
лететь вослед,
пока не приземлится.
Всё вместе:
степь. Отчизна. И она.
И Волга. И поэзия. И Настя.
Всё это вместе —
жизни глубина,
и высота, открытая для счастья.
Дай мне слова, поэзия, приди.
Земля светлеет с каждым оборотом.
На все века,
что будут впереди,
запомню эту ночь перед полетом.

1963

97. ОБЕЛИСК

Вы думаете — нет меня,
что я не с вами?
Ты, мама, плачешь обо мне.
А вы грустите.
Вы говорите обо мне,
звеня словами.
А если и забыли вы. . .
Тогда простите.
Да. Это было всё со мной,
я помню, было.
Тяжелой пулей разрывной
меня подмыло.
Но на поверхности земной
я здесь упрямо.
Я только не хожу домой.
Прости мне, мама.
Нельзя с бессменного поста
мне отлучиться,
поручена мне высота
всей жизни мира.
А если отошел бы я
иль глянул мимо —
представьте,
что бы на земле могло случиться!

Да, если только отойду —
нахлынут, воя,
как в том задымленном году,
громя с разбега,
пройдут
мимо меня
вот тут,
топча живое,
кровавым пальцем отведут
все стрелки века.
Назад — во времена до вас,
цветы детсада
за часом час —
до Волжской ГЭС еще задолго,
так — год за годом —
в те года у Сталинграда,
в года,
когда до самых звезд горела Волга.
В год сорок...
В самый первый бой,
в огонь под Минском,
в жар первой раны пулевой,
в год сорок первый...
Нет,
я упал тогда в бою с великой верой,
и ветер времени гудит над обелиском.
Не жертва, не потеря я —
ложь, что ни слово.
Не оскорбляйте вы меня
шумихой тризны.
Да если бы вернулась вспять
угроза жизни —
живой
я бы пошел опять
навстречу снова!
Нас много у тебя, страна,
да, нас немало.
Мы — это весь простор земной
в разливе света.
Я с вами.
Надо мной шумит моя победа.
А то, что не иду домой,
прости мне, мама.

1963

98. СПИТЕ, ЛЮДИ

Спите, люди,
отдохните.
Вы устали.
Отдохните от любви и маеты.
Млечный Путь усеян звездными кустами.
Ваши окна
отцветают, как цветы.
Наработались, устали ваши руки,
нагляделись
и наискрились глаза,
и сердца, устав от радости и муки,
тихо вздрагивают,
встав на тормоза.
Спите, люди,
это просто ночь покуда.
Вы не бойтесь —
день проснется, снова жив.
Спите, люди.
Ночь такая — просто чудо.
Отдыхайте,
пятки-яблоки сложив.
Я на цыпочках хожу,
и мне счастливо.
Вспоминаю,
как цветасто спит Париж,
спит Марсель у знаменитого залива.
И тебя я помню, Прага, —
сладко спишь.
Вспоминаю ночи Дели и Рангуна.
К пальмам голову —
некрепко спит Ханой.
И Пномпень, устав от солнечного гуда,
спит на ложе красоты своей земной.
В Таиланде
тихо спит вода Сиама.
Спят плавучие базары. Ночь в порту.
«Тише, тише! —
я шептал над ухом прямо. —
Берегите, люди, эту красоту! ..»
Спали в Хельсинки.
Ногами снег сминаю.
И хожу так осторожно, словно лось. . .

Тишина.
Я всё хожу и вспоминаю,
как в Пекине
что-то очень не спалось.
Вот и ты теперь уснула под Москвою.
Спи, родная,
спи с ладонью под щекой.
Я взволнован
красотой
и добротою.
Ты прости мне этот сложный неспокой.
Снова Волгу звезды крупно оросили,
здесь, у хутора Глухого, спать пора.
Снюсь я дочери своей Анастасии.
Тише, тише —
не будите до утра.
Спите, люди, сном предутренним одеты,
отдыхайте
для работы,
для игры,
привязав на нитке дальние ракеты,
словно детские зеленые шары.
Чтобы дети и колосья вырастали,
чтоб проснуться
в свете дня,
а не во мгле, —
спите, люди,
отдохните.
Вы устали.
Не мешайте жить друг другу на земле.

1962

НЕОБХОДИМОСТЬ

99. НЕОБХОДИМОСТЬ

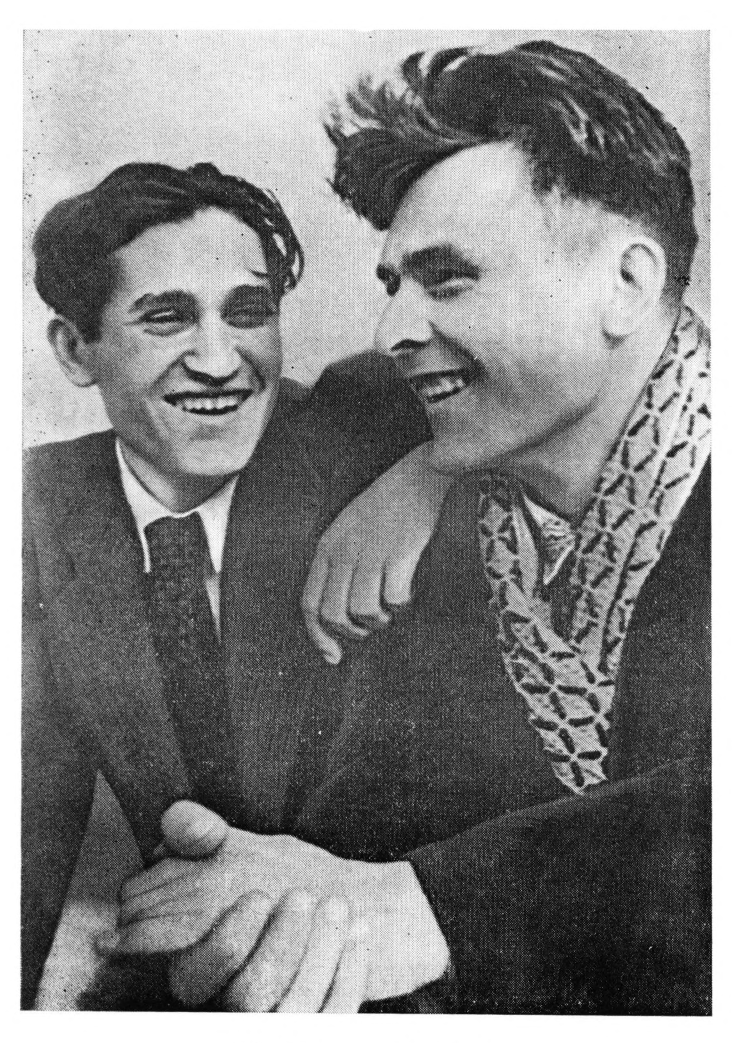
Необходимость —
это не причуда,
не выдумка,
пришедшая хитро,
не циркуляр, ниспосланный оттуда, —
о, как легко бы бегало перо!
Но что же ты тогда, скажи на милость?
Не хочешь отступиться от меня.
Как неизбежность
и неотвратимость —
необходимость
завтрашнего дня.
Опять с тобой,
как прежде,
одиноко.
Теперь не просто радуют слова.
Необходимость возраста и срока,
ты требуешь,
зовешь,
и ты права.
Бледнеет и уходит всё, что лживо.
И наступает, близится в конце
необходимость
жесткого разрыва
с растерянной улыбкой на лице.
Придите,
ликованья и раненья,
сны мира
и смертельные бои.
Придите под высокое равненье —
вы, все необходимости мои.

Необходимость шепота и крика,
необходимость странствий и дорог.
Попробуй их теперь останови-ка,
я никогда остановить не мог.
В круженье заколдованного круга,
ты как глоток податливой воды —
необходимость недруга и друга,
необходимость счастья и беды.
Необходимость видеть тебя снова,
необходимость знать, что ты в пути.
Насущная необходимость
                                        слово
тебе,
не для тебя,
                    произнести.
Необходимость жить сквозь кривотолки
с усмешкой на обугленных губах.
Весенняя необходимость Волги, —
я ее солнцем яростным пропах.
Приди,
умру от этой жаркой жажды.
Приди, необходимость, так прошу.
Я в жизни задыхался не однажды.
Вот и теперь
уже едва дышу.
Мне умирать вот так же приходилось.
Придет, как жизнь,
                              она возьмет свое —
необходимость,
как непобедимость
поэзии —
            спасение мое.

1968

100. НА ПЕРЕВАЛЕ

На перевале тут не до шуток.
Вы там бывали?
Как жуток
этот промежуток
на перевале!
На самом гребне седой вершины
торчишь нелепо.



М. Луконин и А. Яшин



А. Твардовский, М. Луконин и Г. Марков

И одинаково
недостижимы
земля
и небо.
Не знаешь —
смелость тебя вздымает
иль гонит робость.
Взлететь ли
или —
и так бывает —
пропа́сть,
как в пропасть.
Не знаешь —
смертен ты
или вечен,
лжец или правый,
развенчан ты или увенчан
хулой
иль славой.
То всё умею и всё могу,
то нет — не смею.
То сразу снова у всех в долгу,
то всё имею.
Как обозначить свое звучанье —
слезами, смехом?
Чем отзовется земля —
молчаньем
иль горным эхом?
То хочется вселенной крикнуть:
«Эгей!» —
с разбега,
то боязно:
вот оборвутся
завалы снега...
Всё это поднялось помимо
меня,
со мною.
Должно быть,
это вон та равнина
всему виною.
На перевале
земля видна
как отдаленность.

На перевале
людям нужна
определенность.
«Да?» —
я спрашивал там, внизу,
тогда,
вначале.
«Нет?» —
вопросом на мой вопрос
мне отвечали.
На перевале,
на гребне лет,
не пряча взгляда, —
да или нет, да или нет? —
ответить надо. . .
О испытание на вершине, —
ты просто мука.
Внизу —
словами затормошили,
а тут
ни звука.
Там на улыбку любви и боли
глядел —
не видел,
отстраняя родные слезы,
навек обидел.
Там в одиночество так бежалось —
не успевали.
От одиночества
сердце сжалось
на перевале.
Как будто молнией вдруг расколот,
то в жар,
то в холод.
То так велик!
То снова мал.
То стар,
то молод.

1964 или 1965

101. АПРЕЛЬ

То ветер дует, Волгу пороша,
то вновь сияет солнечное чудо,
и ожиданьем полнится душа
чего-то и кого-то
ниоткуда.

В полях определенней и ясней,
весна в районах явственней и проще.
Земля открылась, дышит,
вместе с ней
и Волга поднялась,
проснулись рощи.

Разлив такой, что тонут острова.
Да, Волга подступила
прямо к сердцу.
Сквозь камни пробивается трава,
не удивляйтесь этому соседству.

Завесневел небесный окоем.
Телеантенны
как громоотводы.
И голуби воркуют о своем,
хотя и вышли, кажется, из моды.

Весна. Весна.
Пора по Волге плыть,
пора всему на свете обновляться.
А девушки не знают:
как им быть?
Еще не знают —
плакать иль смеяться.

⟨1966⟩

102. В НЕЛЕТНУЮ ПОГОДУ

«Волгоград не принимает», —
слышим с самого утра.
«Волгоград не принимает», —
возвещают рупора.
Обсудили все приметы
про погоду
и сидим —
десяти держав поэты,
восемнадцать,
как один.
Мы спешим на братский вечер.
Просим главного добром.
Но пока закрыл диспетчер
Внуковский аэродром.

«Волгоград не принимает...»

Хуже не бывает дня.
Иностранные поэты
тихо смотрят на меня.
Я сижу, вздыхаю сложно,
улыбаясь как во сне.
В сердце пасмурно, тревожно:
может, это обо мне!

«Волгоград не принимает...»

Как, меня, за что же вдруг!
Город не припоминает
сына.
Не воспринимает, —
на душе растет испуг.
«Город мой, за что! — шепчу я. —
В чем, скажи, моя вина?»
Только что живу кочуя,
Волга все-таки одна.

«Волгоград не принимает...» —

снова слышу, как в бреду.
Как же я теперь без Волги
и куда теперь пойду!
Стало пусто и бессильно...

Был когда-то слаб и мал.
Сталинград ведь принимал.
Обнимал меня, как сына.
С полуслова понимал.
Над землею поднимал.
Поднял и не опустил.
Я не понял.
Упустил.
Может, что-нибудь такое
Волгоград мне не простил!

«Волгоград не принимает. . .»

Подожди еще,
пойми,
только ты и есть на свете,
родина моя, прими.
По любви своей, по долгу
твой я, слышишь,
веришь ты?
Я пешком иду на Волгу,
подо мной гудят мосты.
Не иду —
бегу я в муке.
Тишина летит за мной.
Плавно простираю руки
в невесомости земной.
В уши ветер дует резко,
сердце ухает в груди.
Я бегу,
а сам — ни с места.
Нету Волги впереди. . .

«Волгоград не принимает. . .»

Я очнулся и притих.
Клочья тяжкого кошмара
загоняю в этот стих.
Все поэты — слева, справа —
понимающий народ.
На улыбку югослава
улыбаюсь во весь рот.
Непогода убивает.

Но и непогодь не зря.
Вот что иногда бывает
в первых числах декабря.

1965—1966

103. ТЕБЕ

У Ганга был
                    и не забыл,
бил в бок поющий гонга
и в половодье переплыл
на пальме
ширь Меконга.
В струе купался ледяной,
а были дни иные —
я окунался с головой
в тропически парные.
А ну-ка, память, вспоминай,
да, не забыть вовеки:
Янцзы, и Сену, и Дунай,
еще другие реки.
Худого слова не скажу,
красивы реки мира,
летаю, езжу и хожу
землей
неутомимо.
Но почему же —
                    всё с тобой,
всё о тебе,
с тобою!
Всё ты и ты, в стране любой
дорогой голубою.
Идут, уходят, как во сне,
разлука и размолвка,
а ты всегда со мной,
                    во мне,
единственная Волга.
Во мне, со мною
навсегда.
Когда с тобой прощаюсь,
веселый я лечу туда,
счастливый
возвращаюсь.

И тем я жив,
что знаю я —
ты за меня в ответе, —
и боль моя,
и соль моя,
и хлеб мой
на планете.

(1966)

104. ПИСЬМО НАСТЕНЬКЕ

Здравствуй, моя Настенька,
пишу тебе издалека.
Дни моего праздника
движутся, как облака.
Ложность снимаю разную,
сложностей не перечесть, —
торжествую и праздную,
что ты у меня есть.

Там у тебя на крышу
падает легкий снег.
Там — среди елок — слышу
твой неповторимый смех.
Во снах я лечу и еду,
подарки тебе несу.
И нахожу по следу
санок твоих
в лесу.
Не слушаю твою бабку —
уж очень она строга, —
беру тебя всю в охапку,
с веток летят снега.
Нас двое в тиши морозной
на мартовском ветерке.
Щекой прижимаюсь слезной
к теплой твоей щеке.

Здравствуй,
моя доченька!
Знаю наверняка,
что моего почерка
ты не поймешь пока.

Но не сердись, пожалуйста, —
если бы только ты! —
даже взрослые жалуются,
требуют простоты,
упреками мучат частыми,
что их утруждаю зря.
Пиши, говорят, печатными
буквами
из букваря.
Чтоб речь получалась складная,
добудь на успех права,
из кубиков детских складывая
рифмованные слова.

Люблю я с тобой смеяться.
Смейся со мной всегда.
Будут года сменяться,
будут идти года.
Лето пройдет,
 и лето,
зима,
 и еще зима, —
потом ты письмо вот это
сможешь прочесть сама.

Здравствуй, моя маленькая,
пишу тебе издалека.
Улица, солнцем залитая,
движется, как строка.
Здесь солнце выходит горное,
зима отошла ко сну.
Лето твое
 четвертое
встречает свою весну.
Здесь небо пронзают синие
каменных гор хребты.
Пламенные и сильные
вышли в поля цветы.
К тебе, моя именинница,
пошли по земле цветы.
В июле к тебе придвинутся —
сейчас не поверишь ты.

К тебе
по дороге долгой
идут по земле живой.
Над Доном пройдут,
над Волгой,
пройдут над рекой Москвой.
Встречай в середине лета,
они для тебя цвели.
Эти цветы — приветы
далекой моей земли.

Я вижу косички русые,
сплетенные, как лоза.
Радостные и грустные
расплесканные глаза.
Я вижу косички русые,
в сердце тебя ношу,
когда из прекрасной Грузии
это тебе пишу.

1965

105. Я ВАС ВСПОМИНАЮ

На синее ясное небо,
на чистое небо
глаза поднимаю, —
и солнце и небо — всё к маю.
Что грустно так? — не понимаю.
Не грустно.
Торжественно грустно,
приподнято и грустно.
Нет,
словом одним не дано очертить это чувство.
Хожу по Тбилиси,
в Боржоми —
по горным отрогам,
иду по весне,
навстречу всё новым и новым дорогам.
По солнцу, по небу хожу я,
по Грузии близкой,
увижу лозу на земле
иль слезу
на щеке материнской —

вижу вас,
узнаю,
увидав эти долы и горы.
В глазах молодых незнакомцев
узнаю ваши взоры,
в стройных походках и в жестах,
в напоре стремительной речи
узнаю вас.
Не раз обнимал
острокрылые плечи.
И в зависти к этим черным бровям,
к этим черным ресницам
я узнаю —
это юность!
Не знал, что она повторится.
Я узнаю вас:
за руки взявшись,
идут яркоглазые дети.
Слышу —
Родина-мать на Мтацминде
вздыхает о вас на рассвете.
В памятнике арагвийцам
над вечной Курой
узнаю ваши лица,
вы это, да, узнаю,
это вы — арагвийцы.
Я вас нахожу во всем, что увижу,
в большом или малом,
товарищи,
братья
по жарким боям,
по морозным привалам.
Дано мне запомнить вас:
рядом мы
в зное и в стуже.
Какие мы все молодые!
Мы вместе,
мы тут же.
Лопата к лопате,
котелок к котелку,
автомат к автомату.
Треугольники писем из Грузии
вы мне читали, как брату,

Ногами застывшими
мы в реки вошли ледяные,
обмотками нашими
забинтовали мы раны земные.
Праздников мы не видали —
нам было до них,
как до неба.
Мы видели землю
так близко,
как сайку пайкового хлеба.
Видели землю родную,
Родину-мать.
И — ни слова.
Да,
еще видели ненавистную глотку чужого.
Я запомнил, тогда, в сорок первом,
тогда, под Москвою.
В сорок втором, у Орла,
мы лежали в снегу с головою.
В сорок третьем
над Волгой вставали и шли,
и над Керчью
вставали, как волны,
навстречу смертельному смерчу.
И дальше — к Берлину,
и дальше — в Берлин — все живые,
а вас оставляли в дороге,
друзья боевые.
Я видел вас, помню,
и нежными помню и грозными.
На перекрестках дорог
вы оставались
под фанерными звездами.
Хожу я по вашей земле,
повернувшейся к маю.
Грузины,
с войны не пришедшие, —
вас вспоминаю.

1965

106. КАНОБИЛИ. 31 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА

Одолела забота.
Ну, житья не дает:
как дела небосвода?
Как он там, небосвод?
Как там звездною рожью
колосятся миры?

Я примчался к подножью
Канобили-горы.
Как там звезды —
проверю! ..
Понесло высотой
между высью и твердью
по спирали крутой.
Нас дорога вздымала,
карабкались мы.
Говорят,
не бывало
подобной зимы.
Только-только пробили
небывалый завал.
Так, гора Канобили,
я тебя узнавал.
А дорога всё круче,
шины мерзло скользят.
По основе сыпучей
отползаем назад.
Длинностволые ели,
от земли под углом,
прямо в небо взлетели,
обхитрив крутосклон.
С тоской замирая,
отводим глаза —
у отвесного края
верещат тормоза.
Так, играя с горою,
поднимались едва.

Вдруг пахнула жарою
наверху синева.
Потрясло, ослепило
круговой белизной.

Золотое светило
взошло надо мной.
Это зимнее лето
снег сожгло добела.
Встали,
к небу воздеты,
терема-купола.
Раздвигается купол,
телескоп повело.
Я чего-то напутал,
не напал на стекло,
и невооруженным,
просто глазом простым,
на снегу обожженном
увидал
и застыл.

В лыжной шапочке синей,
опершись на копье —
стала.
Вспыхивал иней
на ресницах ее.
Шепот слышится где-то:
«Даром время течет,
это так, с факультета,
новый наш звездочет. . .»
А в глазах звездочета
звезд не виден предел.
Я и сбился со счета,
всё глядел и глядел.
Небо было в просвете,
солнце било в проем, —
я подумал о лете
и о чем-то своем.
Так стояла, сияя,
на лыжном ходу.
Так открыл для себя я
дневную звезду.

О, гора Канобили!
До свиданья, звезда.
Ведь недаром любили
люди
землю всегда.

О, какое раздолье,
как прекрасно внизу!
Вижу светлое поле,
ветер выдул слезу.
Ни за что бы на свете
не поверил и сам,
если б не был в Месхети
и не верил глазам.

Наверху вечерело.
Горы были в тени.
Я на цыпочках смело
уходил в эти дни.
И путем своим вечным
я иду по лучу,
всем прохожим и встречным —
тише, люди, —
шепчу.
Тех, кто лезет, бушуя,
укоряю виной.
«Тише, люди, —
шепчу я, —
не гремите войной.
Неужели забыли,
что такое война!»
На горе Канобили
так нужна тишина.
Там, открытое мною,
сердце ярко горит.
Там звезда
со звездою
в тишине говорит.

1965

107. КРЕПОСТЬ

Головы заопрокинув,
снизу смотрим, не дыша,
снизу — вверх, и то от страха
обрывается душа:
на скале, на самом пике,
крепость древняя строга,
угрожающе нависла
над дорогами врага.

Здесь, внизу, Кура струится.
По ущелью гул идет.
Крепость на вершине дикой
никого уже не ждет.
До чего стоит красиво!
И сама-то как скала!
Вот гадай — какая сила
эти камни подняла.
Да, титаны, а не люди.
Удивляемся — смотри!
Да, титаны, а не люди,
витязи,
богатыри!..
А у них, титанов древних,
а у тех богатырей
густо руки багровели
от кровавых волдырей.
Зажигала грудь чахотка,
сухожилия рвались,
мерли, отступали,
снова
поднимали камни ввысь.
Кожа лопалась на спинах.
Торопились, шли и шли.
В ожидании набегов
эту крепость возвели.
Запирали всё ущелье,
умирали, как орлы.
Сами на врагов бросались,
как снаряды,
со скалы.
Не хотели, чтоб томились
черноокие в плену,
так любили
землю эту,
землю милую одну.
Этим башням на вершине —
поклонись им вновь и вновь,
их не сила возводила,
возносила их любовь.
Наши предки утвердили будущее,
и тогда
для удобства
на равнинах стали ставить города.

Век за веком. Неспокойны.
Да и наш еще во мгле.
Стороной обходят войны
эту крепость на скале.
Голову заопрокинув, вы глядите на нее.
Эта крепость,
эта крепость
людям отдала свое.
Крепость эта в нас с тобою
так живет,
как и жила, —
как характер, воплотилась
в наши души и тела.
В крепость долга,
в крепость дружбы,
в крепость песен и детей,
в то, как землю любят люди —
крепости
из крепостей.

1965

108. В БАГДАДИ

Грузинский поэт
Маргиани Реваз
в Багдади привез меня.
Такое чувство, что я не раз
был здесь
в начале дня.
Река Ханис-Цхали,
и дом на холме,
и мост,
и подъем крутой.
Всё близко мне
и родственно мне
жизненной простотой.
Кузня грузинского кузнеца
на перекрестке дорог.
Наверно, он провожал мальца
в тот путь,
что в века пролег.
В тучах багдадские небеса,
дождь льется за воротник.

Но лучше об этом бы
написал
багдадских небес должник.
Владим Владимыч,
я в небо бы влез,
но слаб мой стих.
Не могу...
Придется вам
у багдадских небес
остаться
в вечном долгу.

1965

109. ДВЕ НИНЫ

Дом друга моего — он над Курой.
В нем две хозяйки властвуют —
две Нины.
Одна мне мать —
мы перед ней повинны.
Другую Нину я зову сестрой.
Две женщины грузинские в дому —
мать и жена грузинского поэта.
Поэзия!..
Да я и не про это.
Я говорю о них не потому.
Всё в хлопотах,
в трудах своих старинных...
Я не скажу, пожалуй, ничего
о ежедневном подвиге незримом,
лишь женщины способны на него.
Я не об этом.
Одарят добром
улыбок и приветствий —
хорошо нам.
Положено быть радостными женам,
всё остальное —
на себя берем.
Да, на себя берем.
Я не об этом, —
берем, бывает,
лишнее подчас.

Как бескорыстно светят нашим светом!
Без зависти
их радости за нас.
Две женщины, две Нины,
здесь в дому.
Мы славим сень спокойного уюта.
А Нины улыбаются чему-то
великому,
чему-то своему.
Мы умные, оглохшие от гула,
талантливые, —
ходим не спеша.
Нам невдомек,
что силу в нас вдохнула
таинственная женская душа.
И если нам задуматься придется,
увидим вдруг,
что звуки и слова —
всё, что потом поэзией зовется, —
всё
в их сердцах
рождается сперва.

1965

110

Падает снег, плещется,
вьется у самой форточки.
В белой крупе мерещатся —
точки,
кружочки,
черточки.
Падают вниз на деревца,
на травы, еще шумящие,
снежинки!
Сперва не верится,
как будто не настоящие.
Теряется лето, — где ж оно?
Наново всё побелено.
Солнечно
и заснежено, —
сразу —
бело
и зелено.

А там, за Тбилиси,
выожится
над эвкалиптами зяблыми.
Ловят белые кружевца,
развеселившись, яблони.
Лежит белизна рассветная.
Под снегом теплеют озими.
Дышит земля,
согретая
виноградными лозами.
Снежинки летят неслышные.
В ущелье Боржоми — за́мети,
Бакуриани лыжные
рады зиме без памяти.
Хожу по горе-лестнице,
впервые зимой в Грузии.
Летние дни и месяцы
мне горизонт узили.
Впервые — тепло зимнее,
впервые зима южная.
Небо почти синее,
солнце совсем вьюжное.
Эта зима та самая,
как прежде, до боли близкая,
конькобежная, санная,
родная моя, российская.
Это я сам навстречу весне
слетаю лыжнею волглой.
Это я сам,
будто во сне,
стою
над родимой Волгой.

1965

111. ЦИРК

По Тбилиси ходит пара,
необычная на вид.
Вдоль веселого бульвара
оживление царит.
Вроде парочки влюбленной,
вроде нет,
не разберем,

или воин ослепленный
с девочкой-поводырем.

Вот афиши:
«Цирк в Тбилиси!»
Ну, понятно,
погляди —
эти двое в страшной выси
кувыркаются, поди.
Непохожие, другие.
Он идет,
поет слова,
бицепсы его тугие
распирают рукава.
Он идет походкой веской,
а она совсем не то —
фея в шапочке жокейской,
в черном кожаном пальто.
Цокот этих ножек черных,
светлый блеск веселых глаз
жителей высокогорных
останавливают враз.
Вон заходят в магазины —
мы у входа постоим.
Любят зрелище грузины,
улыбаются двоим.

По Тбилиси ходят двое.
Не видать со стороны,
что звенящей тетивою
двое те сопряжены.
Что его томит усталость,
что ее уносит ввысь.
Это молодость и старость
поздно за руки взялись.
Что тоска их укачала
и прощаются сердца.
Что у этого начала
не предвидится конца.

1965

112. ПРОШЛОГОДНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

На проспекте Руставели
в галерее —
тишина.
Поглядеть мы захотели,
чем порадует она.
«Санитарный день, простите?
Выходной? Переучет?
Я приезжий,
вы пустите».
— «Что ж,
приезжему почет,
если так уже влечет».

Краски неба!
Краски моря!
Краски ночи!
Краски дня!
Настроенью жизни вторя,
захватили вдруг меня.
На стенах — впритык картины,
примостившись на полу,
прислонившись в уголке,
чуть ли не на потолке.
Коридор пустует длинный...
Только трое,
только трое
ходят у меня в тылу.
«Не мешайте, посторонний», —
говорит один из них.
«Почему же посторонний,
я ведь
не потусторонний,
я, товарищ, из живых!..»
— «Вы шутник!» — сказал другой.
Женщина сказала:
«Фронда!
Мы комиссия, а вы-то,
вы, товарищ дорогой,
из союзного худфонда?..»
И застыла деловито
перед девушкой нагой,
дробно стукая ногой.

«А комиссия при чем, —
спрашиваю, — что случилось?»
— «Отбираем!
Вот наивность!»
И оттер меня плечом.
«Но за что? Не верю всё ж.
Отпираете, наверно?»
Старший встрепенулся нервно:
«Отбираем молодежь,
отбираем, — говорит, —
скоро выставка. Понятно?»
И пошел,
шепча невнятно:
«перспектива»,
«колорит»...
У меня во рту горит.

Вижу —
правда, отбирают.
Как шоферские права.
Запирают, как дрова.
Милуют и презирают,
отбирают без затей,
привирают, попирают,
отбирают
у людей.
Смотрит молодой народ
с бородами,
без бород
на комиссию
с опаской,
ни насмешки, ни мольбы.
Пальцы вымазаны краской.
Молча ждут своей судьбы.

Отбирают!
Неужели
отберут и у меня,
на проспекте Руставели,
отберут
средь бела дня?!
Я — назад,
дрожа от страха,
говорю себе: «Скорей!»

На спине гремит рубаха.
Вылетаю из дверей.
Вот иду себе.
В кармане
чую гирю кулака.

А навстречу Пиросмани,
не отобранный пока.

1965

113. ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ

Меня волненье обуяло,
подумал — робость выдаю.
Но подошел,
                    и просто стало,
он подал руку,
взял мою.
Давно.
          А помню, как впервые.
И после удивлялся вновь:
как молоды глаза живые!
Таким глазам не прекословь.
Он был из собственных,
                                  из здешних,
но чувствовались в нем века.
Он это понимал,
насмешник,
счастливый баловень стиха.
Как будто праздничный и праздный,
как будто бы и ни при чем.
А сам,
уйдя от зрелищ разных,
к столу
клонился всем плечом.
И заставало его утро
с волшебной строчкой огневой.
Потом уж
весело и мудро
шел по Тбилиси
сам не свой.
Глазами, как у Льва Толстого,
прицеливался под обрез,

в бородке вида не простого
смеющийся
гнездился бес.
Веселость древняя, пастушья,
была здоровьем на сто лет.
Мальчишеское простодушье —
защитою
от всех сует.
Каким тяжелым оказался
след,
незаметный вгорячах,
когда он в гору поднимался
на наших сгорбленных плечах.
Входил в бессмертье,
как решил он,
вдруг оборвав свои пути.
Что его в жизни устрашило?
Ты его, родина, прости!
И шел народ ошеломленный,
обиженный его виной.
Галактика
Галактиона
взошла в поэзии родной.

1965

114. РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Со мною случилось что-то,
случилось,
что-то особенное произошло,
когда сквозь летку сталь просочилась
и потекла,
искрясь тяжело.
Завод мой,
как мне тебя не помнить!
Тяжелые, в стальной синеве,
маслом пахнущие ладони
меня погладили по голове.
Завод мой,
я вспомнил тебя в Рустави,
на металлургическом,
в сердце огня.

Здесь я увидел в потоках стали
дни и ночи
рабочего дня.
Завод мой,
зачем я ушел когда-то?
Ты провожал меня верой простой.
Было нехитрое сердце сжато
головокружительной
высотой.
Я твой —
доверчивый и прямодушный,
Я —
разделивший твою судьбу.
Иногда из ямы воздушной
выходил с синяком на лбу.
Было, рабочее слово стало
девицам на выданье резать слух,
пело романсы, стихи шептало
полчище литературных старух.
И бледнолицый певец манерный —
«Откуда вы?» — вопрошал тогда.
Пока не пробило
апломб фанерный
простым вопросом: «А ты куда?»
Менялись звания и названья.
И мы оказывались не в чести...
Завод мой,
в час моего свиданья
ты умолчанья мои прости.
Завод мой,
я вспомнил тебя в Рустави.
Гудят расплавленные миры,
идут перегруженные составы
от Волги
до трудовой Куры.
Стихи не раз меня вызывали
в Рустави —
в Комсомольск на Куре.
Стоят грузинские сталевары,
как виноградари на жаре.
В расцвете сил мастера проката.
Я снова с ними,
не стал иным.

Всю землю — если она поката,
обручем опояшем стальным.
Хожу и хожу
и горжусь законно.
Вся жизнь, всё будущее видней.
Завод мой,
я возвращусь.
Я дома —
в поэзии этих рабочих дней.

1965

115. ГИМН СОЛНЦУ

(Подражание «Лилео»[1])

Славим восходы твои, закаты,
солнце.
Тобою счастливы и богаты,
солнце.
Ты завихренье огня и света,
солнце.
Твоей улыбкой земля согрета,
солнце.
В каждой песенной сванской строчке —
солнце.
В каждом зернышке, в каждой почке —
солнце.
С нашей радостью и бедою —
солнце.
И над хлебом, и над водою —
солнце.
В каждой косточке, в каждом семени —
солнце
На младенческом мягком темени —
солнце.
В глазах любимой, в любом оконце —
солнце.
Юность силою неизбывной вздымает
солнце.
И в винограднике, и в травинке —
солнце.

---

[1] «Лилео» — древнейшая грузинская песня «Гимн солнцу».

В каждой нашей живой кровинке —
солнце.
Наше празднество и одоленье —
солнце.
Возобновляй на земле цветенье,
солнце!
Жизни, людям, земле смеется
солнце.
Род человеческий не прервется,
пока есть солнце!
Жизнь бесконечную дарит людям
солнце.
Славили, славим и славить будем
солнце!

1955

116

Вы корни гор —
грузины молодые,
основа и опора всей гряды.
Вершины гор —
друзья мои седые,
товарищи —
нетающие льды.
Грузины молодые, шире плечи,
я слышу, наливается Кура.
А в сердце вновь —
напев грузинской речи
и шум земли
с утра и до утра.
Я вижу тебя, молодость народа.
Звенит в зените тонкое крыло.
На лицах утро,
сполохи восхода
и детских снов несмытое тепло.
Ты красота, возникшая с разбега.
Ты наш подарок будущим векам.
Да, молодость,
ты нетерпенье века,
ладони рук,
открытые рукам.

Ты каждый раз — опять рожденье бури,
я по тебе все завтра узнаю.
Я видел тебя в шахтах Чиатури
и у отвесных пашен на краю.
Я видел тебя, видел тебя, видел...
Да что там — видел!
Молодость, с тобой
никто из нас врагам себя не выдал, —
мы выдержали вместе
тяжкий бой.
Мы — из вершин, от века поседелых,
ты — молодость,
тебе и крутизна.
Земля твоя
для сильных и для смелых,
ты молодость, ты смена, ты весна.
Смотри —
подруги как похорошели,
смотри —
друзей заискрились глаза,
и жила у твоей открытой шеи
напряжена,
как спелая лоза.
Возьми себе в наследство
юность нашу
и — выходи.
Зовет земной простор.
Вздымайте
нежно родину,
как чашу,
грузины молодые —
корни гор.

(1965)

117. ПРЕДЧУВСТВИЕ СВАНЕТИИ

Как башлыки на горлах — облака.
Приметами всего земного шара
они для марсиан издалека —
вершины —
Ушба, Шхельда, Тетнульд, Шхара.

На горлах гор
трепещут облака,
и речи быть не может о простуде.
А может, думают,
что это люди?
Но это всё
неведомо пока.

Сванетии просторов снеговерхих
я не видал.
Далекий пересверк их
мне чудится.
Зовет из года в год —
с минуты той,
как начал восхожденья,
как вышел сам,
как вывели в поход
стихи мои
в день своего рожденья.
Я знаю — там селение Мулахи.
Туда
с сердцебиением иду.
Отодвигаю робости и страхи.
И вот уже вершина на виду, —
вот, где-то здесь
селение Мулахи.

Но начинаю снова каждый день я.
И снова —
все мои преодоленья.
Беру я ледоруб. Я скалолаз.
Боюсь,
себя веревкой обвиваю,
и сам себя я
преодолеваю.
Приходится всё начинать не раз.

Конечно, можно сразу — самолетом.
А повезет,
так могут подвезти.
Нет уж — не надо.
Видел я, чего там...
Такие взлеты
могут подвести.

Сванетия, земля под самым небом,
на пастбищах твоих
я еще не был.
Я, человек из тех, неустрашимых,
иду к тебе. Бьет ветер наповал.
Я еще не был на твоих вершинах.
А на каких вершинах я бывал?
Но вот он — под ногами, —
перевал.

Сванетия,
вершина жизни,
слушай,
прошу теперь тебя.
На всякий случай —
знай, что я шел, иду к тебе,
спешу.
Когда-нибудь потом наступит роздых.
Мне одобренье родины — как воздух.
Я дорублю дорогу,
довершу.

Сванетия — правдивость добрых сванов,
прямым и близким солнцем осиянных.
Как счастлив я!
Когда?
В каком году?
Сейчас!
Я ускоряю шаг аршинный,
ведет меня
на близкую звезду
предчувствие
Сванетии вершинной.
Предчувствие вершины.
Я иду!

1965

118. ГРУЗИНСКИМ ПОЭТАМ

Поэты Грузии напевной —
неповторимый голос гор!
Друзья, я знаю ваши песни
с полей далеких,
с давних пор.

Задолго до того, как сердце
впервые в Грузии
зашлось
от красоты вершины белой,
похожей на земную ось.
Я не проник в язык грузинский
и виноват перед тобой.
С волнением гляжу в страницы,
переплетенные резьбой.
На языке грузинском слово
не вымолвлю и не прочту.
Заполонил мне горло
русский,
как колокол,
гудит во рту.
Волна поэзии грузинской
мне и понятна и близка
величественным ликованьем
волнующего языка.
И хорошо,
что в бурях века
мы, в заблужденнях легки,
названья рекам сохранили,
не поломали языки.
Да, многое исчезнет в мире,
а многое — и без следа.
Писать стихи на эсперанто
не будут внуки
никогда.
Язык народа не закроешь
единым росчерком пера.
Все наши языки — как реки,
как наши
Волга и Кура.
Язык — он собственность народов,
не плод досужего ума.
Пусть не сливаются, не надо.
А там —
подскажет жизнь сама.
Поэты Грузии, вы реки —
они текут из века в век.
Я узнаю вас поименно
по именам грузинских рек.

Кура! — я вслушиваюсь. Знаю.
Арагви! — тоже узнаю.
Ингури! — сразу отличаю
в поэзии ее струю.
Вы музыку стиха искали
у Ханис-Цхали,
и нашли.
Техури — тихая?
Не верю.
Ее поэтов бури жгли.
Риони!
Слышу шепот нежный,
и поцелуй,
и звон подков.
В одном названье Алазани —
поэзии на сто веков.
Квирила как заговорила!
Ее поэты не тихи.
А Цхенис-Цхали
в пене
скалы
раскалывает
на стихи.
Поэты Грузии, я помню
тепло крестьянских ваших рук,
и песни, и дороги в горы,
сердец горячих перестук.
Но всё до этого
задолго
на Волге, в маленькой избе
по вашим песням долетевшим
я Грузию воздвиг себе.
Потом уже
в бою и в мире
мечтами часто навещал,
всё предугадывал.
Предвидел.
Предчувствовал.
Предвосхищал.
Признаюсь:
даже встречи наши откладывал:
в разгоне дней,
боялся —

вдруг да не сойдется
                                она с поэзией своей!
Поэты Грузии, спасибо,
вы жизни родины верны, —
поэзия не обманула
                                мои доверчивые сны.
Всё как в России, всё знакомо,
                                всё близкое, всё узнаю.
Поэты Грузии похожи на мать —
                                на Грузию свою.
С народом каждый вдох и выдох,
с отчизной каждая строка.
Поэтому
в глазах грузина
поэзия так высока.
Горжусь поэтами-друзьями.
Влюбленный, по земле хожу,
горжусь,
        что песнями России
поэзии
        принадлежу.

1965

119

Были поклонники,
стали читатели.
Стали товарищи,
были приятели.
Были влюбленности
и увлечения,
но в отдаленности
тают значения.
Были равнения
с теми и с этими,
были ранения,
стали отметины.
Время проверило,
время обдумало —
ветром с ладони
лишнее сдунуло.
Сдунуло лишнее,
легкое, слабое.

Время оставило
самое-самое.
И поговорка
теперь уже выучена:
счастья не знать бы,
несчастие выручило...
Да, помогли вы,
несчастья хорошие:
виски заметелило
серой порошею.
Время обдумало,
сдуло всё лишнее...
Время,
верни ты мне
бремя давнишнее —
лишнее, легкое,
сорное, ссорное,
всё неоткрытое,
всё неповторное.
Нет, не хочу,
чтоб несчастье лечило,
счастья того,
что несчастье вручило,
нет, не хочу я.
На бешеной скорости,
время,
верни мне все беды
и горести!
Слышишь, скорей
окуни меня в роздыми,
сбей с якорей
эти пристани-простыни!
Слышишь, —
туда,
где в далеком году
я под огонь
добровольно иду.

⟨1966⟩

А жизнь сверх меры —
празднество и мука.
Тогда толкнула пуля горячо,
я над землею выгнулся упруго,
не слыша ничего.
А что еще?
А то,
что с той минуты
в сорок первом
живу, живу, случайностью храним.
Веду перерасчет всем старым мерам,
и верам,
и невериям своим.
Живу, живу, а кажется, что брежу.
Иду, иду, а кажется — стою
и всё неубедительней,
всё реже
снюсь сам себе у смерти на краю.
Я знаю —
удивляетесь чему-то:
так странно я вздыхаю и смеюсь,
а у меня в глазах всё та минута, —
я ничего на свете не боюсь.
Смеюсь над мельтешением наивным,
вздыхаю о товарищах своих, —
они звучат во мне неслышным гимном,
смотрю на вас,
а думаю о них.
Ничем я не увенчан, не украшен —
винтовка на брезентовом ремне.
Не знаю, как оно —
бессмертье ваше, —
мне моего
достаточно вполне.
Как под огнем прицельным,
перекрестным,
стой, обелиск.
Не отвожу лица.
Он вам, живым, остался Неизвестным,
а я-то видел этого бойца.
Живу сверх меры
празднично и трудно

и славлю жизнь на вечные года.
И надо бы мне уходить оттуда,
а я иду, иду, иду туда,
туда, где смерть померилась со мною,
где,
как тогда,
прислушаюсь к огню,
последний раз
                    спружиню над землею
и всех своих, безвестных, догоню.

1968

121. РАНЫ

Да, раны зарастают.
                    Но растут.
И не болят.
                    Пока их не увидишь
или пока забвеньем не обидишь, —
тогда опять с тобою,
тут как тут.

Когда детей в большой семье растят,
им шьют с запасом,
                    чтобы впрок носилось.
И нам —
шинели длинные, до пят,
и шрамы тоже
                    выдали навырост.
Чтоб мы не заблудились в ней,
                    война
на нас зарубки ставила, ты помнишь.
А чтоб не заблуждались,
                    жизнь сама
свои заметы ставила потом уж.

Вы так и не отпустите меня.
Вы держите меня,
как на приколе,
ранения давнишнего огня,
ранения послевоенной боли.

1969

122. ОГНИ

В глазах твоих тихих — улыбка.
Прошу тебя снова: взгляни.
Нетерпеливо
и зыбко
в зрачках пробегают огни.

Трепещут огни негасимо,
ловлю их живой пересверк.
Еще улыбаюсь насильно,
а сам уже сник
и померк.
Смеешься? И смейся.
Ты рада?
И радуйся.
Счастлива ты?
Я всё понимаю.
Не надо
стесняться своей правоты.

Я руку твою отпускаю,
себя самого торопя.
Сейчас вот, сейчас, отвыкаю...
Огни украшают тебя!

Огни и меня закружили,
читаю в них участь свою.
Огни не мои,
а чужие.
Свои я огни узнаю!

Свои бы почувствовал тут же,
нет в памяти схожих огней.
Не то чтобы лучше
иль хуже,
взволнованней
иль холодней.

Нет,
просто мои — не такие.
Не так
они вспыхнуть должны.

В глазах твоих —
                    это другие,
не мною они зажжены. . .
И так уж сгорело немало,
нет места живого во мне.
Еще бы чего не хватало —
в чужом
        задохнуться огне.

Пусть жжет меня зависть слепая,
гнетут меня ночи и дни.
Шепчу я себе, отступая:
«Прощайте,
            чужие огни!»

1969

123. ВОЗРАСТ

Стал лучше видеть
                    далеко,
стал хуже видеть то,
                    что близко.
А это очень нелегко,
и в этом слишком много риска.

Теперь несет, несет меня
из этих мест
            в края иные,
и все подробности земные
туманнее день ото дня.

Загадываю наперед,
заглядываю в даль такую,
что даже оторопь берет.
А с тем, что есть,
уже тоскую.

Всё лучше вижу,
                что вдали.
Всё хуже вижу то,
                что рядом.

Как будто бы мне привели
всё дальнее
с доставкой на дом.
Боюсь, что мимо вновь пройду,
так уже было,
                    вспоминаю,
и не замечу на ходу,
не отзовусь
и не признаю.

Ведь было же не так давно —
прошел, не замечая, мимо.
А так теперь необходимо,
но повториться не дано.

Очки? А что они дают?
Очки, они не помогают,
не видят,
а предполагают,
не знают,
а преподают.

Всё хуже вижу,
                    что вблизи.
Всё лучше вижу вдаль —
всё дальше.
А так недалеко до фальши,
и я прошу тебя:
спаси!

1969

ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ

124. ТЫ СЛЫШИШЬ?

Уже отболела во мне эта женщина
и отоснилась.
Нет, нет...
отоснилась.
А ваза искрилась и пела,
та ваза, что с нею давно мы купили когда-то.
Та ваза жила на полу, поблескивая синевато...

В тот день было столько цветов.
Куда их девать, мы не знали.
Взявшись за руки,
в солнце,
мы шли по долине Арбата.
В тот день и купили мы эту метровую вазу
и сразу
поставили на пол...

Отболела та женщина
и отоснилась.
А ваза стояла одна эти годы.
И не виновата.
Все эти длинные годы в ней жили цветы.
Моей была ваза.
В ней голос ее просыпался в хрусталинке каждой,
то болью моей,
то надеждой,
то жаждой,
гранью любой отражаясь
в хрусталинке глаза...

И вот,
возвратясь из Ханоя,
уставший от зноя Вьетнама,
я вазу свою обхватил
и понес напоить
и цветами наполнить...
И как она вдруг ускользнула —
теперь и не вспомнить.
Склонясь над осколками колкими,
я не верил упрямо.
«Это что за примета?» —
ответа просил у соседей.
«Скажите, к чему бы?» —
тянул онемевшие губы...
И ночью, поднявшись, еле дождался рассвета,
звонил я той женщине:
«Что это значит?
Какая примета?
Ответь мне —
к чему это: вазы той самой не стало? ..»
— «Ах, это к хорошему, —
грустно сказала, устало, —
только осколки в доме уже не держи,
понимаешь...»
А тут меня снова дальние взяли дороги.
Опять я взлетел над землей.
И ходил по Парижу.
Когда-то мы с нею ходили вот здесь
и смеялись от счастья.
Несло меня дальше.
И в спящем Мадриде я слышал
звон моей вазы...
Внизу Атлантический океан отзывáлся,
и дальше
висел над водой до самого Пуэрто-Рико.
Мы ночь догоняли до спелых огней Каракаса.
«Ну что это значит?» —
вопрос разрастался до крика.
«Что это значит?» —
звенела во мне моя ваза...
На правом крыле самолета
Большая Медведица стыла.
В лохматые звезды
месяц взлетел вверх рогами.

И Тихий уже
океан
облаками размыло.
Потом в самолете забрезжил рассвет.
И потом,
это чудо —
Сантьяго
и Исла Ниегра.
И самое это:
в колокола ударяет Пабло Неруда.
Ничего не забуду.
Тихий оплескивал камни.
Необычный дом Пабло,
на каравеллу похожий,
и его самого.
Жал руку морскими руками...
А я всё раздумывал над собою
и что-то итожил...

Когда поднялись после ужина,
я не удержался:
«Пабло, вы старший.
Скажите мне —
что это с вазой?
И что это значит?..»
Прикрыл он свои медно-желтые веки,
за день уставший.
Ревел океан за окном...
«Пора было вазе разбиться.
Настала пора ей уйти,
чтобы не возвратиться.
Она не могла оставаться,
отзвучала она, отлучилась...
А с вами
в то время
случилось ведь что-то,
скажите?
Да, в дом не входила
в те дни,
не входила другая?
Не полнила светом весь дом?..»
Я не собрался с ответом.
«Это к лучшему!» —
так сказал он.

Ты слышишь меня, дорогая?
Утром, чуть свет, я к берегу шел, поражаясь:
и как это мог он обо всем догадаться —
обо мне, о тебе, и о нас,
и о том, в чем не смели признаться.
И о вазе,
ушедшей из моего одиночества странно!

Спасибо тебе за открытие, Пабло,
за это ученье,
что жизнь непрерывна
и в новизне постоянна.
«Всё к лучшему!» Слышишь?
На другом полушарии
слышишь ли, Анна?

На волне океана
ты слышишь
мой вздох облегченья?

125. ХЛЕБНЫЙ ГОД

Встану, полный добра и доверья,
прямо к Волге лицом
и замру.
Воробьи пролетят сквозь деревья
на обветренном этом юру.

Это было со мною когда-то —
чувство вечности и немоты —
за Тулупное
до переката
провожал, заглядевшись, плоты.
Правый берег казался загадкой,
но открылся —
пришли времена,
стала сразу таинственной прядкой
луговая моя сторона.

Что за лето! Пылает дорога,
степь желтеет на весь хлебозор.
Ты спроси с меня, родина, строго,
не подвел ли тебя
с давних пор?

Не давались нам песни вначале,
так не ладилась песня
без слов,
изнывали мои быковчане,
вопрошали
идущих сынов.
А нужна была Волге огласка,
шли года обновленья земли.
Непутевого взяли подпаска
и в поэты его возвели.
Николаевцы и быковчане,
с вами снова —
в родной стороне.
Не речами сильны,
а плечами;
речи ваши —
поручены мне.

1970

126. РАЗМЫШЛЕНИЕ В МАХЕНДЖО-ДАРО

Солнце, похожее на колесо арбы,
легко, по-зимнему, катится
без обычного жара.
Я хожу и хожу
вдоль каменной городьбы
по гулким улицам
города Махенджо-Даро.

Махенджо-Даро —
раскопки холмистой гряды.
В тесных улочках окаменела прохлада.
Почему опустели дома
и бассейны твои без воды?
Что случилось с тобою,
прекраснейший город-громада?

Эй, хозяева! Где вы,
гостеприимные люди земли?
Где флейты?
Где гонги древнего Пакистана?
Где хлеб ваш и рис?
Зачем вы дома возвели?

Куда вы ушли, куда вы исчезли
так странно?
И не у кого спросить,
что случилось
и чья тут вина.
Как здоровье,
как дети,
как женщины,
как урожаи?
Безмолвствуют стены.
В строгом строю молчат имена.
Безмолвные буйволы
каменных губ не разжали.
Да, куда вы ушли?
Шесть веков занесли вас землей,
шесть веков
мы, потомки,
росли от невидимой нити.
Я хожу и хожу.
И тоска вековая за мной.
Тишина.
Одиночество.
Вечное солнце в зените.
А что, если вдруг... —
у меня пересохло во рту, —
не назад,
а вперед
шесть веков отсчитает планета
и в немыслимой дали
кто-то будет кричать в пустоту:
«Эй, хозяева, где вы?» —
и вдруг не услышит ответа...
Сейчас вот сорвется
рука человека в ночи,
рука,
что на атомной кнопке
дежурит устало...
«В Махенджо-Даро идите! —
кричат кирпичи. —
Идите сюда,
пока еще ночь не застала.
Махенджо-Даро,
твоя красота не легка,

тебя мы, как памятник,
славить и чествовать будем».
Но нет, не случайно
тебя нам вернули века,
чтобы видели,
помнили,
знали
и думали люди.

1968

127. СТИХИ ПО КРУГУ

Давайте почитаем
все
по кругу
стихи друг другу,
нам уже пора.
Не круговую утвердим поруку,
а честную поверку до утра.

Как в молодости — помните? — бывало.
Прошедших дней в обиду не дадим.
Так кто у нас сегодня
запевала?
Я так и вижу —
встали, как один.
Смеемся все —
попробуй разберись ты! —
все запевалы,
каждый о своем...
Немыслимы в поэзии хористы,
поодиночке
дышим
и поем.

Другие видят в этом самомненье,
а это лишь прикрытие всегда, —
не видят, как берет тебя
сомненье,
не знают мук
поэтова
труда.

Друзья мои, казахские поэты!
Единым солнцем мы обожжены,
одни у нас закаты и рассветы —
я из степной заволжской стороны.

Пой, Абдильда,
                    в веселье и печали.
Джубан,
стояли мы рука к руке,
когда в Белграде громом привечали
казахский стих
на русском языке.
Пой, Халиджан, товарищ мой старинный,
и ты, Сырбай,
                    твой голос узнаю...
Благодарю твой стих —
не именинный,
а настоящий,
добрый,
в честь мою.

Друзей зову, на пальцах загибая.
И тех далеких —
                    как они близки!
В круг позовем великого Абая,
он песни слал,
                    как беркута с руки.
Не забываем высшего примера,
учителя все с нами в этот час.
Пусть к коновязи ставит Кулагера [1]
наш Джансугуров,
                    старший среди нас.
Давайте почитаем все друг другу
стихи по кругу.

                    Начинай любой!
Возьми нас, жизнь, опять к себе в науку...
Поэзия, прими нас.
Мы с тобой!

1967

---

[1] Кулагер — конь певца Ахана в поэме Джансугурова «Кулагер».

128. КУЛАГЕР

Кулагер, крылатый конь, — лира и стрела...
Степь его для славы вечной,
видно, родила.
Устали не знал великий первозданный конь,
догонял любых бегущих,
не боясь погонь.
Песни бедного Ахана,
стон его земной
Кулагер промчал когда-то стороной степной.
Зависть — древнее мученье,
зависть всё могла,
зависть и тогда умела бить из-за угла.
Кулагер летел, как птица, на большой байге,
благородный конь не думал о своем враге.
Зависть черная, готовя смерти торжество,
кол косоприцельный врыла на пути его.
Зависть черную сломила вечная любовь.
Я переводил поэму, ликовал, скорбел,
то с Ильясом,
то с Аханом вместе песни пел.
И меня промчал над степью Кулагер не раз,
целовал я Кулагера в ослезенный глаз.
О поэзия святая, и тебе всегда
зависть ставила рогатки,
била без следа.
Джансугурову Ильясу на его пути
кол косоприцельный врыла зависть —
не пройти.
Сколько лет живет во мне
сказка о коне!
Думаю всегда о чьей-то тягостной вине.
Есть у зависти, я знаю, кол и для меня,
как Ахан
и как Ильяс,
не сверну коня.
Слышу топот Кулагера, звон его копыт...
Тот, кто песней степь восславил,
нами не забыт.

1967

129. ОБРАЩЕНИЕ К ДРУГУ

Абдильде Тажибаеву

Косились синеглазые быки,
ярмо набило вытертые выи.
Вдали столбы крутились вихревые,
обозы шли и шли...
Передовые
оглядывали степь из-под руки.
Тоска сжимала русские сердца,
степь жаркая парит перед глазами.
Но в путь —
во имя Сына и Отца —
царица погнала из-под Рязани.
Эльтон и Баскунчак влекли сюда,
возили соль, соленую, как слезы.
Но перехватывала орда
все соляные русские обозы.
И двинулись заслоны.
Стой!
Пора!..
Легли быки, усталые до дрожи.
Так начались Быковы Хутора,
как начиналось русское Заволжье.
Распутали с рогов налыгичи,
яремные выдергивали спицы.
Быки жуют.
А на возах в ночи
под звездами далекими не спится.
Так оседали русские посты.
И шли казахи к Волге,
к водопою,
так встретились когда-то
я и ты —
в крови далеких предков —
мы с тобою.

Да, если только вспомнить, Абдильда,
товарищ мой,
и спеть
про всё, что было,
как шли степные долгие года,
и сколько бед,
и сколько страхов смыло!

Давай пойдем вдвоем
своей страной,
с той битвы, что в сказаниях воспета,
с тех лет,
что начинали век иной,
наш век
в разливе ленинского света.
Вся наша жизнь уместится как раз
меж вехами великих одолений —
от первых комсомольских поколений,
от первых тропок
на Кара-Богаз.
Неведомый пришелец —
бледный орс,
таинственный казах
широколицый
открылись
среди бед
и среди гроз,
чтоб хлебом,
болью,
солью
поделиться.
Единым устремлением дыша,
мы шли друг к другу,
как народ к народу, —
от первых тех разведок Балхаша
к его медеплавильному восходу!

Да только что́ железо,
что́ там медь, —
а сплав сердец!
Стеной своей живою
панфиловцы преодолели смерть
в бессмертном сорок первом
под Москвою.
Мы слышим позывные по утрам
и думаем о них:
путем неблизким
над Байконуром
к звездам и мирам
их вечной славы
взмыли обелиски.

Нам есть о чем сказать себе,
о многом
и вспомним и споем мы,
Абдильда.
Давай пройдем
по пройденным дорогам,
они нас снова выведут
туда,
где снова открываются просторы,
где снова начинаются пути.
Нам отдыхать
и праздновать
не скоро.
Как раз пора нам
к новому идти.
Да, надо с тихой грустью оглядеться
на детство и прикинуть наперед:
что оставляем юности в наследство,
чем вспомнят,
если вспомнит нас
народ?
Мы в дружбе все дела свои вершили
и дружбой перед будущим правы.
Дай руку в эти дни твои большие,
прими привет
от Волги и Москвы.

1969

1[illegible]

В Неопалимовском ночном
ледок похрустывает гулко.
О неприкаянном одном
забыли окна переулка.
Живу за тридевять земель,
сквозь зиму вижу еле-еле,
и замела теперь метель
мои далекие недели.

Я спрашиваю:
«Есть?»
— «Жок, жок!» —
смеется милая казашка.
Нет писем.
На душе ожог.
Опять и сумрачно и тяжко.
Через Актюбинск, Кулунду
в мечтаньях ночи коротаю,
в Неопалимовский иду,
как снег, к ногам твоим спадаю.
Все подозрения простил,
увидев в отсвете из окон,
как след твой узенький простыл,
как робок он,
как одинок он!
Но вдруг приснится рядом след
и ты под тяжкою рукою.
И вот уж снова сладу нет
с неразберихою такою.
Неопалимовский, прости.
Лечу, морозом опаленный,
обдутый ревностью в пути
и жаждою неутоленной.

1969

131

Стихи меня взорвут когда-нибудь.
Как мне от них
в себе
освободиться,
улыбкой озарить родные лица
и самому легко передохнуть?..

Не отреченье,
не леченье, нет, —
стеченье лет под ложечкой, у вдоха,
комок стихов, заполонивших свет.
Прошу я,
потерпи.
Мне просто плохо.

Пока запоминаю наизусть,
будь терпеливой, —
не легко, наверно.
Не верю в счастье,
радостей боюсь,
притормозил дыханье суеверно.

Ревную к тени, к призраку вины,
к слезам твоим,
и к улице, и к дому,
к себе,
к тому,
пришедшему с войны
с улыбкой,
бесшабашно молодому.
Всё жадничаю,
жажду,
вечно жду
и при тебе
всё о тебе тоскую,
как будто бы я на весеннем льду
ежеминутно головой рискую.

Я знаю —
весь —
в терпении твоем.
Смахни с меня неверия, как тени.
Узнавший одиночество вдвоем,
я славил одиночество со всеми.

Вот-вот передохну,
почти живу,
теснят слова высокого свеченья.
Прошу тебя.
Люблю тебя.
Зову.
Как труден он для нас,
вздох облегченья!

1972

132. СКАЗКА ПРО ЛИСТОВ

1

Я шептал: «Повторись!»
Просил: «Повторись вся как есть!..»
Хотел, чтоб на свете земном
ты опять повторилась.
Хотел через годы тебя на руках перенесть,
чтобы снова взошла,
чтобы снова в себя претворилась.

Повторись
и явись,
как является новый рассвет.
«Повторись!» —
клокотала у горла веселая жадность.
Так не может случиться, чтобы ты не умножилась, нет,
не могло же так быть,
чтоб не длилась ты,
не продолжалась.
Прямо снилось и чудилось,
будто бы мне довелось
твой крик новорожденный слышать
и первое слово,
лицо твое видеть,
родное от смеха до слез,
и за руку брать,
и вести тебя,
школьницу снова.
Просил: «Повторись»,
чтобы все осветились пути
твоей нескончаемой тихостью и добротою,
которую долго искал без тебя
и не мог я найти,
той самой,
которой и сам-то, наверно, не стою.
Я вызвал тебя,
ты откликнулась,
вышла за мной.
Вода и земля нам нужны были для сотворенья.

Я взял мою землю
за гриву полыни степной.
Волжские волны спели нам песнь повторенья.

2

Я вспомнил про сказки,
стал их скликать на совет,
хорошо, что я вспомнил про них
и позвал без опаски.
Хорошо,
что,
наученный лживостью пройденных лет,
я вдруг обнаружил,
что верю
в хорошие сказки!
Сказка про аистов вспомнилась!
Аисты где?
Аисты! Аисты!
Но уже сентябрило.
Аисты двинулись к нильской далекой воде.
Аисты! Аисты!
Даль отзывалась бескрыло.

Я в Шереметьево сразу,
на аэродром,
отложил сигареты,
ремнем опоясался гибко,
взмыл меня в небо аэрофлотовский гром.
В полночь уже опустил
над огнями Египта.

3

Из Каира я вышел чуть свет.
Ил запружинил
у плоского берега Нила.
Сквозь заросли шел я,
и ночь исходила на нет.
Пустыня,
как в детстве,
всё дальше и дальше манила.

Аисты головы вскинули:
вот чудеса!
«Аисты, вас я ищу!»
— «Ты откуда?» — спросили.
«Откуда? Откуда?» —
кричали на все голоса.
«Аисты, ваш я земляк,
прилетел из России...»

Мы обсудили, как быть мне,
я пошел на Судан.
По Красному морю проплыл,
гляделся в стеклянное днище.
Аисты находили меня по следам
и заверяли:
«Поможем тебе,
мы отыщем...»
— «Аисты, до свиданья!
Буду ждать от вас новостей.
Аисты,
я прошу вас
в прощальную эту минуту.
Аисты,
вы же всегда приносили хороших детей.
Аисты,
принесите мне дочку, Анюту!..»

4

«Ну, как там? —
кричали Расул и Григол. —
Подожди до зимы...»
— «Ну, как там?» —
вьетнамцы встречали в теченье недели.
На конференцию Азии с Африкой
съехались мы.
В те дни
я жил ожиданием
в городе Дели.
Что нового?
Нет ли чего?
Ждали день ото дня.

«Повторись!» — я шептал, как тогда,
еще в самом начале,
просил: «Повторись!
Повторись для меня...»
Мои белые аисты
что-то уж долго молчали.
В дорогах по Индии
жил я надеждой одной,
шептал: «Повторись»,
хотел, чтоб опять повторилась.
Молчание аистов
мучило,
словно бескрылость.
В Мадрасе
меня обдало океанской волной.
Я вытряхнул воду из уха
прыжком на песку,
как в детстве,
и шел по Мадрасу,
и думал о сказке:
как хорошо, когда веришь,
склоняясь к родному виску,
как в детстве,
как в юности, —
веришь всему, без опаски...
Весь сказочный мир мой внезапно возник,
когда я взошел на порог,
этот день — уже дата.
Я не забуду ни день,
и ни час,
и ни миг,
когда телеграмму вручил мне
гонец консулата.
«По сообщению агентства «Новости».
Город Москва...»
(Площадью Пушкина
сразу
вселенная стала.)
«...Из Дели...
приветствуем дочерью...» —
плыли слова.
Вот вам и сказка про аистов.
Слов не хватало.

Сквозь гул мировых новостей,
на высокой волне,
сквозь все грозовые разряды
простора сквозного
синеглазая новость
сюда долетела ко мне, —
спасибо тебе,
узнаю тебя, Родина, снова.
Спасибо вам, аисты — люди!
Несу вам цветы.
Дочь, —
говорят, что хорошая это примета.
Пусть белые аисты радости и доброты
мир осеняют
широкими крыльями света.

Ты слышишь мой вздох облегченья?
Скажи-ка ты мне:
ты повторилась,
опять
ты в себя претворилась,
ты нескончаема снова!
Скажи-ка на милость!..
Вот почему я так аистов
жду по весне.

1970

133

Наверно, так писать стихи нельзя —
всей грудью
надавив на лист бумаги.
Ведь строчки возвращаются, разя,
трепещут, как обугленные флаги.
Скажу себе:
спокойно,
отойди.
Опасно жить.
А легче в образ вжиться,

иначе
наступает боль в груди —
тень от стиха
на легкое ложится.
Нельзя
за каждой строчкой —
в новый бой.
Безумная затея нами движет:
чтоб каждую строку прожить собой
и самому еще
при этом
выжить.

1971

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

134. АВГУСТ

Что делать с августом?
Что надо?
Кому сказать?
Куда пойти?
С сердечным гулом нету слада,
жить невозможно взаперти.
С размаху в ноздри пахнут травы,
плоды гнут ветви до земли,
и яблони стоят, как павы,
от нежности изнемогли.
У августа всего в достатке —
то дождь, то солнце, —
выбирай.
И гор обветренные складки,
и море полное — взакрай.
На золотых песчаных нивах
сгорают женщины дотла;
лежат в причудливых извивах
их плодоносные тела.
А мы без памяти и сами!
Такой тебя и сберегу —
свежеомытыми глазами
зовешь меня
на берегу.
Иду из моря в пене зыбкой
с бесценной ношей.
Бьет волна.
За смуглою твоей улыбкой
тревога матери видна.

Прижалась изо всех силенок,
смеется мне — не упади! —
наш теплогорлый соловьенок,
Анюта,
на моей груди.

1974

135. КАК ТЕБЕ ЖИВЕТСЯ?

Больше не могу в себе носить.
Только вспомню — снова забывается.
Всё хочу, любимая, спросить:
как тебе живется,
как шагается?
Соберешь в дорогу — я спешу.
Встретишь — я в глазах твоих отсвечиваю.
Вспоминаю — вот сейчас спрошу...
И молчим,
взволнованные встречею.
День за днем работаем, живем,
год за годом отлетают в сторону.
Все тревоги, кажется, вдвоем,
радости, мне думается, поровну.
Ну, а вдруг всё это миражи!..
Ясность всё опять отодвигается.
Как тебе, любимая, скажи,
как тебе живется,
как шагается?
Как тебе, скажи, в моем бою,
как тебе со мною рука об руку?
Я и то, признаюсь, устаю.
По земле идем. А не по облаку.
На исходе лета моего,
моего бушующего августа,
я еще не знаю ничего —
грустно тебе в жизни
или радостно.
Отвечай улыбкою одной.
Это знать другим не полагается,
как тебе, любимая, со мной,
как тебе живется,
как шагается?

1974

136. КАПЛЯ ВОЛГИ

Что-то верить стал я
в каждую примету.
Серой синью
стынет волжская вода.
Может, скоро
я в последний раз
к тебе приеду
и останусь,
не расстанусь.
Навсегда.
Волга-родина,
прости слова восторга
и прости меня за всё,
что умолчал.
Я живу тобой,
плыву тобою, Волга,
знаю твердо —
ты последний мой причал.
Я плыву тобой,
все створы отмечаю,
каждый раз
читаю снова по складам.
Проблесковыми огнями
отвечаю
всем
идущим на сближение
судам.
Сколько жизней
нами прожито с тобою!
Бурлаком ходил
дорожкой бечевой.
С той поры всегда хожу
твоей тропою,
хоть и ноет
каждый мускул плечевой.
С Пугачевым я стоял
в ночи грозовой,
лодки посуху
от Дона волоча.
Был я вольницей твоею
понизовой,
был я конницей твоей

у Калача.
Я твоими всеми мелями
мелею,
все глубины
воспеваю во сто крат,
всеми болями твоими
я болею,
торжествами,
всеми праздниками рад.
Уезжаю, говорю тебе:
«Счастливо!»
Тихо тают на песке мои следы...
Мне прощание с тобой,
как боль разрыва,
с каждым разом —
как предчувствие беды.
От волны твоей глаза мои наволгли.
Отзови от всех земных широт меня.
Волга-родина!
Я твой.
Я капля Волги.
Искра малая
от вечного огня.

1974—1975

137

Захочу позвонить —
опомнюсь, —
с диска спадет рука.
Ни расспросить, ни рассказать —
ни слова теперь в ответ.
Далеко ли ты
или близко —
никто не знает пока.
Я к этому не привыкну,
что тебя навсегда нет.
Не загробной слезой омою, —
знаю твой нрав.
Но ушел
и не попрощался —
ничего не сказал мне.

А я ведь живу, как прежде,
с тобою вдвоем,
вдвойне.
Оборвал всё тоской немою, —
нехорошо,
Ярослав.
Хожу и зову друга...
У тебя их теперь — не счесть.
В друзья тебя назначает
каждый —
и стар и мал,
и тот, кто считает дружбу
службой
плести лесть,
и тот, кто знает ей цену, —
не раз ее продавал.
«Прощай!» — шепчу запоздало...
От боли я сник и стих.
Нужна мне твоя улыбка,
укором сведенный рот,
локоть, прикрывший строки,
голос, густой, как стих,
рабочая неторопливость
у проходных ворот.
Знаю — ты оборвал бы,
знаю и сам — нельзя.
Не в плаче стихи охрипли, —
кровь вышла из берегов.
Поэзию всю окрикни,
и отзовется вся
на нежное твое имя —
Ярослав Смеляков.

(1975)

138. ПЕРВЫЕ ДНИ

Кто в пилотках,
кто в шапках,
шинель — нараспашку.
Не хотелось ни есть и ни пить.
А теплынь — хоть куда!
По утрам умывались,
голову продев сквозь рубашку,

смеялись стеснительно:
«Жирок нарастет, ерунда!..»
Ходили внутри заколдованного круга,
чавкали сапогами по размолотому кирпичу,
с удивлением
и любопытством
разглядывали друг друга:
«Вот и победа!»
— «Мы живы!» —
и хлопали по плечу.
Седовласые женщины,
мужчины в штатском
глядят виновато.
Подходят,
неуверенно просят махру.
Фашисты
сразу как будто бы провалились куда-то.
Флаги —
простыни и полотенца —
хлопали на ветру.
Дошла! Догремела! —
кухня стоит полевая
на углу у рейхстага.
Но ей не положен отбой.
Разнобойную очередь
дымом своим овевая,
как зенитка, уставилась в небо
проржавелой трубой.
Протягивали котелки,
и кострюли,
и каски
немецкие люди,
как после болезни,
как будто в бреду.
А дети уже подходили
совсем без опаски.
Мы уходили.
Не хотелось смотреть на чужую беду.
Уходили солдаты.
Плечи опускали устало.
Пахло пахотой.
Небом весенним.
Дорогой прямой...

Двадцати миллионов советских людей
в это утро
нам так не хватало!
В это утро
нам нестерпимо хотелось домой.

1975

139. ПАРК БЕЛЬВЮ

Майор Плехотин,
вы помните старшего лейтенанта,
худого, как щепка?
В новом кителе,
сшил его перед Вислой
лучший варшавский портной.
Я был как новенький веник,
скрученный крепко...
«Где парк Бельвю? ..»
Я не знаю...
Я тут впервые,
вместе с войной.
«Где парк Бельвю? .. Где? ..» —
кричали мы
в каменном хитросплетенье.
Но улицы были перемолоты и перемешаны гневным
огнем.
Встречные немцы
в развалины ускользали, как тени.
Наши бойцы разводили руками:
«Бельвю?
Не слыхали о нем...»
— «Зачем ему парк?» —
я подумал.
А голос,
ваш голос:
«Где парк Бельвю? ..»
Я за вами с трудом успевал.
«Где парк Бельвю? ..» —
Силой нездешней и безответной любви
раскололось
эхо вашего голоса
здесь,
у войны на краю.

Товарищ Плехотин,
бежал я за вами, не зная...
Потом стоял у вашего локтя
над холмиком свежим
в сосновом бору
у фанерной звезды:
«Красноармеец Плехотин.
1925—1945. 1 мая».
Вместе с вами
так и буду делить эту тяжесть,
пока не умру.
И теперь, товарищ майор,
у каждого обелиска
вспоминаю тот день,
черты ослезненного болью лица.
Впервые увидел тогда я победу
так близко:
бессмертие сына,
вечное горе отца.

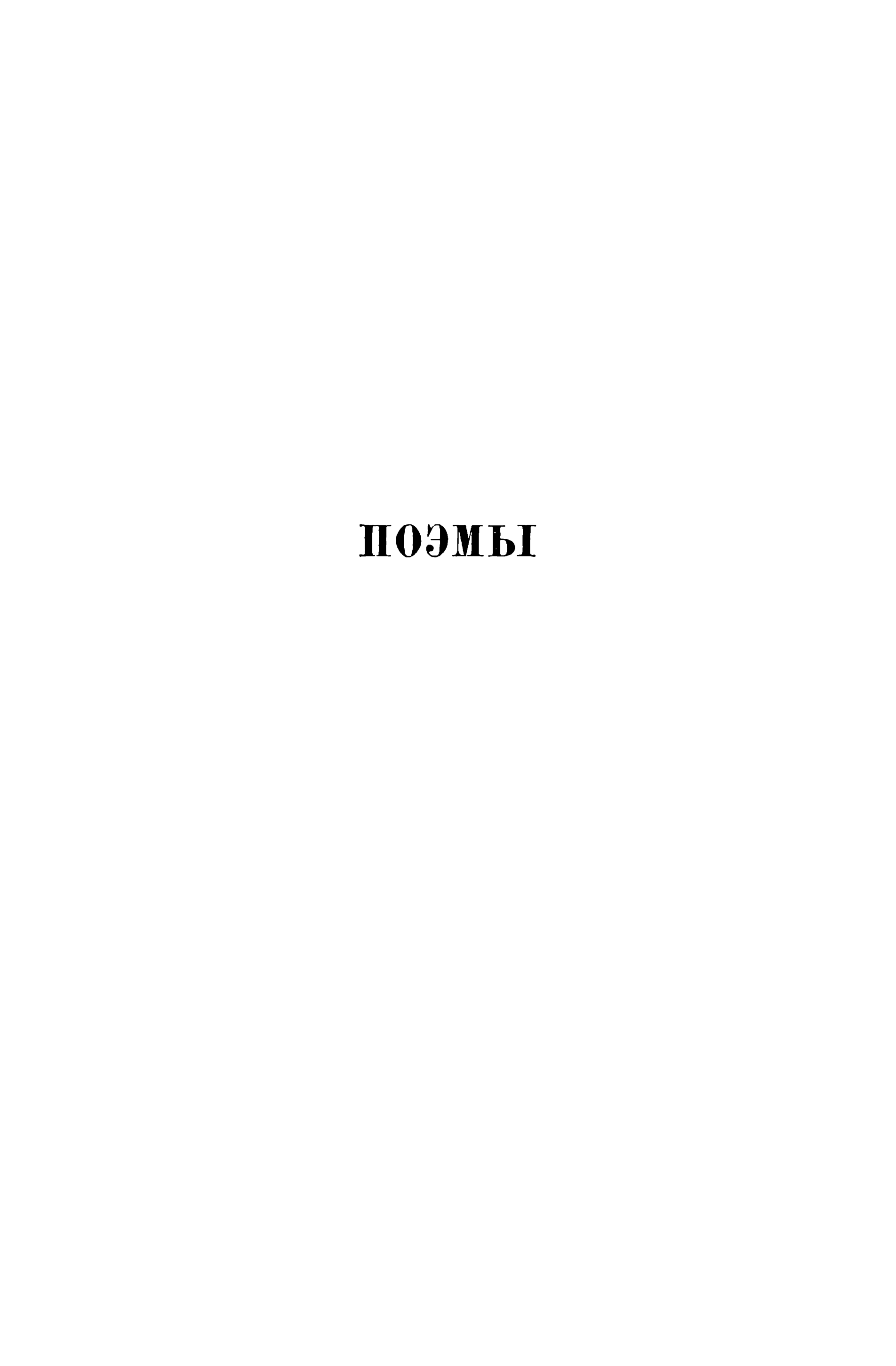
1975

140. СОЛДАТЫ

А были дни и ночи — стали даты,
нас разделив на мертвых и живых.
Читают постаревшие солдаты
воспоминанья маршалов своих.
Листают, возвращаются и — дальше...
Сон не идет.
При тишине любой.
Ага, деревня помнится на марше,
а вот еще — а дальше первый бой.
Передовая — это нам известно.
А здесь траншея, правильно, была,
здесь ночевали сумрачно и тесно,
здесь ранило — отметина цела.
Читают...
Удивительно солдату,
как в Ставке, там — в далеком далеке,
его дороги наносил на карту
Верховный сам, с карандашом в руке.
Как от Генштаба
и до рядового,

до сердца, замеревшего в груди,
летело —
долетало слово в слово —
заветное: «В атаку выходи!»
А на груди не так уж и светило.
С подвозом трудно — шли в снегу, в грязи.
Немыслимо, чтобы на всех хватило
медалей, —
нам снаряды подвози!
Разглядывают карты битв великих:
к Берлину — стрел стальные острия.
Вот где-то тут, в кровавых этих бликах,
находят точку, — вот она, моя!
Трехверстку бы достать — другое дело,
масштаб не тот, а то бы и нашли
свою травинку в прорези прицела,
свою кровинку на комке земли.
Вперед, вперед!
В жарыни и в метели
бегом за танком — не жалей ноги!
Шинели длиннополые свистели,
кирзовые стучали сапоги.
Затягивали ватники потуже,
бежали в шапках — звездочкой вперед.
Четыре года спали без подушек,
из котелков кидали что-то в рот.
Четыре года жизни —
год за годом,
четыре года смерти —
день за днем,
во имя мира всем земным народам
бежали, опоясаны огнем.
Всё, что свершили, — памятно и свято.
Навеки будут рядом, без конца, —
могила Неизвестного солдата
и счастье победившего бойца!

1975



ПОЭМЫ

141. ПОЭМА ВСТРЕЧ

1

Под Берлином,
километрах в пяти
у какого-то «Берга»,
в стороне от дороги,
когда уже солнце над землею померкло,
мы застыли в тревоге.
Вот и пламя распалось над «тигром».
Обернулся механик:
«Машина дымится!»
Сразу черное что-то перехватило дыханье
и ударило в лица.
Командир приказал:
«Потушить!
Я огнем вас прикрою!»
Мы баллон раскололи —
и в огонь, и в огонь мы бросаемся трое,
цепенея от боли.
А потом мы с трудом из горячего люка
вынесли командира
и стали дышать и дышать...
А над полем — ни звука,
и луна не всходила.
Бой ушел далеко.
Мы у мертвого танка расселись.
«Загоню я патрон-то,
тут, во вражьем тылу, не большое веселье
задержаться с ремонтом».

2

Командир наш поднялся уже,
отдышался к рассвету,
он сидит и ругает
«тигра» этого,
дождик этот,
Германию эту,

и войну поминает.
А радист не выходит из танка,
он связался с бригадой.
мы мотор запросили.
А пока...
«Это что за поместье?»
— «Обследовать надо,
так сидеть мы не в силе».
— «Разрешите?»
— «Идите».
— «Узнаем мы, что за поместье...»
Жалко, что командир приказал мне
остаться на месте.

3

Дождь осекся внезапно.
«Идут», — доложил я с обидой.
Командир не ответил.
Он туда же глядит.
«Кто третий,
не нашего вида?»
Я сказал: «Кто же третий?
Видно, где-нибудь тоже,
как наша,
застряла машина».
— «Да, бывает со всеми».
— «Или просто отставший нечаянно наш пехотинец».
— «Штатский».
— «Немец? ..»
— «Разрешите?»
— «Докладывай».
— «Мы осмотрели снаружи», —
начал было механик,
штатский вдруг подшагнул торопливо
и тут же
нас приветствует «хайлем».
И бумагу сует командиру, и бормочет, бормочет...
«Замолчи, да постой ты! ..»
— «Немцы там, много их. Только смирные очень.
Приблизительно — с роту.
Этот вот подбежал, дал бумагу,
свое тараторит,
вот бумага — прочтите.

Может, правда — цивильный какой,
водовоз или дворник,
звездочет иль учитель?»
Командир согласился:
«Давайте, что же там, разберусь я».
Вижу я — на странице,
наверху, над строкой,
нарисованы куры и гуси,
сбоку — колос пшеницы.
Немец бледный, стоит в ожиданье,
не стоится на месте,
руки за спину спрятал...
«Это грамота за успехи в хозяйстве поместья,
куровод он, ребята».

4

Это было давно.
Мы ползли по дорогам елецким.
Мы Орел обогнули.
Вечереет.
Вот пруд нас встречает волнующим блеском.
Вдруг забулькали пули.
«Кто стреляет?»
Стреляют откуда-то из автоматов.
«Подожди, не спеши ты.
Не сгибайся!
Идем.
Вроде мы на работу куда-то.
Документы зашиты.
Вот домá».
— «Ну, скорей!»
К дому первому мы подползаем,
не стучась — прямо в сенцы.
«Это кто там?»
— «Да мы это, мы,
не пугайся, хозяин,
мы свои, окруженцы...»
— «Что такое, старик, кто стрелял?»
Он ответил молчаньем.
Мы на окна взглянули:
на стекле два отверстия, окруженных лучами, —
две немецкие пули.
За окном пруд лежит.
Над водой желтоватой

бьются гуси и утки:
немцы с берега их подстреливают из автоматов
и кричат в промежутки.
За окном —
птицы падают в воду, трепещут крылами
над водою проточной.
Немцы бьют и хохочут,
трепещут и падают сами,
но стреляют, хохочут...

Вечером.
Хлеб хозяин нарезал, ужин мы поджидали.
Нам обмолвиться нечем.
«На сельхозвыставке
в прошлом году
был медалью
хлеб вот этот отмечен.
Погодите».
Старик наклонился, открыл половицу,
отодвинул корягу,
как ребенка, он поднял букет черноусой пшеницы,
развернул нам бумагу.
А в бумаге —
за что награжден он законно,
что поднялся из планов
смелый мастер орловской земли —
полевод из района
Тимофей Емельянов.
И сказал он, медаль о рукав вытирая:
«В поле выйти бы с нею!»
— «Выйдешь в поле», — сказал я.
— «Куда там, ведь ты удираешь...»
Я поднялся, краснея.
«Ты бы, дед, помолчал. Ты бы сам...»
— «Помолчи, больно прыток,
больно молод.
Ты к работе не знаешь еще как путем подойти-то,
серп держал или молот?»
— «Ты напрасно на нас. Мы вернемся, отец,
дай собраться.
Мы осилим!»
— «Это так, но ведь немец не ждет,
он спешит издеваться,

видишь — поле убили,
землю всю истоптали.
Я старый, куда я,
поди — совладай-ка!»
Он ложку отбросил.
Так и сидим мы, страдая.
«Ешьте», — просит хозяйка.
«Тятя,
не рви себе душу,
солдата не мучай,
он наш ведь, советский...» —
услышали мы
волнующий, чистый, певучий
голос
за занавеской.
Тимофей Емельянов привстал,
приподнял половицу,
пшеницу запрятал,
бумагу с медалью обратно закутал в тряпицу.
Мы молчим виновато...

5

«Смотрите, —
прервал мои думы радист, —
на виденье похоже...»
— «Это что там такое?»
Мы привстали и смотрим,
и немец встревожился тоже,
вновь лишился покоя.
У домов показались четыре фигурки, и кружат,
и руками нам машут.
Мы ответили тем же,
а сами — поближе оружье:
немцы там или наши?
Вот фигурки на нас прямо полем идут торопливо.
«Это женщины!»
— «Что ты!»
— «Видишь — в платьях».
— «Ну да, это вижу, вот диво».
— «Трюк немецкой пехоты!»
— «Да, а где куровод?»
Оглянулись мы все — немца нету,

метров двести
отбежал он от нас в направленье к кювету,
что уходит к поместью.
«Стой! Назад!»
Он застыл, повернулся и снова
к нам, назад, потихоньку.
«Дорогие!» —
услышал я русское слово
и увидел девчонку.
«Вы откуда? — спросил командир. —
Вы откуда?»
Я стою озадачен.
А девчата на нас налетели, как светлое чудо,
со смехом и плачем.
Тут и немец в поклоне склонился, как будто из жести,
но глазами грозя им.
«Ну, чего испугались?
Это Фриц, куровод из поместья».
— «Наш хозяин...»
— «Хозяин?!»

6

Немец в землю глаза устремил,
и сидит он, горюя.
«Этот немец ученый,
у него лист похвальный за кур,
культурный он куровод!» —
говорю я.
Смех в глазах у девчонок.
«Это Лена умеет,
не его, не его эти куры,
всё чужими руками,
он ученый
на то, чтобы с палкой...
Культурный,
чтобы с палкой над нами!»
— «Вот как!
Грамоту дай, — говорит командир, — ты бездельник,
без обмана — ни шагу.
Ты людей прикарманил,
не только что кур и индеек.
Отдавай-ка бумагу!»
— «Ты ворованный труд на выставку выставил даже?
Это, Фриц, не годится...»

— «Вот у Лены
отец был участником выставки,
пусть она скажет —
сам растил он пшеницу!»
— «Лена, знаете, мы ведь тоже участники сами,
вот спроси командира,
в павильоне садов можно видеть подбитого нами
«королевского тигра»!»
Я на Лену смотрю
и опять вспоминаю то утро,
и Орел, и тот случай,
и опять,
как тогда,
из-за той занавески как будто
слышу голос певучий.
«Как попала сюда?
Где отец?
Как вы жили?
Расскажите нам, Лена...»
— «Жили?
Немцам всё про отца полицаи тогда доложили,
услужили мгновенно.
Вызывали его, приходили к нему —
не пошел бы,
отвечаем, что хворый.
Зиму всю пролежал так в раздумье тяжелом.
В марте —
кинулись сворой.
Обещали, грозили,
а мы — притаились, не дышим.
«Что ж, берите, в плену я, —
вдруг сказал им отец. —
Не могу не работать!» — и вышел,
и провел посевную».
— «Значит, сдался старик!»
— «Я знакомым в глаза не глядела.
Отвернулись и люди.
А отец всё кричал:
«Не могу,
не могу я без дела,
кто работу осудит!»
Запахал и засеял,
с утра и до ночи работал,
нас гонял на участки,

полицаев и тех доводил до соленого пота.
Мать старела в несчастье.
Я смотреть не могу на людей,
стыд глаза застилает.
Показаться нельзя нам.
Мать к сестренке
в другую деревню тогда увела я,
а сама — к партизанам.
А весна, как назло, в том году зеленела над миром,
буйно ринулись всходы.
В лес пришел к нам отец неожиданно
и сказал командиру:
«Вот, на суд я, к народу».
Только наш командир улыбался:
«Осудим под осень...»
Говорили ребята:
«Опыт, что ли, отец твой задумал с посевом и просит
поглядеть результаты».
А посевы росли.
Крепли стебли.
И в пору налива
слух идет по району:
поднялась, поросла над землей небывалая нива —
в листьях вся и в бутонах.
Немцы силы сгоняли, людей и коней к косовице,
только стой, погоди-ка:
в поле — ни колоска, ни овса, ни пшеницы —
молочай, повилика.
Всё трава застелила. Пропал урожай.
Угрожая,
немцы бросились в села.
Первый раз,
не дождавшись совсем урожая,
был народ наш веселый.
А отец всё ходил по отряду, вздыхал виновато,
повторяя при этом:
„Я не мог без работы,
посеял для них,
но земля-то
не родит дармоедам!..”»
— «Слышишь, немец, земля не родит дармоедам! —
кричу я. —
В отделенья и роты

в сорок первом не ты ли, добычу почуяв,
свел цыплят желторотых?
Не хотел ты работать,
труд задумал отнять у народов,
где войной, где обманом.
Это из-за тебя хлеб не сеял три года
Тимофей Емельянов!..»

7

Нам мотор привезли,
мы в траву сковырнули горелый,
новый — краном схватили.
Немец кружится тоже, берется за каждое дело,
тянется не по силе.
Мы смеемся:
«Смотрите, и этот работать умеет!
Приучай свою спину.
Дармоеды и рабовладельцы заметно умнеют,
как пришли мы к Берлину».
А теперь и Берлин на виду.
Впереди — только мир и работа,
честь победам!
Нам в колхозы свои,
на заводы свои нам охота,
мы к работе поедем.
Там теперь торжествует, в работу влюбленный,
поднимается рано
смелый мастер орловской земли —
Тимофей Емельянов.
(Это он над снопом становился тогда на колени,
это я
в ваши сенцы,
я вползал и стучался
в жару отступленья бредовом:
«Мы свои, окруженцы...»)
«Лена, пусть отец вынимает медаль и гордится
в день победы и мира.
Пусть на выставке ставят его золотую пшеницу
на подбитого «тигра»...»
Немец кружится тут же —
то гайку подаст торопливо,
даже вытрет рукою,
то броню он погладит ладонью,
не хозяин, а диво!

И откуда такой он?
«Знаешь что, ты не нужен, иди-ка отсюда, —
рассердился водитель. —
Без тебя тут управимся,
вон — в поместье иди ты!..»
— «Что с ним делать, девчата, скажите».
— «Давайте обсудим,
вон машина готова.
Его показать бы всем честным трудящимся людям!»
— «Лене — главное слово».
— «Он рабовладелец, он крал у земли и у неба,
но расплата настала.
Пусть работает сам он,
чтобы, если заленится, —
хлеба
до весны не хватало.
Ты слышишь —
корми себя сам,
а рабов не ищи ты,
и живи себе смело.
Вот тебе
нашей социальной защиты
высшая мера!
Чтобы, видя мозоли твои,
твой хлеб, заработанный потом,
люди были б спокойны,
чтоб тебя,
подошедшего к мирным и честным работам,
не тянуло на войны!..»
«Уходи!» —
мы кричим ему с танка.
Он не верит чему-то,
гнется, шляпу ломая.

Это было за несколько дней до счастливой минуты
победного мая.

1945

142. ⟨ИЗ ПОЭМЫ «РАБОЧИЙ ДЕНЬ»⟩

6

СМЕНА СМЕНЕ ИДЕТ

Бежит
по открытой лестнице
в шуме,
веселом звоне
весне молодой ровесница —
девочка в комбинезоне.
Косички схвачены бантом,
идет меж домов поселка.
Она,
как струна, натянута,
легонькая,
как пчелка.
К сини комбинезонной
над кармашком
приколот
знак
армии миллионной
Ленинского комсомола.
Ей на три ступени хочется
прыгнуть,
смеяться громко...
Ну, что вы!
Она работница!
Девушка,
а не девчонка!

Апрель.
На улице оттепель,

зима
в весну
переделывается.
И воробьям
легко теперь —
летят на каждое деревце.
Она переходит улицу.
Есть у нее желание
еще посмотреть
лицом к лицу
краснокирпичное здание.
Оно разрушено,
скомкано,
военной страдой обглодано,
но сколько юного,
громкого
зданию этому отдано!
Сколько с ним в жизни связано
трудом и огнем воспетого!
Всей жизнью
она обязана
славе здания этого.
Стоит она,
снова и снова
читает слова позолоченные:
«Здесь
в августе сорок второго
вооружались рабочие».
Читай и смотри:
из здания
выходят твои ровесники,
сдавшие испытание,
торжественные
ремесленники.
Идете вы,
смена старшего
великого поколения,
рабочего класса нашего
следующее
пополнение.
Не видите вы —
за вами
с улыбкой следят,
не строго,

и провожают словами:
«Счастливая вам дорога!»
Учитель глядит с волнением,
на площади
вас выискивая.
Идете вы
по направлению
летящей руки
Дзержинского.
Вот вы у завода замерли,
остановились снова,
даты побед
на мраморе
читаете
слово в слово.
Стена у завода светится
славой гвардейским ротам.
В ней вписан
победной лестницей
твой путь
к проходным воротам.
Учитель
следит за тобою,
мастер
тридцатилетний.
Ты стала
его судьбою,
явью,
мечтой заветной.
Он на комсомольском собрании
был прерван
снарядным свистом,
он в бой из этого здания
выступил коммунистом.
Вы часть его сердца
братского,
вы юность его народа,
комсомол
Сталинградского
тракторного завода.
Идите с его решением
без сомнений и оступи,

в вас видит он
продолжение
своей
комсомольской
поступи.
Дерзайте, страны новаторы,
всей молодостью
ударьте!
В комсомольском характере —
вечная
юность
партии.

Учителю многое помнится.
На груди его
молодо
залита
золотом солнца
звезда
геройского
золота.
Следит он за взлетом
вольного
пути твоего
неблизкого —
к заводу
от дома школьного,
через площадь Дзержинского.
Так партия непобедимая,
сметая врагов и трудности,
смотрит,
как мать любимая,
за комсомольской юностью.
Так смена смене идет
в строю,
куда показал Ильич рукой,
с великою эстафетою —
к жизни
коммунистической.

7

КЛЮЧ ЖИЗНИ

Завод мой,
как мне тебя не помнить!
Тяжелые,
в стальной синеве,
маслом пахнущие ладони
меня погладили по голове.
Завод мой,
твои рабочие руки
поднимали меня,
несли.
Ты открывал мне свои науки,
летопись сталинградской земли.

Меня, безотцовщину боевую,
сироту гражданской войны,
встретили,
выстроились вкруговую
и допросили твои сыны.
«Можешь?» — спросили.
«Могу!» — ответил
и плыл за Волгу
в тесном кругу.
«Хлеб любишь?»
— «Больше всего на свете!»
— «А без хлеба можешь?»
— «Могу!»
— «А можешь?»
И я обдирал коленки.
«А спрыгнешь с третьего этажа?»
Я сжал кулаки,
прислонился к стенке.
«Ну, попробуй!» —
сказал, дрожа.
Они заглянули в глаза мне твердо,
потрогали ребра
и кулаки.
«Будешь с нами!» —
сказали гордо.
И мы пустились наперегонки.

Ветер мечется пыльный.
Волга
к маслянистой воде звала.
Над домами всего поселка
небо, нагретое добела.
Мимо Дзержинского,
наглядеться
на то,
как беспредельна земля,
бежало босоногое детство,
пятками бронзовыми пыля.
По оврагам и подвалам —
в разведке,
к Мечетке, подпрыгивая на ходу,
детство
первенца пятилетки
выбегало
в тридцатом году.
К первому льду,
зазвенев коньками,
к первым арбузам
летало вскачь.
Ворота отмерив пятью шагами,
с утра гоняло футбольный мяч.
За первый трактор
оно в тревоге.
На митинге,
дожидаясь конца,
на крыле его,
свесив ноги,
сидело, как на плече отца.
Комендатура
не знала про это.
Детство в завод влетало, трубя.
Наши ворота
остались секретом.
Детство, я не выдам тебя!

Детство,
вижу в году далеком,
мое несмелое,
в первый раз
в сборочный цех
проникаешь боком,

стоишь в уголке
и не сводишь глаз.
Вот и привыкло,
почти как дома,
опять приходишь сюда тайком.

Ты, я вижу, уже знакомо
с этим
поблескивающим станком.
Ага, —
оглянувшись,
к тискам пристыло
среди обеденной тишины.
Не глядя,
ударило по зубилу,
ссадину вытерло о штаны.
Ты подпоясалось стружкой верткой.
Смотри-ка,
и голос уже не тот.
Да кто это ходит
такой походкой?
Не слесарь ли это
босой идет?
Детство,
а ну, разверни ладошки,
мозоли потрогаем.
Так и есть!
Уже успели стальные крошки
на кожицу розовую присесть.
Ты отступать не желаешь,
детство,
что же делать с тобою нам?
И ты мне само подсказало средство, —
брови сдвинув,
стало к тискам.
«Делай!» —
напильник запел несмело.
«Делай!» —
металл угловат,
колюч.
Рождается в муках
великое дело,

первое
твое испытание —
ключ!
Ты слышишь:
«Парень в делах не робкий!»
Ты видишь —
ключ твой,
на завитке,
шлифованным стеблем,
резной бородкой
сияет у мастера на руке.
Юности
ключ этот
мы подарим.
Бери его.
Сделай его судьбой.
Ты слышишь —
тебя величают:
«Парень».
Детство,
что мне делать с тобой?
Прощай, мое детство!
Ступая неловко,
шагом
ухожу навсегда.
Пахнет новенькая спецовка
ветром свободы,
огнем труда.
Ты долго, долго бежишь за мною,
и выдаешь ты меня
прыжком,
желаньем
по лужам ходить весною,
зимою
вдруг запустить снежком.
В цехах я шествую —
взрослый парень!
А ты не слушаешься меня,
бежишь
проехаться на электрокаре,
гайками спрятанными звеня.
Я к проходным
подхожу степенно,

свой пропуск открываю,
а ты
на фотокарточке
чубом пенным
контролершам улыбишь рты.
Ты так непоседливо,
так глазасто,
тебя похлопывают по плечу,
тебе улыбаются метров за сто,
а я о деле
сказать хочу.
Юность моя
подошла к девчонке.
Ты планы отвергаешь мои:
мне б —
прикоснуться к ее ручонке,
ты —
в косу ей
впутываешь репьи.
Я в комсомол подаю,
так что же
ты на собранье робеешь вдруг?
Комсорг я,
хочу показаться строже, —
а ты
вырываешься с пляской в круг.
Я брови сведу —
ты зальешься в смехе,
сесть приглашают —
ты любишь стоять.
Меня вожаком называют в цехе,
а ты —
в заводилы метишь опять.
Детство!
Я за тебя краснею,
мне неудобно с тобой идти.
Юность!
Мне по дороге с нею!
Ты отстаешь от меня?
Прости!
Где ты?
Нет от тебя ответа.
Прощай!
Всё меньше твоих примет.

В первую смену встают с рассветом
в году далеком
в пятнадцать лет.
Прощай, мое детство!

Прощай, мое детство!
Ключ твой —
в надежных руках теперь,
юность берет его как наследство,
он открывает любую дверь.
Не зря мастера заводских слесарен
тебя испытывали ключом.
За ключ моей жизни
я благодарен,
любой секрет ему нипочем.
Ключом
открывается день работы,
шумная праздничная страда.
Ключ твой открыл для меня ворота
в волшебный мир
моего труда.

1948

143. ДОРОГА К МИРУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Итак, я тетради прочел...

Но сначала об этом...
О том,
как в отошедшем году,
расцветающим летом,
я сидел на скамье на Гоголевском бульваре
и завидовал
то ли семье,
то ли просто любящей паре.

«Приехал!» — шептала она.
«К тебе!» — отвечал он.
«Скучал ты? — спросила она. —
Я дни отмечала...
Закончил! — смеялась она. —
Я в газете видала:
ты строгий стоишь там,
над морем огня и металла.
Ты добрый сегодня, средь этих деревьев зеленых...»
(Неприлично, конечно,
подслушивать шепот влюбленных!)
Радиорупор рассказывал о загранице.
Из-за океана
война кулаками стучится.
Фашизм обгоревший
из черного зданья рейхстага,
как вирус,
пролез под крыло
многозвездного флага.

«Опять это самое, слышишь, Алеша? Похоже?»
— «Похоже, — ответил, — так было когда-то;
ну что же,
мы этот фашизм
на войне изучили недаром!
Мы знаем, что нас он боится...
Ты помнишь, Тамара?..»

Дымятся костры на Арбате,
всё в громе и гуле,
лопаты песком сыроватым на площадь плеснули.
На Гоголевском, на Никитском,
и справа и слева,
взвивается грохот и дым трудового нагрева.
Отброшены в сторону каменные мостовые,
ярко желтеют раскрытые недра земные,
лежат у садовой ограды трамвайные рельсы.
Шпалы вынуты.
Кончились громкие рейсы!
Катки расходились туда и сюда, завывая,
всей тяжестью топчут былые дороги трамвая.
А площадь,
ладонь раскаленная,
поле Арбата,
уже засияла широким простором наката.
А дальше пройдись по Москве,
полети над Москвою —
все улицы ширятся и зеленеют листвою.
Страна наряжается.
Праздничны смелые лица.
К коммунистической жизни
готовится наша столица...

Я задумался —
и мечтой уходил постепенно
по лестнице лет,
по пятилетним ступеням.
Я вижу —
пришла к коммунизму передовая колонна,
уже в коммунизме идут знаменосцы,
над ними — знамена...
Серп и молот в колосьях —
герб мира —
проносят колонны.

Советский Союз — впереди,
вослед — миллионы.
В цехах и на поле работа кипит, не смолкая,
высокою целью труда людей увлекая.
Шумят над страной дубравы полезащиты,
от боли защиту нашли,
но больше — ищи ты!

Радиорупор
вещает
об атомных бомбах,
фашисты их за океаном копят в катакомбах,
оружьем гремят, готовя грядущие войны.

Соседи мои на скамейке смеются, спокойны.
«Пора на вокзал нам, Тамара».
— «Алеша, Москва-то!
Двадцать девятое скоро! Октябрь!
Знаменитая дата!»
— «А вот посмотри-ка —
тетради о юности дальней! . .»
— «Что такое?»
— «Записки тех лет,
мой дневник госпитальный. . .»
В руках у нее негромко раскрылась тетрадка,
лицо заслонила веселая светлая прядка.

А радиорупор: «Эскадры... Дивизии... Атом...»

Шли девушки мимо —
новым, широким Арбатом.
Я думал о юности,
о войне,
о разлуке,
мне виделись верные губы
и милые руки,
прощанье мерещилось мне и печальные дети,
потом — возвращение к юности,
к вам
на победном рассвете.
Радиорупор...

Но где же влюбленная пара?
Я ищу их глазами,
выискиваю вдоль бульвара.

Зачем они мне? Но я сожалею тревожно.
«Вот, — думаю я, —
как странно задуматься можно!»
Я поднимаюсь
и замечаю вот эти
тетради,
его дневники,
в пожелтевшей газете.
Беру их, бегу, влюбленных догнать бы:
«Забыли!..»
Ни адреса нет, ни фамилии...

Это не вы ли?
Это не вы написали всё это, ответьте?
Как найду? По какой я узнаю примете?
Это вы, или я, или тот вон высокий прохожий,
на меня, и на вас, и на многих и многих похожий?
Это кто написал?
Не знаю я.

В ясном порядке
эти записки сложились,
тетрадка к тетрадке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тетрадь первая

ТЯЖЕЛЫЙ РАССВЕТ

Первый раз я увидел рассвет с неохотой,
помедлить просил, но этого не случилось.
Ночь отпрянула,
и над краем болота
солнце холодное просочилось.
Командир отделения как стоял в плащ-палатке,
так стоит.
И дождь всё так же струится.
Нас осталось не много
после огненной схватки.
Нам надо сквозь заслоны фашистов пробиться.
Сколько нас? Пятеро.
А патронов двенадцать.

Сколько нас?
Мы еще не знаем об этом,
еще в живых никто не может считаться,
пока не выстоит перед этим рассветом.
Нет, не дождь...
Теперь изменилась погода.
То, что было дождем, становится снегом.
Первый снег.
Первый снег сорок первого года!
Первый выстрел — за вспышкою следом.
«Вон идут!» — говорит командир.
Стало страшно.
«Самое главное — встать нам.
Гранаты проверьте,
приготовьтесь, мы пойдем в рукопашный.
Плен страшнее и мучительней смерти!»
— «Ну, Сережа! —
Я гляжу в его глаза голубые,
русый чуб его смят порыжелой пилоткой. —
Мы пробьемся?» —
— «Пробьемся!
Нас ведь родина ждет!
Мы нужны ей!»
Снег на землю идет торопливой походкой.
Лес вдали — в снеговом пересвете
Метров за сто, через болото, деревня.
Солому на крышах разбрасывает ветер.
Немцы там. И в лесу. Вон бегут меж деревьев.
По земле резануло. Мины чавкнули разом,
пулемет застучал, и траву зашатало...
«Ну, вперед!..»
Я охватываю глазом
лес, и поле, и небо, и всё, что попало.
Сотня метров!
Я плыву сквозь болото,
нет, тону,
нет, плыву еще, в тину влипая.
Сердце держит меня и зовет:
жить охота!..
Пули булькают около,
как в картине «Чапаев».
Вот осока, поскорее вцепиться,
и — последний рывок. И опять всё сначала:
мина — взвизгнула.

В землю лица.
Мокрой землей по спине застучало.
Рядом: «Ой!
Ранен в сердце!
Прощайте!..»
Но встает и пошел. Я тогда разозлился:
«Что ж ты врешь?»
— «Я ошибся, ребята!..» —
только сказал он и, шагнув, повалился.
Вот деревня. Вперед! Немец — вот он!
Р-раз — в упор! — и в коноплю, перебежкой,
огородами, по дворам, за ометы.
Жизнь подпрыгивает — то орлом, а то решкой.
«Эй, Сережа, скорей — в лес, к дороге!»
Мы бежим. Я оглянулся и вижу:
немцы.
Зубы их, руки и ноги
в сотне метров.
Всё ближе, всё ближе...
«Есть граната, Сережа?»
— «Нет, вышли!
Ни патрона в винтовке».
Вот роща.
«Хальт! — у самого уха я слышу. —
Ха...»
И сразу — огоньками на ощупь —
пулемет полыхнул у меня под ногами.
Та-та-та!
«Что стоишь-то! Свои же!»
— «В лес беги...»
Та-та-та!
Немцы падают сами, —
что случилось?..
У пулемета, я вижу,
парень лежит.
«Вот спасибо!
Ты кто же?
Ты нас выручил...»
Он молчит, обессилев.
«Будешь с нами?»
Он повис на Сереже.
«Как зовут?»
— «Тараканов... Василий...»

Лес темнеет. Мы идем друг за другом.
Мы молчим — лес молчит, осторожен,
только веткой в лицо ударит упругой.
«Мы пробились!» — говорит мне Сережа.
Час идем, два идем.
Живы, значит.
Три часа.
«Вася, не отставай.
Ночь какая!
Лес нас выведет,
он укроет,
он спрячет...»
Так иду я, двух друзей окликая.

Рассвет расставил по порядку деревья,
ветки выделил и листвою украсил.
Вася падает.
«Эй, Сережа, скорее!
Подымайся... Ну, что с тобой, Вася?»
— «Вы идите, — говорит он с тревогой. —
Я ранен. Всю ночь там лежал с пулеметом.
Вот — в боку».
— «Что ж молчал ты дорогой?
Мы тебя понесем».
— «Нет, оставьте, чего там..
Вы счастливые, вы придете, быть может...
Харьков. Рыбная. Двадцать четыре...
Тамара...»

Мы несем его.
Я иду за Сережей.
Вася бредит, разметавшись от жара.

Тетрадь вторая

ВАСЯ

«Ты видишь, Алеша, село на опушке?
Идем туда! Умирает наш Вася.
Молока ему, может, достанем полкружки...
Вася, ты потерпи, не сдавайся...»
— «Никого! — говорю я, выглядывая
из-за омета. —
Ну, вперед!»
Дом стоит. Входим в сенцы.
Стучимся.
«Ну, еще к нам кого там?..

Что вы, что вы, тут же вот они — немцы!
Вон, идут!»
Да, идут, это вижу.
Трое по улице прогоняют корову.
«Шнель!» — кричат и подвигаются ближе.
«Уходите подобру-поздорову. . .»
— «Не успеем уйти. Два дня как не ели!»
— «Ну, в сарай! . .»
Улеглись мы на сено.
«Теснее, ребята!»
А лучи золотыми ножами пронизывают щели.
Бабий плач зазвенел за стеною дощатой.
«Хальт!» — кричат. Повалили скотину.
Корова ревет и ревет у сарая.
К нашей стене пододвигаются спины.
Щели потухли, по краям догорая.
Ступая по сену, добираюсь до стенки.
Что за немцы? Разглядеть бы получше.
Кто такие? — Разгляжу хорошенько,
пока другой не представится случай.
Ага, вот стараются над коровой,
закатав рукава.
Я сигналю Сереже:
«Иди-ка сюда. Вон один там, здоровый!»
Ржет сутулый, и сиянье на роже.
Хозяйка стоит молчаливо и прямо.
Мать ее падает на колени — и сразу:
«Пан!» — вскричала.
Вася в сено отпрянул,
у меня не попадает зуб на зуб.
Старуху ногой отшвырнул и рявкнул сутулый.
«Как? „Навозные люди“», —
перевел я, бледнея.
«Браво, Эгонт!» — немцы ответили гулом.
Я поднялся, чтобы было виднее.
«Видишь?» — шепчет Сережа.
«Молчите!
Тише, Сережа! Хорошенько вглядись ты.
Эгонт! — запомним, ты наш страшный
учитель! . .»
Да, так вот они, вот какие фашисты! . .

Немцы уехали, и хозяйка
принесла молока нам, поставила молча,

хлеба дала.
«Слышишь, Вася, вставай-ка,
поднимайся, будем двигаться ночью».
Он лежит вниз лицом, как в раздумье тяжелом.
Я повернул его:
«Не сдавайся, Василий...»
Не слышит, будто куда-то ушел он.
Капельки пота лицо оросили.
«Я уйду! — прошептал он. — Ты не должен
держать меня».
— «А куда ты собрался?»
Он вздрогнул.
«Вы тут? Уходите с Сережей.
Вы еще можете до наших добраться».
— «Без тебя не пойдем, — говорю я, — понятно?»
Простонал он:
«А со мной не дойдете...
Вы идите, — прошептал он невнятно,
и горит весь. —
...Передайте пехоте!..»
Мы ходили по улицам,
одни — туда,
другие — оттуда.
Передавали один другому телефон-автомат.
Приходили за утренним хлебом,
сдавали посуду,
в институте учились строить жилые дома...
Жизнь полыхнула прозреньем
тревожным и резким.
В понедельник у военкомата становимся в пары.
Год рождения? Двадцать один.
Национальность? Советский!
До свиданья.
Не беспокойся, Тамара.
«Товарищ командир, вы сказали «Тараканов»?
Это я». —
Я подхожу.
«Я здесь».
— «В строю отвечайте «я»,
не болтайте руками».
— «Хорошо».
— «Не «хорошо», а «есть!»...
Собирайтесь! Тут вот мины поставить...
Что? Ну да... Двадцать первая осень...

Тамара... Не написал ни письма ведь...
Эгонт... Эгонт...»

«Вася, ты успокойся!»
— «Вася, Вася!»
Но Вася не слышит.
Сережа уложил его и накрыл плащ-палаткой.
Звезды замерцали сквозь крышу.
Рядом Вася, скрученный лихорадкой.
Лошадь хрупает сеном, как жестью,
где-то телега загромыхала по кочкам.
Родина, мы с тобою, мы вместе.
Сердце сжалось неподвижным комочком.
Рассвет протянул свои щупальца выше.
Я раскрываю глаза. Тишина, как на даче.
«Вася, Вася!»
Но Вася не дышит.
Не встает он. Не поднимается.
Значит...

Мир разноцветный проплывает сквозь слезы.
Мы проходим обезлюдевшим полем.
Сиротливо нам кивают березы.
«Вася! Вася!» — отзывается с болью.

Тетрадь третья

УЧИТЕЛЬ ОСТУЖЕВ

«Так учил я полвека. Возьмитесь, сочтите,
скольких я научил. Теперь они держат экзамен.
В огне ты, отчизна!» — вздыхает учитель.
От окна на полу
полоска рассвета меж нами.
Мы сидим в учительской школы начальной,
на каждом окне по географической карте.
«Маскировка?» — говорю я печально.
«Да, — отвечает он, — маскировка, представьте.
Сначала была — от бомбежки завеса,
теперь — от фашиста: он карты не тронет».
— «Помогает?»
— «Да, к школе у них пока что нет интереса,
сейчас их больше привлекает коровник.
Правда, раз навестили.

Разговорились о книге
«Сравнительное изучение черепов и влиянье
их различий на ум».
Герр профессор Бельфингер
написал ее, как свое оправданье.
По строению черепа преподносится вывод, —
продолжает учитель, — по мнению арийца,
все мы — я вот, все соседи
и вы вот —
обязательно ему должны покориться».
— «Вот как? — говорю я. — Спасибо,
я не знал, что до этой «науки»
додумались люди».
— «Вот поэтому: либо мы уничтожим их, либо. . .»
— «Нет, товарищ, другого «либо» не будет!»
— «Вот, смотрите, собрал я.
Это их заготовка, —
шкаф учитель открыл, —
пригодится в учебе!
Смотрите: вот плеть,
вот это клеймо,
вот веревка.
Шкаф фашизма,
отделенье наглядных пособий».
Я смотрю на учителя — вот он стоит перед нами
и в глаза нам заглядывает строже.
«Вижу, — говорю я, — вижу и понимаю!»
— «Да, понятно», — шепчет Сережа.
«Да, понятно, — говорю я. —
Простите.
Мы пойдем.
До своих доберемся лесами.
Мы вернемся сюда. Мы вернемся, учитель!»

Мы вернемся, свобода!
Мы выдержим этот экзамен!

Тетрадь четвертая

ЭХО

Конец октября, а солнце — как в марте.
Что с Москвой?
Рассказывают, что немцы
кружком ее обводят на карте.

«Что же будет?» — спрашивает сердце.
«Нет!» — повторяет Сережа упрямо.
«А что, если правда?»
— «Алеша, уйди ты!»
— «А что же будет тогда, Сереженька, с нами?»
— «Не знаю», — говорит он сердито.
«Ты мог бы представить: вот Эгонт ударил
тебя. А ты б поклонился, Сережа.
А попробуй произнести это:
„Барин"».
— «Барин», — пробует он и краснеет.
«Не можешь!
А можешь представить:
Эгонт важно и гордо
идет по Москве,
ты — слуга его — сзади.
«Шнель!» — кричит он на тебя во всё горло,
и ты — вприпрыжку,
чтоб не сердился хозяин.
Глядят на тебя сотни окон,
Тверской бульвар застывает от удивленья,
и Пушкин на площади поворачивается боком,
чтоб не видеть, как ты живешь на коленях...
Не можешь ты быть
ни рабом,
ни рабовладельцем.
Наш свободный удел нам оставлен отцами.
Можешь удержаться,
чтоб не крикнуть всем сердцем:
«Советский Союз!
Наша родина с нами!»...»
— «Нет, не буду молчать я,
ты слышишь? —
крикнул Сережа так, что лес зашатало. —
Не буду!..»
Я схватил его за руку. «Тише!
Рядом дорога, тут же немцев немало...»
— «Я русский!»
— «Русский!» — повторили березы.
«Советский Союз!
Ну-ка, немцы, послушай! —
крикнул Сережа
и стал облизывать слезы. —
Смерть фашизму!..»

Листья наземь обрушив,
эхо от дерева к дереву мчится
и слова Сережины по простору разносит,
чтобы слышали небо, и поле, и птицы,
и деревья, наряженные в осень.
Потом тишина неожиданно наступила.
Пулеметное эхо заметалось по веткам.

«Мы продвигаемся к родине, милый!..»
Дождик прикрыл нас сиреневой сеткой.

Тетрадь пятая

СЕЛЕЗНИХА

«Эй, мамаша!»
— «Ух, как испугали, сыночки!»
— «Мы свои, не пугайся, сами пугливы.
Посиди-ка, мамаша, вот тут, на пенечке».
— «Чьи же вы и откуда?
Далёко зашли вы!
К Брянску идете?
Брянск-то, он — вот он.
Брянск давно еще назывался Дебрянском,
дебри тут, бывало, росли по болотам...»
Мы молчим.
Лес сияет осенним убранством.
«Говорят — по дорогам каратели рыщут,
в Брянске люди висят на столбах и балконах...
Говорят — заградители есть,
выслеживают и ищут,
и в тюрьму того, кто пройдет без поклона...»
— «Мы лесами пройдем!»
— «Понаставили мины!»
— «Ночью, городом».
— «Э-э-э... Стреляют в прохожих...»
— «Не сидеть же нам тут,
там мы необходимы!..
Очень вы на мою мамашу похожи».

Мы стоим на освещенной поляне.
Пни вокруг сидят в необдуманных позах.
Лес шумящий оторочен полями,
по вискам убелен сединою березок.

Утро.
Птицы мечутся между сосен.
Тишь, как будто войны не бывало.
В мире, кажется, только и царствует осень,
к зиме выстилая лоскутное одеяло.

«Я-то в город. Хлеб вот в кошелке.
Дочка там голодает. Всё забрали до точки».
— «Кто, мамаша, забрал?»
И ответила колко:
«Уж не знаю и кто,
вам виднее, сыночки...
Вы куда же? Домой направляетесь, что ли?
Ну, а ружья зачем?»
— «Ох, хитра ты, мамаша!»
— «Ну вас, право! Я ведь так, не неволю...»
— «Понимаешь, — говорю я, — там армия наша!»
— «Что же, не бросили разве войну-то?»
— «Как же бросить? Это только начало!»
— «Значит, врет этот немец, закончили будто...
А Москва как?»
— «Стоит, как стояла!»
— «Или радио есть — всё вы знаете больно?»
— «Ну, а как же без радио? Вот оно, слева!..»
— «Значит, вон оно как! —
сказала довольно. —
Теперь уж пойду я! — и шагнула несмело.
Опять постояла. — Ну, бог вам в помогу!
Пойду.
Вы, ребята, — со мною.
Уж я проведу вас. Я знаю дорогу.
Ходила к «железке» тут каждой зимою».

И пошли мы по тропе за мамашей,
за ситцевым, в складочках, в клеточках, платьем,
дорогой посветлевшею нашей,
в бой торопясь, поскорее к собратьям.
Петляет тропа в самой чаще,
меж стволов необъятных сосновых.
«Не устала?»
— «С чего?»
— «Вы ходок настоящий!»
— «Как же, это известно о нас, Селезневых!—
Так ведет нас за собой проводница.

Лес шумит в осеннем уборе...
— Стойте тут! Не спугнуть бы нам фрица.
Я приду...» И мамаша — в дозоре.

Насыпь уже начинает виднеться.
Вот и мать помахала нам веткой.
«Ну, пошли!
Вон, сыночки, и немцы
на «железке». Хорошо, что с разведкой!»
— «Ой, хитра ты, мамаша!»
— «А как же!
Часовые фашистские ходят по шпалам».
— «Ничего, мы небось не промажем».
— «Как, мамаша?»
— «Я уже загадала.
Вот, сыночки: я полезу к «железке» —
бандиты ко мне. Будут зенки таращить.
Вы того, через рельсы моментом,
побойчее, да в сосновые чащи!»
— «Ну, а вы?»
— «Мне-то что, не солдат я.
Чай, глаза-то имеют. Идите, идите!
Добирайтесь и приходите, ребята.
В Брянск вернетесь — Селезниху найдите...»

И ушла вдоль насыпи, раздвигая
ветки маленькою рукою,
в клетчатом платьице, сгорбленная и седая.
Навсегда я ее и запомнил такою.
Вот она завиднелась видением грозным,
подобрав свои юбки, через рельсы шагнула.
Немцы — к ней.
Мы за насыпь — и к соснам,
задыхаясь от сердечного гула.
Уходить не хотели, не увидев мамашу.
Из кустов, притаясь, на дорогу взглянули.
Трое немцев над матерью автоматами машут.
«Хальт!» — кричат, за рукав потянули.
«Не замай! — оглянулась мамаша,
одернула платье,
руку гада кошелкой отбросила смело. —
Что ты с бабой воюешь? Не солдат я!
Тьфу на вашу войну, не мое это дело!»

И пошла себе дальше по шпалам,
и пошла тихонько, покачивая кошелкой...
Встал фашист.
Автомат свой прижал он,
чтобы в нашу Ефимовну
целиться с толком.
А мамаша идет себе, рассуждая.
Фашист опустил автомат,
не понимая чего-то...
Наталья Ефимовна, маленькая, седая,
в клетчатом платье, скрылась за поворотом.

Тетрадь шестая

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Рассвело.
Мы сходим с дороги в пшеницу.
Днем нельзя идти по орловскому полю.
Машины немецкие тянутся вереницей.
Мы считаем, стиснув зубы до боли.
Солнце выкатывается, как обод из горна.
Мы растираем в жестких ладонях колосья,
в рот бросаем потемневшие зерна,
руки раскинули, как косари на покосе.
Земля, где твоих косарей задержало?
Поле, где же твоя косовица?
Плуг лежит, перевернутый, ржавый,
землей пропахла неубранная пшеница.

Волненье неясное сердце мне гложет.
«Двадцать девятое октября? Что за дата?
День рожденья мой! Понимаешь, Сережа?»
— «Ну? — Он сел. — А молчал, голова ты!»
— «Сам забыл... Интересно уж очень».
— «Что ж сидим? В магазин нам давно бы!..»
Мы хохочем до слез.
Да, пожалуй, хохочем...
«Тише! Идут!» —
насторожились мы оба.
Тихо сразу стало, и слышно —
шагает размеренно человек по тропинке.
Появился —
в шапке барашковой пышной,
одна нога в сапоге, а другая — в ботинке.

«Вот закурим, — шепчет Сережа. —
Товарищ!»
Человек встрепенулся и присел от испуга.
«Ну, чего ты? Свои же! Никак не узнаешь?
Скоро ты забываешь старого друга!»
— «Что-то я не припомню», —
прохожий всё мнется.
«Всё равно. Вот закурим — и будем знакомы.
Так, давно бы присел. Самосадик найдется?»
— «Вы куда же?»
— «К Ельцу пробираемся, к дому!»
— «На Елец! — удивляется парень. —
Да что вы!
Елец не взят еще...»
— «Как! А нам говорили...» —
Я задохнулся: всё рушится снова!..
«Так-то, — парень сказал, —
там еще красные в силе».
— «Кто? — поднялся Сергей. —
Что-то путаешь, парень».
Я толкнул его в бок: «Помолчи ты, садись ты!..
Вот спасибо, — говорю я в ударе, —
мы бы влопались. Красные?
Словом, там коммунисты?»
— «Там полно их, орудий понавозили!»
— «Да, орудий?» — я мигаю Сереже.
«Там и танки».
— «И танки?»
— «С платформ разгрузили».
— «Ну?»
— «Вот крест!
К наступленью, похоже...»
— «А у тебя ведь махорка в газете?»
— «Да, — говорит он, смеясь отчего-то, —
старшина еще выдавал перед этим...»
— «Перед чем?»
— «Перед тем, как убежать мне из роты...»
Парень бросил окурок дрожащей рукою.
«Ну, пора».
— «А куда ты?»
— «Пойду до порога!
Дом отцовский верну, кой-кого успокою,
всё напомню!..»
— «Посидел бы немного!»

— «Нет, пойду. Вы бы сняли шинели
и винтовки. . .»
— «А что?»
— «Немец может заметить».
— «Ну и что?»
— «По ошибке прицелит.
Вот учи вас. Сами будто бы дети. . .»
Я взглянул на Сергея. Он тоже
на меня. И показал мне глазами.
«Понимаю, — кивнул я, — понимаю, Сережа. . .»
— «Ну, пойду».
— «Посиди еще с нами!
Посиди еще», — говорю я.
И сразу
бью его так, что шапка слетела.
«Посиди!»
Сергей подминает заразу,
и мы валим его безвольное тело.
«Что вы! Братцы! — хрипит. —
Не решайте!» —
и слезы бегут по его щекам ненавистным.
«Мы не братья тебе!»
— «Ты предатель! Предатель!»
— «Братцы, жить!» —
прошипел он со свистом.
«Жить? — крикнул Сережа. —
Это слово не трогай,
к жизни приходят не этой дорогой!»
Пшеница, шумя, поднимается снова.
«Значит, здесь, значит, вот они, наши!
Ты слышишь, предатель?»
Но предатель — ни слова. . .

Мир осенний закатом окрашен.
Сумерки падают хлопьями на дорогу.
Мы идем к тебе, родина,
ждем великих велений,
чтобы к жизни с тобою нам
следовать в ногу.
Дорога к жизни — лучшее из направлений.

Тетрадь седьмая

ВСТРЕЧА

Мы проходим полем орловским.
Ночью Орел обходили мы справа.
Над неубранным полем рассвета полоски.
Кружатся птицы чернокрылой оравой.
Дороги, замешенные на черноземе!
Еще дымится догорающий элеватор.
Черный хлеб,
дымный хлеб по дороге жуем мы,
по своей земле проходя робковато.

«Сегодня седьмое! Ноябрь.
В это утро
мы с тобой революцию славили в наших
колоннах.
И Ленин глядел спокойно и мудро
на отчизну
с наших знамен окрыленных.
А помнишь, — говорю я, хмелея, —
с тобой мы в колонне огромной шагали
по Красной площади
у Мавзолея
и родине
сердцем всем присягали.
Народ на нас рассчитывал, может,
а мы с тобой идем где-то сбоку».
Голову ниже опускает Сережа:
«Тяжело идти в направленье к востоку».

Мы проходим полем орловским.
Утро новое лужицами зазвенело,
и ноги постукивают глухо, как доски,
по дороге оледенелой.
Ветер гонит бумагу, гремит, словно жестью.
«Лови, на цигарки используем это...»
— «Это что, интересно?»
— «„Орловские вести".
На русском! За шестое! Газета!»
— «Ну, что там? Что?» —
задыхается сердце.
И как молния, упавшая рядом,
черным шрифтом, как порохом:
«Немцы
на Красной площади, седьмого, парадом...»

Сережа навалился всей грудью.
«Брешут!» —
                    шепчет он потрескаными губами.
«Пойдем, Сережа».
                              — «Подожди-ка, обсудим...»
И мы садимся на заснеженный камень.
Мы сидим и сидим — и ни слова.
«Пойдем?! А куда?» — возникает упорно.
Но мы ногами постукиваем снова,
чтоб тишина застоявшаяся не хватала за горло

Ночь бесшумно захлопнула дверцы,
звезда Полярная появляется сбоку.
Она лишь подсказывает тревожному сердцу, —
если спросишь: «Куда?»
                                        Отвечает: «К востоку».

Девятое ноября нас в поле застало.
Мы засели в суслоне.
                              Рана сочится.
Солнце осеннее согревает нас мало.
Печально прелая пахнет пшеница.
Горькая подкрадывается дремота.
Хорошо бы сейчас пробираться лесами!..
Вьется, не прерываясь, над нами
звонкий голос одинокого самолета.
Иней исчезает заметно,
мокрые травы поднимаются к солнцу
узнать:
          может, снова возвращается лето? —
и греются,
            всплескивая ладонца.
«Если даже и так — будем двигаться вместе, —
шепчет Сережа. — Мы пробьемся к оружию!»
Он комкает «Орловские вести»...

Самолет всё позванивает по окружью.
И тут же застучала зенитка.
«Что такое? Самолет средь разрывов».
— «Наш! Это наш! Послушай, звенит как!
Немцы бьют, хорошо бы накрыл их!»
Мы снопы раздвигаем.
                              «Дым пустил? Неужели...»
— «Нет, летит, просто в тучи закутан.

Уходит, уходит, видать еле-еле. . .»
А туча стала раскачиваться парашютом.
«Так он к немцам может спуститься!»
Но парашют опять разрастается в тучу.
Я вижу, как разлетаются птицы.
«Это птицы, — говорю я. — Вот случай! . .»

В небе пусто стало. Вот жалость!
Зенитки помалкивают. Ни звука, ни крика.
А птицы раскачиваются над нами, снижаясь.
«Стой, Сережа!
Это листовки,
смотри-ка!
Падают. Погляди, вон упала!»
Мы выпрыгиваем из копны — и к дороге.
А сердце мое подпрыгивает как попало,
я задыхаюсь от непонятной тревоги.
Мы бежим за листами, крутящимися наклонно,
я листовку ловлю, как белую птицу.
И сразу в глаза мне — боевые колонны. . .

«Наши?»
— «Наши!»
Мы садимся в пшеницу.
Я медленно читаю, по слову,
эту весть, которая жизни дороже.
«Москва!
Сталин на Мавзолее. Седьмого».
— «Речь на параде», — повторяет Сережа.
— «Товарищи красноармейцы. . .»
— «Постой-ка.
Родина к нам обращается!» —
дрогнул голос Сережин.
— «. . .Враг жестоко просчитался».
— «Жестоко! . .»
— «. . .Мы можем и должны победить. . .»
— «Слышишь, можем!
Значит, Алеша, наша армия близко!
Вставай, Алеша! Торопиться нам надо!»
— «Это верно, —
вот прочти,
здесь приписка:
«Елец. Издательство «Орловская правда».

«Орловская правда»!
Значит, правда, Серега!» —
кричу я и рву «Орловские вести».

Нас ждут! Прямее веди нас, дорога!
Дорога к правде — лучшее из путешествий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Тетрадь восьмая

ПЕРЕЛОМ

Год прошел.
К Сталинграду иду я, встревожен:
«Мать и сестренка на Тракторном были.
Что теперь?»
— «Не волнуйся», — утешает Сережа.
«Знать бы: переправились или. . .»
День и ночь
к Сталинграду мы идем по Заволжью.
К нам доносится грохот сквозь облако пыли.

Ночью тучи закрыло,
пламя по горизонту.
«Сталинград!»
Мы глядим, примостившись на крыше.
В эту ночь мы пришли к Сталинградскому фронту.
Первый взвод батальона прямо к берегу вышел.

Час на отдых нам.
«Спать!» — приказанье комбата.
В дом стучимся. Темно в переполненном доме.
«Сталинградские дети тут, тише, ребята».
— «Дети?»
— «Вот они, на полу, на соломе. . .»
Душным заревом взрывов полнеба объято,
гул разрывов доносится слева и справа.
«Поднимайся! . .»
— «Нам нету дороги обратно!
Сталинград! Сталинград! . . Город мой! . .»

Переправа. . .

...Лет восьми я узнал,
что родился в России.
Пастухом,
провожая коров на рассвете,
мимо мира, где травы парные косили.
Мне об этом шепнул набегающий ветер,
и звезды тогда рассыпались тут же,
под крышами нахохлились птицы,
и я боялся бегать по лужам,
чтоб в небо
нечаянно
не провалиться.
А мне говорили, что неба немало!
Что мир на России не сходится клином.
И заграница передо мною витала
французскою булкой,
немецкой машиной...
Я не спал иногда, распаленный, в обиде,
тихонько сжимал я усталые веки,
чтобы только хоть ненадолго увидеть
чужеземные страны, чужеводные реки...
Но вражья каска в огороде ржавела,
и сшили узду из трофейного ранца,
и мне не нравилось рыжее тело,
гнилые зубы пленного иностранца.
Ночи неясными снами грозили.
Думал я:
но родись на земле иностранной,
я б тогда ни за что не увидел России,
был бы я у чужих,
не увиделся б с мамой.
Я бы не бегал за телегой вдогонку,
не побывал бы на заревóм сенокосе,
никогда не увидел бы нашу доенку
и свинцовые волны на Волге под осень.
Я забывал в ту минуту охотно,
что сестры мои — задиры и злючки,
что доенка не слушается,
бегает к копнам,
а поле, если бежать, подставляет колючки.
Я прощал это всё!
Забирался на крышу
смотреть, как закат опускается, розов;

там мне ветер, тот, что пшеницу колышет,
погладит голову, тихо высушит слезы.
Ветер тянет дымок,
мне лицо утирает;
это ветер степной.
Он ответит, только спроси я:
«А где я родился?»
И ветер от края до края,
от колоса к колосу, шепчет:
«Россия... Россия...»
В семнадцать, слепое волненье осилив,
шептал я косичке, закрученной туго:
«Хорошо, что мы оба родились в России!
Ведь мы же
могли
не увидеть друг друга!..»
И я полюбил Россию, как маму.
Полюбил,
как любимую любят однажды,
полюбил, как парус, набитый ветрами,
как любят воду,
умирая от жажды...

...Я глаза открываю, вижу черное небо.
Голову кружит огненная дремота.
Я проваливаюсь в тяжелую небыль.
Шум в ушах...
«Не вставай!» — мне командует кто-то.
И тут же разрыв бьет песчаной волною.
Хлещет вода, топит в тягостном громе...
Снова тихо. Кто-то рядом со мною.
«Что случилось?»
— «Бомбой нас, на пароме...
Я — Руденко Семен, из вашего взвода.
Ты ранен. Тонул. Прямо там, у парома.
Я доску поймал, помогал вот Нехода.
На доске мы приплыли. Вот мы и дома».
Мы лежим на песке.
Волны падают в ноги.
«Подожди-ка, сейчас приведут санитара».
— «Где Сережа?» — закричал я в тревоге.
В рот мне хлынула гарь бомбового удара.
Я трогаю лоб: «Да, заметная ранка!..»

— «„Фронт второй“ открываю», —
сообщает Нехода.
У него на коленях консервная банка.
«Ишь рисунок! Смотрите — подходящая морда!»
— «Это автопортрет», — произносит Сережа.
«Что ж, воюет союзник, торгует тихонько,
где свининой, где свинством...»
— «Да, личность похожа.
Тут и надпись, смотри-ка: „Свиная душонка“...»

Сережа нашел нас тогда, в том ненастье.
Через неделю я отлежался в санчасти.

Я за домом слежу, за обломками лежа.
Двадцать девятое октября.
«Что за дата?
Не знаешь ты случайно, Сережа?»
— «День рождения твой! Вот забыл, голова-то!»
Двадцать четыре — молодость человека!
Двадцать четыре.
Мы становимся старше.
Середина двадцатого века.
Продолжается биография наша.
День рождения первый —
полыхают зарницы.
Двадцать четвертый —
опять канонада.
Первый день —
побеждает Царицын.
Двадцать четвертый —
битва у Сталинграда.
«Вот судьба, — ребята вздохнули, —
двадцать четыре огненных года!»

Двадцать четыре! — ударяются пули.
Двадцать четыре...
«Посмотри-ка, Нехода!»
— «Идут, — говорит он, — поднимайтесь, ребята!»
Мы через улицу перебегаем рывками.
«Двадцать четыре!» —
выхлопывают гранаты,
и пули то же высвистывают о камень.
«Там вон клен у обрыва водою подмыло,
я когда-то ходил тут в любви признаваться».

Сережа спросил:

«А давно это было?»

— «Двадцать четыре минус восемь —

шестнадцать!»

— «Как же ты день рожденья забыл, голова ты!

Что ж, пожелаю многие лета...»

«Двадцать четыре!» —

обрывают гранаты.

«Двадцать четыре!» —

выплескивает ракета.

«Опять нам срывают твои именины!»

— «Вон, идут».

— «Выходи!»

И от взрыва до взрыва

мы —

вперед и вперед...

«А может, и миной, —

думаю я, —

клен столкнуло с обрыва?!»

Взвод наш испытанный рассыпан не густо.

«Ну, вперед! Ну, еще! Поднимайся, Алеша», —

шепчет Сережа мне.

Я разделся,

но груз-то —

станок пулеметный —

не легкая ноша.

Слева Нехода бежит с автоматом.

«Ура-а-а!» —

и зигзагами приближаемся к дому.

Взводный крикнул:

«Вперед!»

И рванулись ребята.

И бежим мы по кирпичному лому.

Дом гудит.

Мы — по лестницам, пробивая дорогу.

Наш пулемет в оконном проеме,

к фашистам не пускает подмогу.

Вот опять.

«Начинай!» — я командую Семе...

Площадь Девятого января на ладони.

Немцы перебегают, пропадают — и снова

встали.

Сема открывает огонь — и
площадь пенится от огня навесного.
«Вот так та́к! День рожденья! —
сверху спрыгнул Нехода. —
Из-за этого стоило, пожалуй, родиться!
Ключевую позицию заняли с ходу,
слышали? Благодарит нас Родимцев. . .»

«Танки!» — крикнул Нехода — и вниз куда-то.
Да, два танка выходят на нас от вокзала.
Сердце дрогнуло.
«Не отступим, ребята!» —
Голос Сережи громом пушек связало.
Кирпичные брызги прянули в спину,
пыль окутала всё.
Сквозь просветы
танки вижу. Вижу немцев лавину.
«Бей, Руденко, пора!»
Он молчит.
«Сема, где ты? . .»
Он свалился к стене. Я ложусь к пулемету,
вижу — миной гусеницу распластало.
Мой огонь уложил на булыжник пехоту.
Над танком крутящимся пламя затрепетало.
А от дома на площадь «ура» полетело.
Танк второй повернул — и назад.
«Сема, Сема!»
Я к стене привалил онемевшее тело.
«Стой, я сам. Отошли?»
— «Нет, на месте мы, дома. . .»

Ночь неожиданно на землю упала.
Собрались мы. Сему перевязали.
«Ну что же,
сколько нас?»
— «Десять с Семою».
— «Мало.
Взводный умер. Нас мало. Командуй, Сережа».
— «Что же делать? Нас мало. Начнется с рассвета».
— «Что ты?! — вспыхнул Сергей. —
Нас почти что полвзвода. . .»
Я чувствую сердцем тепло партбилета.
«Здесь есть коммунисты!» — поднялся Нехода.

День за днем.
День за днем
мы живем в этом доме.
Мы живем!
И фашисты не вырвутся к Волге!
День за днем
мы живем в этом яростном громе,
и не могут нас выбить фашистские волки!

Ночью седьмого — ноябрьская стужа.
Я вышел на смену продрогшему Семе.
Улегся у пулемета, снаружи.
Ветер холодный насвистывает в проеме...

«...Я люблю тебя», —
говорил я, краснея,
прямо в ухо, маленький локон отбросив.
И луна поднимается над водою,
чтоб увидеть,
как начинается осень.
Клен повис над потемневшим обрывом.
Листья падают, не могу их собрать я.
А ветер, набегая порывом,
трогает шелестящее платье.
«Нет, ты взгляни, как красиво!»
А ветер всё набегает с размаха.
«Мы могли не увидеться, скажи-ка на милость! —
говорю я
и замираю от страха. —
Спасибо тебе, дорогая отчизна!
Волненье меня затопило наплывом.
Тебе я обязан всем в жизни.
Слышишь, родина, я родился счастливым...»

Выстрелы вспыхнули.
Вижу, что-то маячит...
«Стой!»
— «Свои мы!»
— «Проходите по следу...
Сколько вас? Отделенье? Пополнение, значит!»
— «Мы приказ принесли,
есть приказ на победу!..»
Мы укрылись плащ-палаткой крылатой,
зажигалку я чиркнул движением верным.

«Седьмое. Приказ вот. Трехсот сорок пятый. . .»
Мы друг к другу прижались,
как тогда, в сорок первом.
«Настойчиво и упорно готовить
удар сокрушительный! . .»
Мы откинулись снова.
«Кто подчеркивал тут?»
— «Сам Родимцев, должно быть.
Он газету вручил!»
— «Значит, что-то готово!
Понимаете, раз уж сказано — будет!
Слово нашей армии свято!
Сталинград — мир для мира добудет!
Разбудите парторга Неходу, ребята. . .»

В ноябре ветер вьется, неистов,
в декабре пальцы греет ствол автомата.
В январе. . .
«Мы тебя отстоит от фашистов,
Сталинград наш! . .»
— «Наступленье, ребята!»
Вода снеговая в неостывших воронках.
Фашистские трупы падают на мостовые,
а лед на Волге потрескивает звонко,
чтобы волжскую воду не увидали живые.
«Ого! Январь! Веселая вьюга!»
Мы вглядываемся в похудевшие лица
и смеемся, узнавая друг друга:
как будто бы выписались из больницы. . .
«Вот здесь,
ты помнишь, мои именины.
Нет, ты только подумай над этим. . .
А клен-то, конечно, подрезали мины,
чтоб разлучить нас
с шестнадцатилетьем. . .»

К станции Котлубань выезжает машина.
«Четыре ноль-ноль.
Что-то нет их, ребята».
— «Значит, ждет их другая кончина,
раз не явились принимать ультиматум. . .»

Артиллерия грянула сразу —
не попадает камень на камень,

не попадает зуб на зуб,
и в рукава не попадают руками.
И пошли мы обжигающим валом,
волной израненной, но живою,
пока не выполз из штабного подвала
фон Паулюс —
и руки над головою,
пока, прихрамывая, нарушители мира
не потекли по городу вереницей,
без строя, не соблюдая ранжира,
опуская почерневшие лица.

Мы с Сережей у Тракторного завода,
где Мечетка пробирается в иле,
для того чтобы перед новым походом
маленькой поклониться могиле.
Когда-то я шептал, обессилев,
что, родись я в стране иностранной,
я б тогда ни за что
не увидел России,
был бы я у чужих,
не увиделся с мамой.

«Мама моя!
Я с тобой не увижусь.
Я не предвидел опасением детским,
что иная земля пододвинется ближе,
чтоб разлучить нас
фугаской немецкой.
Я прощаюсь с тобой перед дальней дорогой...
Мама, мне рассказать тебе надо...
Идут твои дети неотступно и строго
в наступление от стен Сталинграда.
Мама, слышишь, зовут нас, мы уходим, пора
нам...
Я становлюсь перед могилкою на колени.
Я тебя не увижу...
Прощай, моя мама!..»

Дорога к миру — лучшее из направлений.

Тетрадь девятая

ПРОЩАНИЕ С СЕРЕЖЕЙ

«Ну, Алеша!..»
— «До свиданья, мой милый...
Сережа, не расставались ни разу».
— «Что же делать?
Время нас научило
подчиняться боевому приказу».
Мне, Неходе и Семе —
в тыл,
на танках учиться.
Сереже —
звездочку на погон пехотинца.
«Помнишь, как мы выходили из окруженья,
женщины хлеб почерневший нам выносили,
чтобы только мы снова
обратились в движенье
с оружием
по просторам России».
— «До свиданья!» — повторяет Сережа.
А сами не верим еще в расставанье
и отвернуться друг от друга не можем.
для того чтоб меж нами легли расстоянья.
«Ты не забудь меня!» — говорит он.
И тут же
к дыханью моему подкатывается комочек,
воротник гимнастерки становится туже,
а минуты расставанья —
короче.
«Ты помнишь, как мы уезжали впервые,
на фронт
из Москвы вырывались упрямо.
И меня
твои провожали родные,
и меня
поцеловала твоя печальная мама.
Мы весело отмахали любимым,
мы тогда не задумывались над такими вещами...
Маме я обещал привезти тебя невредимым.
Как же теперь мне выполнить обещанье?..»
— «Ты помнишь Селезневу-мамашу?»
— «А учитель Остужев, следит он за нами?»

— «Они ведь победу отпразднуют нашу.
Мы выдержали сталинградский экзамен!»

Из штаба мы выходим ватагой
и говорим притихшими голосами,
а ветер перебирает наши бумаги,
чтобы развеять разноголосицу предписаний.
«Ты теперь не забудь без меня этой даты».
— «Даты, какой?»
— «Не запомнишь... едва ли:
двадцать девятое октября? Голова ты...»
— «День рождения.
Так и не пировали...»
Ветер щеки надувает всё туже,
старается так, что птицы смеются,
а он всё дует на прозрачные лужи,
как будто чай попивает из блюдца.
«Будьте дружней», — наставляет Сережа.
— «Учиться не время...»
— «Объясни им, Нехода,
Сталин шлет — значит, танки нужны!
Я бы тоже
с вами поехал...»
— «Не отпустят: комвзвода!»
— «Алеша, ты напиши, между прочим,
с Неходой и Семой веселее вам вместе».
— «Но Сема беспокоится очень
о своей кировоградской невесте», —
пошутил я неуместно и грубо.
«Ну, не сердись. Ты ведь любишь? Чего же!»
— «В Кировограде будет встречать тебя Люба,
вот увидишь», — обнял Сему Сережа.
«Ну, Алеша, я тебя не забуду.
Много пройдено вместе!»
Он подал мне руку.
«Но ничего, враг один у нас всюду.
Это тоже нам облегчит разлуку».
Как говорится,
друг мне мой дорог,
но и к врагу я прислушаюсь тоже:
дружески скажет мне друг, что могу я;
враг же научит тому, что я должен.
Да, враг научил нас!
«Ну, до свиданья!

До встречи в отвоеванном мире,
до радости, обновленной страданьем,
до пира на московской квартире».
— «Дай руку».
Прощаемся. Что же,
в день мира сойдутся пути наступлений.
«Давай поцелуемся».
— «До свиданья, Сережа».

Дорога к миру — лучшее из направлений.

Тетрадь десятая

ПРОХОРОВКА

В Курской области за Обоянью
есть станция Прохоровка у мелового завода.
Мы запомнили это названье
летом сорок третьего года.
А лето развернулось на диво,
в зелени пашен и перелесков,
и стрижи трепещут пугливо
над мотоциклом, пролетающим с треском.
Дорога боевая пылится
над гусеницами машин многотонных.
Заглядывая в почерневшие лица,
солнце поворачивается, как подсолнух...
Соль на гимнастерках в июле,
травы, обожженные летом,
птица, подражавшая пуле,
бабочка над лужком многоцветным.
Яблоки, поджидавшие сбора,
картошка с нового огорода,
на кухне — торжество помидора,
розового, как лицо у начпрода.
А танки всё продвигаются наши.
Механики неподступны и строги,
и командиры, примостившись у башен,
помогают им разобраться в дороге.
Легковые идут вереницей,
грузовики разгуделись, как пчелы,
везут автоматчиков и пехотинцев,
в пыли, похожих на мукомолов.
«Мессера́» пролетают над нами
так, что трава становится на колени.

Мы теперь видим своими глазами,
что фашисты повели наступленье.
Солнце боевое восходит,
земля заклубилась в громе и гуле.
Вместе с нами в великом походе
Россия дорогая, в июле.
Да здравствует бой за правое дело!
Дым от брони поднимается горький,
солнце запыленное село
на белые гусеницы «тридцатьчетверки».

«Где-то теперь наш Сережа?» —
я о нем вспоминаю частенько.
«Может, в засаде где-нибудь тоже,
как мы с тобой», — улыбнулся Руденко.

Я к пушке подвигаюсь поближе
и к люку пропускаю башнёра.
Сема выглядывает.
«Я вижу! . .»
— «Видишь?»
— «Вижу!»
— «Почему же так скоро?»
Я в прицеле их бока различаю.
Вот они. Вот у нашей засады
движутся, грохоча, — и
выстрел опрокинулся рядом.
И снова, распарывая воздух,
броненосец наш пламенем облизнулся.
И еще раз зажигательный, как ракета,
к «тигру» оранжевому прикоснулся...
«Посмотрите, ребята, теперь не потушат!»
— «Ого! И этот задымился, ребята!»
И запылали горбатые туши
двух «тигров», раскрашенных в цвет заката.

На Прохоровку непрерывным потоком
катились всё новые фашистские танки —
«пантеры» и «тигры».
Мы к вечеру толком,
подробно их изучили с изнанки.
Встречный танковый бой, как пламя, разросся,
землю поджег, утопил ее в гуле.

Стоит за нами в травах и росах
родина, расцветая в июле.

Третий раз поднимается солнце над полем,
враг бросается с отчаянным ревом,
а мы всей силой, напряжением воли
ударом отзываемся новым.

Вчера сгорела наша машина.
Не стало радиста — бойца Сталинграда.
Сегодня на новой, вот у этой лощины,
мы ответили, расколов «фердинанда».
Мы сидим у машины.
На шею, за ворот,
муравьи наползают.
Затихло. . .
«Идем-ка
«фердинанда» посмотрим. Удобно распорот. . .
Вот убитый фашист».
— «Это ты его, Семка!»
— «Нет, это ты, когда он из люка
обливал нас свинцом, сам огнем ошарашен.
Возьмем документы, пожалуй.
А ну-ка
нужны они, может, разведчикам нашим. . .»
— «А вот фотокарточка!
Девушка в грусти. . .
Стой-ка: Кировоград. . .
Имя русское с краю. . .»
— «Дай-ка мне, — просит он, —
мы ее не упустим!
Я найду ее. Дай-ка, — может, узнаю!»
— «Кто?» — спросил я и заглох на вопросе.
С трудом разводя побелевшие губы,
он имя, знакомое мне, произносит:
«Люба? . . Это она! . .
Фотокарточка Любы. . .»
Он уходит, шатаясь, к убитому в поле.
«Руденко! — кричу я. — Не ходи туда, Семка!»
Я его догоняю. Он стонет от боли.
«Вот измена ее, — говорит он негромко.
Он смотрит на фото. —
Как лицо мне знакомо! . .

Что же это, Алеша?» — шепчет он, замирая.
«Ты порви это, ты забудь это, Сема! ..»

В дыме,
в грохоте поле
от края до края.
День четвертый мы начинаем атакой.
Жара поднимается.
Расстегнув гимнастерки,
мы срослись с нашим мчащимся танком,
с грохотом нашей «тридцатьчетверки».

И вот
пятнадцатого июля,
уползая на передавленных лапах,
враг разбитый покатился, ссутулясь,
от Прохоровки, направляясь на запад.
О, солнце после душного дыма,
шаг по направленью к победе!
Посевы на нашем поле любимом!
«Тридцатьчетверка», на которой мы едем!
«Посмотри, — говорю я, — вот поле разгрома!
«Тигры» еще продолжают дымиться,
эсэсовцы расположились, как дома,
в землю уткнув искаженные лица.
Бельфингеру надо бы бегать за нами,
чтобы иметь доказательства в споре, —
для наблюдений над арийскими черепами
здесь ему хватит лабораторий».

Нехода кричит:
«Ничего, будет время —
вернемся мы к миру, опаленные дымом,
и процесс показательный устроим над теми,
над теми, кто изменяет любимым!».
— «Нас полюбят! Мы красивые, Сёмка! —
говорю я. —
Научились мы драться!
Ведь это наша с тобой работенка! ..»
Руденко пробует улыбаться.

Солнце оседает за полем,
растягиваются лиловые тени.

Мы «тридцатьчетверку» заправляем газойлем,
потом садимся —
котелки на колени.

Командующий, наблюдая за нами,
очки снимает, чтоб глаза отдохнули.
Усталыми улыбаясь глазами,
выпрямляется на брезентовом стуле.
Когда же
запад затушевывается закатом
и восток поворачивается к восходу,
он, смирно став перед аппаратом,
докладывает о сраженье народу.
А мы — по машинам!..
Нам лучшей не надо
команды!
Развернулись мы круто.
«Вперед!» — это лучшая боевая команда
и направление боевого маршрута.

Тетрадь одиннадцатая

ДОРОГА

Июль неистовствует на исходе.
Солнце готово вскипятить водоемы.
Воротники расстегивая в походе,
по Украине раскаленной идем мы.
Пшеница кивает нам колосками,
усики по ветру растопырив,
и шепчет:
«Посмотрите-ка сами,
как я изранена остриями разрывов».
Птицы кричат нам:
«Проходите скорее —
видите, некуда нам опуститься».
И мы спешим.
Запылились и загорели
наши похудевшие лица.
А ветер, срываясь с прикола,
толкает нас с небывалою силой.
Дом помахивает вывеской:
«Тише. Школа!»
И мы уходим, чтоб тишина наступила.

«Спешите!» — нам кричат перелески.
«К миру!» — зовет нас пожарища запах.
И Лопань в серебряном переплеске
повторяет нам:
«На запад, на запад!»

Белгород уже дышит свободно,
но бой к нему еще доносится глухо,
а теперь мы прорываемся с ходу,
сразу — в Золочев и Богодухов.
Выстрел наш поднял по тревоге
фашистов полусонное стадо.
«Тигры», зажженные вдоль дороги
огнем подкалиберного снаряда!
Самолетами перечеркнуто солнце.
В траву бы запрятать обожженные лица,
воды холодной зачерпнуть из колодца —
и вперед,
чтобы не дать закрепиться.
Пленные потрескавшимися губами
«капут» выговаривают пугливо.
Но мертвые, распластавшись рядами,
высказываются более красноречиво.

Двадцатого августа
ночью, взрывами взрытой,
немцы в панике бросились,
не предвидя отсрочек,
по единственной дороге,
открытой
из Харькова на Люботин, на Коротич.
Наш танковый взвод,
получив задачу,
мимо Коротича,
ночью душной и темной,
к шоссе прорвался и свиданье назначил
с убегающей немецкой колонной.
Пушки, высунув белые жала,
так грохотали, что машина взлетала,
дорога раскачивалась и визжала
в крошеве раздавленного металла.
Радисты к пулеметам пристыли

и, прицеливаясь в самую гущу,
поворачивая дуло, косили
так, что ноги подкашивались у бегущих.

«Стой!» — крикнул Сема, вырываясь из люка.
Механик затормозил.
Я гляжу удивленно:
у разбитой машины, вздымая дрожащие руки,
четыре немца стояли перед Семеном.
«Возьмем?»
— «Зачем они, направляй их вдоль пашни,
сами дойдут, тоже — важные лица!»
— «Разрешите, я их устрою у башни,
может, в штабе какой-нибудь из них
пригодится!..»
Мы осторожно продвигаемся снова,
машина гусеницами прощупывает воздух.
Нехода чудовищным чувством слепого
нас приводит до рассвета на отдых.

Утром комбат подошел: «Ну и немцы!
Где вы взяли таких. Не добились ни слова.
В штаб переправили, стоит к ним приглядеться.
Как машина?»
— «Всё в порядке, готова».
— «На, часы вот,
нашли после них —
под скамью затолкали.
На крышке — прочти-ка — „Буланов“».
— «Башнеру отдайте,
наверно, у раненого иль убитого нашего взяли,
шакалы».
— «Бери, Руденко, и вспоминай о солдате...»

Истомленные травы,
замирая от света,
встают, выпрямляя онемевшие ножки,
узнать,
как проходим мы средь горячего лета,
и аплодируют в крохотные ладошки...
Вот и сосны закачались от ветра.
В зелени совхозов и парков,
от нас на двенадцатом километре
завиднелся ожидающий Харьков.

Тетрадь двенадцатая

ТАМАРА

«Я ничего не подозревала, ни капли.
Потом прибежали подруги.
И тут-то
о войне я узнала. О том, что напали.
Мы все собрались во дворе института.
Потом проводили ребят.
На вокзале
стеснялись других.
Не простились мы толком,
друг другу чего-то недосказали.
Не верили, что расстаемся надолго...»
— «Рассказывайте, Тамара...»
— «А вскоре
на окопы уехали всем факультетом.
Роем землю и чувствуем — надвигается горе.
Гул боев нарастает над небом нагретым.
Сначала бомбежки пошли — было жутко!
И не успели мы оглядеться,
как танки полезли и в промежутках —
мотоциклы.
Мы увидели: немцы!
Мы в окопы попрыгали тут же.
Кто в лес. Попрятались за деревья.
Кто за то, чтоб доро́гой, — «а то будет хуже».
Мы с Зиной и Тосей — скорее в деревню...»
— «А когда, — говорю я, — это было, Тамара?»
— «В октябре».
Передо мною поплыли
первый бой, Вася, скрученный жаром...
«Вы о чем?»
— «Я припомнил, где мы тогда были».
— «Расскажите!»
— «Потом», — говорю я несмело.
И чувствую, как на щеках загораются пятна.
«А мы, понимаете, прошлое дело,
идем и ругаемся: „Где же наши ребята?“»

Однажды идем мимо дома —
открывается дверь. И мы видим, что вышел...
«Хальт!» Мы стали. Подошел, как к знакомым,

поклонился.
Мы стоим и не дышим.
«Гутен таг! . . Вы куда? . .»
Мы в ответ — по-немецки.
Он тоже на Харьков.
«Подвезу вас, поверьте. . .»
Он — в кабину. Мы — в кузов.
Летят перелески.
Зинка шепчет дорогой:
„Культурные, черти. . .“»
— «А что с ней теперь?»
— «Это с кем?»
— «С этой Зиной? . .»
— «Потом расскажу я. . .
На этой трехтонке
приехали в Харьков.
И прямо с машиной —
во двор незнакомый.
Слезают девчонки.
Смотрим — тут немцев целое стадо.
Один мне в плечо ухитрился вцепиться,
я вывернулась —
и в ворота от гада.
Тоська — тоже. . .»
— «А та не бежала от фрица?» —
Сема спрашивает, бледнея,
и за руку берет ее грубо. . .
«Понимаешь, Тамара, дело не в ней, а. . .
В Кировограде была у него такая же. . . Люба. . .»
— «Какая „такая же“?» — спрашивает Тома.
«Ну, я потом! — говорю. — Продолжайте. . .»
— «Зину сцапал один, привязался до дома,
там на суд комсомольский
попал провожатый.
Здесь, на Рыбной у нас,
за высоким забором,
недалеко тут, дома через четыре,
немцы гараж устроили скоро.
Шофер в ноябре стал у нас на квартире.
Глаза сначала всё прятал под брови,
не разговаривал.
Но однажды, представьте,
открыл, что зовут его Павел Петрович,
в плен попал. . .»

Сема крикнул: «Предатель!»
Я опять усаживаю Семку.
«Да, — продолжает Тамара, —
но всё это после,
а сначала ухаживал потихоньку,
говорил, что не пропаду, что легко с ним.
А я всё молчала. Я боялась вначале.
Убежать? Но куда? По дороге бы сцапал.
А он всё нахальней, словно немец, начальник!
Он работал на машине гестапо —
вешалка наша в вещах потонула.
Откуда он брал их? Грабежом иль обманом?
Пальто привез однажды.
Толкнуло
меня как будто: «Посмотри по карманам».
И вот что нашла я — храню. Это память.
Читайте!»
Я взял у Тамары листочек.
«Товарищи! Что же делают с нами?
Прощайте. На расстрел повезут этой ночью.
Скажите маме — Полевая, одиннадцать, —
что сил больше нет. Я уже не живая.
Прощайте, друзья!
Ларионова Зина».
«Зина!..» — мы задохнулись, вставая...
«Убить бы его, но свои не велели:
у меня собиралось бюро комитета.
Сводки наши на заборах белели,
мы расклеивали их до рассвета.
Воззвание подготовили к маю...
Деньги, гад, приносил: «Не надумала? Мало?
Или ждешь комсомольца? Не придет, я же знаю...».
Трусит, — видела я и молчала.

В мае пошла я для связи в Полтаву,
сделала вид, что на менку, за хлебом.
Но дорогой мы попали в облаву —
и закрыли от нас родимое небо.
Теплушки потащили нас к аду,
в Нюрнберг. Там нас тысячи с лишком.
Нас продавали, выписывали по наряду.
Словом — рабы, как читали мы в книжках.
Я и рассказывать не буду про это,
просто жить не хотелось на свете...»

Харьков спит еще.
Пролетела комета.
«Умер кто-то», — вспомнил я о примете.

«Ты устала, — говорю я, — Тамара?»
— «Я-то — нет. Вы с дороги, ребята,
давайте чаевничать у самовара.
Сколько времени? Спать хотите, а я-то. . .»
— «Нет, — говорю я. — Тамара, чайку бы!»
Сема тоже: «Конечно, Тамара».
Сами смотрим на Тамарины губы,
отраженные в боку самовара.
«Если б мог я оградить тебя от удара! —
думаю я. —
Если б Вася был с нами!
Не рассказал я. . .
Узнаешь — горю не поддавайся!
Если бы перемениться могли бы местами —
я остался бы там,
а вернулся бы Вася! . .»

«А помните, как мы жили, бывало?
Даже сердиться не умели — ведь так же?
Родина в нас любовь воспитала,
воевать мы и не думали даже.
Мы знали: нападать мы не будем,
но если затронешь нас — образумишься мигом.
Мы на честное слово верили людям,
пактам дружбы,
жалобным книгам!
Когда напали вероломно и низко,
я увидела, как бьют человека.
По щекам меня отхлестала фашистка,
называя рабой
в середине двадцатого века.
Ценою жизни
до оружия добраться
решила я.
День наметила.
Вскоре
хозяйка моя шумно встретила братца:
фронтовик на побывке, Эгонт Кнорре».
— «Эгонт? Постой, ты не ослышалась, Тома?»
— «Нет».

— «А какой он?»
— «Ну, высокого роста.
Почему вы спросили?»
— «Имя что-то знакомо.
Продолжайте. Совпадение просто...»

«Эгонт!» — думаю я, и застукало сердце.
Я вспоминаю сутуловатую тушу,
когда нам к фашистам удалось приглядеться,
впервые проникнуть в их преступную душу.
Это не он ли был в октябре у сарая?
«Эгонт!» — Вася кричал, в лихорадке сгорая...

«...Гости от радости били посуду.
Эгонт расписывал Брянщину.
Гости просили:
„Нам местечко!"
— „Я своих не забуду!
Только рабов для себя оставим в России..."»

Три месяца шла,
и хотела одно я —
слиться с отчизной.
Неведомой силой
влекло сквозь кордоны на поле родное,
слезы хоть выплакать родине милой.
Не помню, как вышла из огненной пасти.
Я не забуду о тягостном плене!»

Любимая родина, благослови нас на счастье!
Дорога к родине — лучшее из направлений.

Тетрадь тринадцатая

ОСЕНЬ

Еще два месяца пролетело.
После Харькова уже свободна Полтава.
Земля покрылась листвой, пожелтела.
Днепр осенний, паромная переправа.
Висит над водой дымовая завеса.
Танки движутся плавучей дорогой,
сваливаются с берегового отвеса —
в бой внезапный
за Мишуриным Рогом.

Солнце появляется реже,
тучи провисли от тяжелого груза,
осыпается дождик над правобережьем,
коченеет неубранная кукуруза.
Утром трава отзывается хрустом,
дорога блестит, как рельсы узкоколейки.
В полдень —
грязь расползается густо.
А кто-то дождь всё вытрясает из лейки.
Встают по утрам холодные зори.
Иней покрывает замороженные травы.
И туман раскинулся морем,
покачиваясь над берегом правым.
За головы крыш ухватились хаты
и причитают над кромешной воронкой.
Камышовые волосы пожаром объяты.
О, горе матери в голосе звонком!
К смятым заборам прижимаются дети,
красноногие, как утята.
Немецкие пятитонки — в кювете,
перевернуты и не выйдут обратно.
В грязь окунув посиневшие уши,
фашисты лежат, застилая пригорок,
как будто расположились подслушать
походку наших «тридцатьчетверок».
«Тигр» молчит, краснея от злобы,
уже ржавеет, дождями освистан.
Как руку, завернул он свой хобот,
будто решил
покончить самоубийством.
А мы, измазанные, как черти,
прорываемся невероятным порывом
и вопрос о собственной жизни и смерти
откладываем на послевоенный период.
Торопимся уйти от морозов,
закуриваем от схватки до схватки.
Зато уже голосами паровозов
разбужена станция Пятихатка.
Высокие стрелы вышек стреножив,
ожидая трудовое гуденье,
встречают нас рудники Криворожья —
мирных строек месторожденье.
Заря поднимается узенькой кромкой.

Октябрь на исходе.
Просыпается роща.
Мы на танке устроились с Семкой,
и — морозец нас изучает на ощупь...
Листья слетают.
Скажи-ка на милость!
«Это осень», — говорю я ребятам.
Вдохну — как запахла!
Взгляну — как она засветилась!
Как сосновая щепка, пронизанная закатом.
«Вот и осень, — говорю я себе. —
Не вечен
тот закат.
Даже листья прокружатся мимо».
Осень, осень,
тобою отмечен
каждый шаг расстоянья
между мной и любимой!
Вот осень, оказывается, наступила!
Значит, пора.
Чему пора? — непонятно.
Я иду и иду на свидание с милой.
Это в Харьков я возвращаюсь обратно.
Здравствуй, Тамара!
Мне не расстаться с такою.
Нам по жизни пойти не вдвоем бы,
а вместе!
Ты — мое притяжение, умноженное тоскою.
И дорога к тебе — лучшее из путешествий!
Сосны шумят, раскачиваясь от усилий
развеять мое одиночество
из состраданья,
и гуси расправили жесткие крылья
для того, чтобы сократить расстоянья.
Я палкой стучу по деревьям:
«Откройтесь!
Видите — я очарован осенью ранней».
Но падают листья, сталкиваются, знакомясь,
и дальше кружатся стаей воспоминаний.
Да это не листья — ладони твои, конечно!
Это руки твои, Тамара, зовут издалека.
Где закат? Это ты загорелась навечно!
Журавли полетели?
Нет, я улетаю до срока.

Листья летят.
Всё вокруг закружилось,
осень шествует по травам примятым.
Вдохну — как запахла!
Взгляну — как она засветилась!
Как сосновая щепка, пронизанная закатом...

«Ты чего зажурился? —
спрашивает Семка. —
Завтра праздник знаменательный встретим!»
— «Праздник? Какой?»
— «Ты забыл, значит. Вот как?
Двадцать девятое октября. Двадцатипятилетье!
День рожденья! Вот забыл, голова-то!»
— «Двадцать пять! — говорю я. — Хорошая школа.
Как же тебе запомнилась дата?»
— «Ну, еще бы не помнить юбилей комсомола!»
— «Вот так та́к! Совпаденье!
Даже возрастом схожи!
Двадцать пять комсомолу —
и мне, между прочим.
Как жалко, нету с нами Сережи!
Он не знает об этом.
Интересно уж очень!..»

«А мне двадцать два будет скоро.
Поговорить мне хотелось с тобою...»
— «Что случилось? Время для разговора...»
— «Я хочу коммунистом стать
к новому бою...
Я прошу, чтобы ты поручился, дал руку,
чтобы всё рассказал мне, как надо.
Ведь тебе же известна, как другу,
моя биография от Сталинграда».
«Знаю твою биографию, Сема, —
думаю я, —
биографию века.
Биография эта отчизне знакома,
всему поколению, до одного человека.
О, поколение наше с оружием!
Комсомольцы, проверенные в атаках!»
Мы за башню завернули от стужи,
согреваемся дыханием танка.

Комсорг подходит с тетрадкою синей.
«Привет! Принимаю комсомольские взносы».
— «За октябрь? Хорошо! А скоро мы двинем?»
— «А готовы?» — он отвечает вопросом.
Сема взял свой билет голубой,
с силуэтом Ленина.
«Товарищ комсорг, взгляните, —
и показывает страницу,
где Семина карточка кем-то приклеена. —
Похож я? Странно! Не успел измениться!
А это, товарищ комсорг, —
говорит он степенней, —
моя биография здесь описана чисто:
от сентября к сентябрю
вписаны суммы стипендий,
от сорок третьего — содержанье танкиста!»
— «Это так, биография! — говорит Одиноков. —
Посмотри — вот билет, разверните страницы.
Это пуля прошла. Вот — от крови намокло.
Вот биография, которой можно гордиться!»
Тогда я с танка спрыгиваю, как с откоса,
иней стираю с брони — он искрится —
и надпись читаю:
«Комсомолец Матросов».
Вот биография, которой можно гордиться!
«Сема, ты слышишь, я был с тобою вместе.
Нам с тобою в боях довелось породниться.
За тебя перед партией отвечаю по чести.
Твоя биография — ею можно гордиться!»

Вот-вот тишина от удивления ахнет.
Дождь линует в косую линейку и мочит.
Танк наш теплом и спокойствием дышит.
«Двадцать пять комсомолу!
И мне, между прочим,
двадцать пять! — восклицаю я громче. —
Ты слышишь, выхожу я из школы.
Мой комсомольский возраст окончен».
— «Знаешь, хорошо бы быть самим комсомолом!»
— «Почему это, Сема?»
— «А просто:
мы — всё старше становимся, строже,

а сколько ни живи он, хоть до ста,
всё равно он —
Союз молодежи!
И юностью всё равно он украшен,
как флагами на первомайском параде.
И песни также будут на марше,
и молодость в физкультурном наряде.
И праздновать будут столетье
юности белозубой и крепконогой.
Никогда не доведется стареть ей
и вздыхать перед далекой дорогой.
Юность,
еще не окрепшие руки!
Путешествие дорогою ранней.
Веснушки на щеке у подруги,
вдохновенье комсомольских собраний.
Юность —
знаменосцем у Первомая!
Сила в неостывающем теле!
Первое «люблю», задыхаясь,
первый раз в красноармейской шинели!»

Ахнула тишина, раскололась,
наш танк сияет бронированным лоском.
Над рекой Ингулец его орудия голос
раскатывается на тысячи подголосков.
«Сема! — кричу я. —
Я подумал о многом.
За тебя я ручаюсь на огненном поле. . .»

Мужеству нашему — двигаться с партией
в ногу!
Юности нашей — вечно жить в комсомоле!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Тетрадь четырнадцатая

ВРАГИ

«Да читай ты погромче, не слышу ни слова! —
сержусь я. —
Дальше, на обороте. . .»
Нехода старается, но ребята все снова
загораются гневом.

«Ребята, постойте!»
— «Нет, ты послушай этого вора!
Черным по белому написано на бумаге,
так и ответил на вопрос прокурора:
„Да, я делал посадки в газваген“».
— «А, этот, что работал у Гесса!»
— «Тише, читаю! —
Мне становится жарко. —
„Продолжение Харьковского процесса.
ТАСС. Утреннее заседание, Харьков. . .“»

Декабрь осыпается снегом,
и ветер в снежки разыгрался с березой.
Как он замахнулся,
как закрутился с разбега,
остановился, предупрежденный угрозой.
Потом он принимается снова
за беготню.
Он играет в пятнашки,
снегом бросил по пути в часового
и мне заглянул за ворот рубашки.
Ему не терпится сделаться бурей,
чтобы устроить карусель снеговую,
но слаб ветерок — немного набедокурив,
свой хвост начинает ловить вкруговую.

После Знаменки наша бригада
продолжает всё вперед продвигаться.
Наши танки у самого Кировограда,
бригада скоро будет Кировоградской.
Сема дошел до родимого места.
Волнуется. И меня беспокоит всё это.
Мне кажется — его онемеченная невеста
будет Семой прощена и согрета.
«Как же это? — говорит он мне часто. —
К ней — мое путешествие начиналось.
С ней мое представленье о счастье,
с нею связана каждая милая малость».

Декабрь сильнее пробирает морозом,
синеют снеговые просторы.
Сумерки ткут покрывала березам,
водители прогревают моторы. . .

«Прокурор: „С чем из школьного класса
вышли вы в жизнь? Расскажите-ка вкратце“.
Ганс Риц: „Нас учили: как низшая раса,
русские нами могут уничтожаться...“»
— «Вот как! Слышите!» —
останавливается водитель.
Гневный шум по кругу разросся.
«Вот вам наука фашизма, глядите...»
— «Нам бы прислали его для допроса!»
— «Чтение продолжаю! Молчите!»

Фашист, познавший ученье о расе,
почему же твой школьный учитель
не сказал тебе, что я не согласен?!
Ганс Риц,
почему ты за партой в хохшуле
не узнал предварительно о нашей науке?
Ты думал, что у меня
пуховые пули?
Или — что слабее твоих мои руки?
Когда ты впервые крикнул: «Хайль Гитлер!»
и узнал, что ты — сверхчеловек,
в тридцать третьем,
я мелкокалиберку рукавом своим вытер
и притаился в пионерском секрете.
Мне тоже было тринадцать,
когда ты
шел по Шербургу на фашистском параде,
а я
«Смерть фашизму!»
носил на плакате,
когда шумел Первомай в Сталинграде.
Когда возглавлял ты «Суд чести» —
суд над честью и совестью репетировал в школе,
неужели не знал ты,
что с политграмотой вместе
я оружие изучил в комсомоле?!
Меня учили быть достойною сменой
труда и свободы. Культурой гордиться.
Тебя учили: ты — владыка вселенной,
чтобы взламывал ты чужие границы.
Меня в университете учили,
как надо работать для торжества человека,

тебя — рассчитывать на километры и мили
свои шаги по пожарищам века.
Мать тебя проводила не близко,
только чтобы мою ты сделал рабыней.
И любимая твоя погнала тебя с визгом,
чтобы я не увиделся
со своею любимой.
Ганц Риц,
ведь они же плакали, дети.
«Мы к дяде поедем!» — ты придумал им сказку,
а сам расстреливал их на рассвете.
Они умирали, отразив тебя в глазках.
Ганц Риц, ты забыл в ту минуту,
что и я взял оружие опытными руками.
И мы сошлись, поворачиваясь круто, —
ты и я,
вы и мы.
Так мы стали врагами.

Я гляжу на газету, исчерченную допросом,
и вижу Тамару,
бровей разведенные стрелы,
волос ее золотистую россыпь,
глаза ее,
как они в сердце смотрели! ..
А ветер опять за свое —
не сидится!
Снег из-под танка выметает он с гулом,
в щель смотровую с налету стремится,
дует в орудийное дуло.
Нехода читает показанья арийца.
Ребята молчат, слились воедино,
решимостью дышат их суровые лица:
быть фашизму на скамье подсудимых!
За все преступления перед миром ответит,
от возмездия не уйдет поджигатель!

Сема опять приникает к газете:
«Допрашивается шофер душегубки. . .»
— «Предатель?!»
В сердце какой-то догадкой кольнуло.
Память мучительно перелистывает страницы.
И сердце, поворачиваясь, отзывается гулом:
знакомое имя!

Что могло бы случиться?..
(Харьков.
Да, это верно, но что же?
Предатель-шофер?
Нет, не помню такого!
А память тасует: «Похоже, похоже!..
Харьков. Тамара. Знакомо. Знакомо...»)
«Прокурор: «Расскажите, подсудимый Буланов,
о вашем участье в поездках за город».
Подсудимый: «В гестапо задача была нам
на расстрелы возить. Я работал шофером».
Прокурор: «Вам платили за это?»
Буланов: „Платили мне семьдесят марок"».
(А память моя озаряется светом.
Ночью в Харькове. Мы с Семеном. Тамара.
«Сначала глаза он прятал под брови,
не разговаривал.
Но однажды, представьте,
открыл, что зовут его Павел Петрович,
в плен попал...»)
Сема крикнул: «Предатель!..»
— «Ага! —
Я придвигаюсь поближе. —
Сема, я что-то припоминаю, читай-ка!»
— «Постой, — шепчет Сема, —
тут где-нибудь ниже.
Ага, вот! Свидетели. Выступает хозяйка:
«„Здесь, на Рыбной у нас, за высоким забором,
недалеко тут, дома через четыре,
немцы гараж устроили вскоре.
Шофер с ноября стал у нас на квартире"».
— «Вот как!
Значит, поймали нуду!»
— «Настигла и этого справедливая кара!»
Возмездие наступает повсюду.
Суд верши беспощадный, Тамара!
«Сема, вот Тамаре награда:
рабовладельцы — на скамье подсудимых».
— «Предательство умирает под взглядом
верности и надежды любимых!..»

Я гляжу на газету, исчерченную допросом,
и вижу Тамару,
бровей разведенные стрелы,

волос золотистых ее летучую россыпь
и глаза ее,
как они ясно смотрели!..
Ну и зима! Хоть скидай полушубок,
валенки снова принимают начхозы,
и сдали бы, если только к утру бы
неожиданно не возвращались морозы.
«Интересно узнать бы, ребята,
кто поймал эту зондеркоманду?..»
Поле белое ветром измято,
опять расходился он, и нету с ним сладу.
«Вы помните, ночью мы захватили
немцев, подкосив их трехтонку?»
— «А правда, может, это и были
эти самые...»
— «Отойдем-ка в сторонку».
— «Ты что?»
— «Я вспомнил», — шепчет мне Сема.
«Про что?»
— «Посмотри. —
Он часы достает из кармана. —
Коротич ты помнишь?
А это имя знакомо?..»
Я раскрываю часы и читаю: «Буланов».

Зимний вечер на исходные вышел,
северный ветер поднимается, хлесткий.
Мы у танка собираемся, пишем
путь дальнейший на квадратах трехверстки.
(На рассвете выйти на местность,
выбрать дорогу по камням и корягам,
тихо выдвинуться на север —
там лес есть,
прикрыться неглубоким оврагом...)
А ветер забирает всё круче
и снег перегоняет с места на место,
потом устает и, снежинки измучив,
садится,
за звездами наблюдая с нашеста.

Тетрадь пятнадцатая

КИРОВОГРАД

Рассвет сигналом махнул долгожданным.
Лелековку гусеницы жевали.
Фашисты, стальным охваченные арканом,
из города просочатся едва ли.
Мосты запрудив и дороги притиснув,
город совсем опоясали за ночь,
окраины города — наши танкисты,
солдатские хутора — партизаны.

Четвертого землю, покрытую мраком,
небо снегом осыпало черным и крупным,
немцы разлеглись по глубоким оврагам,
половодье перепрыгивало по трупам.

Пятого января на рассвете
город, глаза нам пожарами выев,
наши машины разгоряченные встретил,
подбрасывая под них мостовые,
протягивая нам мосты и заборы,
улицы-реки простирая нам с гулом.
Пошли перед нами следопыты-саперы,
пехота — сразу к центру шагнула.
Улицы пересекают траншеи.
Радисты разглядывают их пулеметом,
фашисты присели там, вытянув шеи,
как будто их одолевает дремота.
Улицы отзываются громом и хрустом,
потом всё обрушилось,
закружилось,
сломалось.
В эту минуту стало тихо и пусто,
так тихо и пусто,
что воробьи испугались.
«Город свободен,
оставаться на месте!» —
радист передал приказанье комбата.
Сема горько сказал:
«Вот, приехал к невесте».

«Выходите, выходите, ребята!»
Мы оказались в бушующем круге.

Зная, что их ни за что не осудят,
девушки, вскинув легкие руки,
встают на носки, зажмуриваются и целуют...
Солнце поднимается выше.
Январь в начале. А такая погода!
Уже почернели задымленные крыши,
как механики после большого похода.
Сосульки, желтые от дыма времянок,
свесили хрупкие ноги с карнизов.
На шпиль над каланчою румяной
клок облака утреннего нанизан.
Девушки смеются от счастья:
«Как мы ждали вас! Как мы ждали, родные!..»
А Сема курит хмуро и часто.
«Хорошо, если так, а бывают иные...»
— «Не смеете так, вам просто налгали.
За наших девчат поручиться мы можем.
Все, кто тут оставались, мы вам помогали».
Сема сердится:
«Ну, не все, предположим!..»
— «Мы не знаем такой. Призывайте к ответу!
Подождите, узнаете, как мы боролись!»
— «Вы всё же напрасно ручаетесь. Эту
я-то знаю», — надрывается голос.
«От рабства сумели отбиться,
на ходу из вагонов прыгали в двери, —
горькие слезы дрожат на ресницах. —
Мы не думали, что нам не поверят».
— «Не плачьте, — говорю я, — ну что вы!
Значит, хорошо. Этим можно гордиться».
А Сема подсказывает снова:
«Но не все так. Есть отдельные лица!»
— «Есть, — говорю я, — не спорьте, девчата.
Вот одна так совсем встрече с нами не рада.
Скоро она будет к стенке прижата».
— «Кто такая?»
Сема шепчет: «Не надо!»
Я замечаю сигналы радиста
и к машине иду. Не досказано, жалко.
«Что случилось?»
— «Приказ: „Сосредоточиться быстро.
В восемь тридцать. Около парка“».

«Прощайте! — говорю я. — Пора нам, девчата».
— «Жалко. Так скоро. Заедете, может?»
— «Может, заедем по дороге обратно», — говорю я,
а что-то сердце тревожит.
Сема вдруг:
«До свиданья, Раиса! —
И легонько в плечо ударяет ладонью. —
До свиданья, Свиридова. Мышей всё боишься?
Руку, Горкина, имя ваше не помню. . .»
И сразу стало тихо в округе.
И слышно — капли постукивают о камень.
Девушки, прислонившись друг к другу,
изумленными поблескивают зрачками.
Словно молния тишину осветила,
на Сему обрушились и руки и губы.
«Сема, Руденко, что же ты, милый!»
— «Что же ты! Опоздал ты! Вот если бы Люба. . .»
— «Что с Любой? — спрашиваю, замирая. —
Не плачьте!» — приказал я им строго.
Лицом к броне прислоняется Рая.
«Не успел ты. Ты бы раньше немного».
— «Не удалось ей спастись. . .
Как ждала тебя, Сема. . .»
— «После побега мы летели, как птицы. . .»
— «Где она?»
— «Стали у них эсэсовцы дома.
Когда вернулась. . .
Гад решил объясниться.
В морду кружкой влепила — согнулась жестянка.
Ты помнишь, ведь умела подраться!
Он донес на нее, этот немец из танка,
и угнали ее в Германию. В рабство. . .»

Танк грохочет вдоль переломанных улиц,
и тишина отпрыгивает к заборам.
«Сема, мы еще не вернулись!»
— «Не вернулись и вернемся не скоро».
— «Сема! — кричу я. — Не прощу себе сроду
за всё, что о Любе. . .
Называл тебя тряпкой.
Она научила нас верить народу. . .»
Сема склоняется над боеукладкой.

В парке закипает работа,
пока еще слышны выстрелы где-то,
в бригаду вызывают кого-то,
кто-то песню запевает про Лизавету.
Сема отправился к Любиной маме,
мы «тридцатьчетверку» заправили нашу
и обедаем — я, радист и механик.
Дождик накрапывает нам в кашу.
Девушки, улыбаясь несмело,
идти стесняются в изношенных платьях,
друг друга подбадривают:
«Подумаешь, дело!
Не засмеют нас, понимают же. Братья!»
Потом они подходят поближе,
умытые дорогими слезами.
Я гляжу в котелок — и ничего не вижу.
Дождь ли это застилает глаза мне?
К губе подбегает горячая россыпь,
языком ее — солоноватая жидкость.
Читают девушки: «Комсомолец Матросов».
Просят нас: «Кто это, расскажите!»
Истребители пролетают над нами.
«Русские!» — крикнули девушки и запрокинули
лица.
Радист спросил: «Вы не русские сами?»
Стало слышно, как весна шевелится.
«Наши! Выражайтесь яснее.
Наши, слышите, это наши летят-то. . .»
— «Наши!» — девушки шепчут, краснея.
«Наши! . .» — повторяют девчата.
Город обдут январем необычным,
окна сияют теплынью досрочной,
и смех мешается с говором птичьим,
с грохотом трубы водосточной.

Коля, радист наш, отбросил окурок.
«За Уралом нам придется жениться!»
— «Почему так?»
— «А что же, — отвечает он хмуро, —
тут каждая нагляделась на фрица».
— «Брось наговаривать на девушек, Коля», —
обрезал механик.
«Что, неверно, Нехода?»
— «Что же они, не советские, что ли?»

— «Дело не в этом, а привыкли. Три года!»
— «Привыкли? А тогда почему же
они из Германии под пулями убегают?
Ничего не страшило их: ни голод, ни стужа!
Кто листовки тут издавал к Первомаю?
Не их ли фашисты водили под стражей?
Хлеб несли они партизанским отрядам,
в старье наряжались, и мазались сажей,
и горбились, чтоб не понравиться гадам...
Фашизм на них обрушился втрое,
тоску по свободе
они испытали всем сердцем.
Мы на танке —
нас возводят в герои,
а они,
безоружные,
не поддались иноземцам!
Мы перед ними должны извиниться.
Они страдали не меньше любого солдата.
А то, что они оказались в лапах у фрица, —
в этом, друг мой, мы с тобой виноваты».
«Так, так, — думаю я, — вот так лупит!
Бьет по радисту, а по мне попадает.
Это я ведь тогда разуверился в Любе,
и не Семку,
а народ свой обидел тогда я».
И опять прислушиваюсь к Неходе:
«Не смеем людей мы по предателям мерить!
Не смеем плохо думать о нашем народе!
Нашим девушкам мы не смеем не верить!»
Оправдывается радист:
«Я ведь тоже,
сам знаешь, не последний в сраженье».
— «Ну, это каждый обязательно должен.
Это ведь долг твой, а не одолженье».
— «Есть такие, — продолжает механик, —
в хату прет не спросясь, гордо ноги расставит,
за стол еще залезает нахально,
а не то — так кричит:
«Немца вам не хватает!»
Мы, ребята, судить этих будем,
за оскорбленье народа —
получайте по шее!

Мы идем не за помощью,
а помочь нашим людям,
чтоб утешить, а не искать утешений! ..
Нет, не прав ты, Коля, не так ли?
Наши девушки! Ими надо гордиться,
это тебя они в страдании ожидали,
ты обязан в ноги им поклониться!»
«Так, так, — думаю я, — это дело!
Верно, парторг, это верно, Нехода».
А радист оправдывается несмело:
«Я ведь так,
есть такая разговорная мода. . .»
— «Это верно, — говорю я, — так что же,
понятно, радист? Где же будешь жениться?»
Он смеется: «Где найду помоложе!»
— «А Нехода?»
— «Дай домой возвратиться!»
— «А ты?» —
мне сердце второпях зашептало
и высказывает от удара к удару
то, что мечтой моей и волнением стало.
А память мне рисует Тамару.
«А я, — говорю, — я еще выбираю. . .»
— «Рассказывай, командир, ну, чего там! . .»
— «Приказано выйти
к переднему краю.
Вот дорога. Тут стрелковая рота.
Пулеметы не дают продвигаться.
Проутюжить — и вернуться к больнице,
а мне доложите в десять пятнадцать».
— «Есть!»
— «Идите! . .»
— «Собирайтесь жениться! . .»

Сема вернулся.
«В дорогу, Нехода!»
— «Не горюй, я уверен — вы будете вместе.
Ведь следом за нами наступает свобода!
Путь к любимой — лучшее из путешествий!»

Тетрадь шестнадцатая

НОВЫЙ СТАЛИНГРАД

Раньше я не был на Украине,
во сне она возникала туманно.
Я знал, что там небо особенно синее,
что любимую называют коханой.
Но, впрочем, «люблю» я в пример и не ставлю.
Я знал это слово на многих языках и наречьях:
«Люблю»,
　　　　«кохаю»,
　　　　　　　　«аш милю»,
　　　　　　　　　　　　　　«ай лав ю», —
может, думал я, пригодится при встречах!
Я не знал, что дела не вершатся речами,
что любовь можно без слов обнаружить,
о нелюбви разговаривают молчаньем,
а ненависть выражают оружьем.

«Украина, — я думал, — это белые хаты,
где поют «Ой ты Галю» и идут «до криницы»,
где солнца,
　　　　　и неба,
　　　　　　　　и простора — «богато»,
где черешни пламенные, как зарницы».
Я знал, что стихи называются «вирши»,
что там от порога начинается травка
и солома, скрученная на крышах,
как в опере «Наталка Полтавка»...

Украина,
　　　　я полюбил тебя сразу,
твоих веселых, неунывающих хлопцев,
целящих прищуренным глазом,
и блеск заката в ясноглазых оконцах.
Я полюбил твои песни и поле,
подсолнухи с пламенными головами.
Боль твоих сел обожженных
　　　　　　　　　　　　　было нашей болью,
а солнце твое — всё на запад, за нами!
Земля героев, ты в огне полыхала,
войну изгоняя ради мира народу.
Много сынов твоих в этой битве упало,
но мы от фашизма оградили свободу!

Моими домами стали белые хаты,
твои просторы стали нашей дорогой.
Мамой я называл
украинскую «маты»
и победу назову —
«перемогой»!..

Спешили мы к победе и к миру,
к людям, истомленным насильем.
Фашисты, привыкшие к бандитскому пиру,
войну растягивали злобным усильем.
По нашим планам, побеждавшим повсюду,
наученные сталинградскою школой,
мы устроили им стальную запруду
между Звенигородкой и Шполой.
Наша бригада, маршруты наметив,
двинулась среди темени мглистой
Первый фронт Украинский встретить,
заканчивая окруженье фашистов.
Два фронта встречались внезапным движеньем
на Украине завьюженной, зимней,
чтоб они,
задохнувшись в котле окруженья,
не топтались на золотой Украине.

Ночь, задыхаясь, упала с разбега,
так, что из глаз ее посыпались звезды,
и стала колючими языками из снега
всё облизывать:
землю, небо и воздух.
От боя к бою движется неуклонно
бронированный пояс для немецких дивизий,
танки продвигаются гулкой колонной,
чтоб завершенье к рассвету приблизить.
Наша бригада пробивается в стуже.
Пряжка к застежке подтягивается во мраке.
А ненависть требует —
подпоясать потуже,
чтоб фашисты проснулись в настоящей заправке.
«Катюши» поджидают: «Сыграть бы!»
Они пробираются через сугробы рывками,
как будто столы подносят на свадьбу,
поддерживая над головою руками.

Плотнее стянув непромокаемые обмотки,
автоматчики едут, не думая о простуде,
Идут, покачиваясь, лобастые самоходки,
выпрямив указательные пальцы орудий.
Падает снег, настилая заносы.
Мороз свирепствует, пустоту перерезав.
С детства известно, что в такие морозы
нельзя дотронуться до железа.
Мы торопимся, за исход беспокоясь,
по узкому коридору проходит бригада.
За нами развертывается бронированный пояс
шириной в траекторию танкоснаряда.
С боем влетели мы на рассвете
в деревню притихшую
и, пробиваясь на запад,
условленные увидали ракеты.
И получили предупрежденье комбата.
Потом загремело: «Здоро́во! Здоро́во!»
Танки горячие мы поставили клином.
Встретились воины Первого и Второго
Украинских фронтов
на земле Украины.

Когда рассвет начинал подниматься,
наш сосед — рота Первого фронта
поставила рядом танк «двести двенадцать»,
он красиво подошел с разворота.
«Ты видишь, — говорю я, — механик,
что делают! Не оскандалиться надо!»
И сразу мы ощутили дыханье
разорвавшегося неподалеку снаряда.
И бросились, в разные стороны тычась,
опоясанные дивизии «непобедимых».
И все эти восемьдесят с лишним тысяч
оказались на скамье подсудимых.
Они старались вырваться с лету,
перестраивались и бросались в атаки.
А мы, осколочными рассеяв пехоту,
подкалиберными поджигали их танки.
«Тигры» на сугробах дымятся.
За нашим удачным выстрелом следом
два «тигра» разбил
танк «двести двенадцать».
«Сема, отстаем от соседа!»

Трое суток битва не утихала
с вечера к вечеру.
С рассвета и до рассвета.
Корсунь-Шевченковская земля полыхала
у могилы дорогого поэта.
Но пояс наш не может порваться.
«Бронебойный!» — кричу я башнёру...
Но вдруг загорелся
танк «двести двенадцать»,
мы увидели пушку у косогора.

«Пантера» еще стояла на месте,
еще дым весь не вышел из дула.
Я поместил ее в центр перекрестья,
и «пантеру» огнем шумящим обдуло.
Двое из экипажа «двести двенадцать»
в сугробы выбросились, как спички.
Танк, разбрасывая пламя и сажу,
взорвался и выбыл из боевой переклички...
Перебираясь через сугробы в потемках,
в почерневшей от разрыва воронке
двух танкистов обугленных отыскали мы с Семкой,
взяли на руки, отнесли их в сторонку.
Один уже умер.
Не ответит, не скажет.
Другой — студит снег в ладонях багряных.
«Ты кто?» — я спросил.
«Командир экипажа...»
Бинт мокреет на затянутых ранах...
«Это ты командовал «двести двенадцать»?
Твой сосед — это я. Меня? Звать Алешкой...
Два «тигра»? Твои это, должен признаться.
Мы встретились, как пряжка с застежкой!..»
— «Алеша, — шепнул он, — как же так, неудача!
Танка нет моего, а еще не готово...
Один устоишь? Не сорвется задача?
Слово дай!..»
Я поднялся.
«Честное слово!»
Волненье меня охватило от этой
клятвы простой.
А он трепещет от жара.
Нехода из танка нас вызвал ракетой,
командир умирал уже на руках санитара.

«Честное слово»

с той минуты священной

на языке у меня перестало вертеться.
Клятву эту высокую, как приказ непременный,
произношу я с замиранием сердца...

И двинулись мы на поле утюжить,
войну задыхающуюся связали.
Гусеницы побелели от стужи,
каски со свастикой к земле примерзали.
К миру! Солнце обожженное, следуй!
Мир и свобода продвигаются рядом.
Мы битву завершили победой,
названной Вторым Сталинградом.

Тетрадь семнадцатая

ВЕСНА

«Машин-то перевернутых — уйма!»
Наши танки идут,

просят посторониться.

Весна промывает освобожденную Умань.
Армии вражеские покатились к границе.
Вчера еще эти дома и заборы
издали возникали неясно,
вчера наши пушки смотрели на город
и каждый шаг наш подстерегала опасность.
Сегодня мы едем, и люки открыты.
Регулировщик у каждого поворота.
Крылья «опелей» хозяйкам пошли на корыта,
а дверцы изображают ворота.
Рядом два остановленных «тигра».
Вчера они смерть возили за бензобаком,
сегодня ребятишки на них затеяли игры,
не церемонятся, как с домашней собакой.
Поросенок уткнулся в немецкую каску,
интересуется: это что за посуда?
Воробьи, поворачивая круглые глазки,
над каской повели пересуды.

А время продвигается странно,
как волжские берега с парохода.

Из завтра в сегодня
претворяясь нежданно,
из настоящего в прошлое переходит.
Жадность моя во времени — непобедима!
Вместе бы —

день ушедший и приходящий!
Чтоб время сплавилось при мне воедино,
прошедшее с будущим — в настоящем.
Но время продвигается с нами,
оно не испытывает отступлений.
В кроватках,

размахивая розовыми кулачками,
кричит, просыпаясь, новое поколенье.

Уже стучатся в землю новые травы.
В отростках новые закипают деревья.
На остановки не имеем мы права
и продвигаемся по закону движенья.
Идем по закону нашего гнева,
по закону любви, закаленной в страданье,
всей силой наступательного нагрева,
идем,

выполняя боевое заданье.
Жидкая грязь заливает по башню,
у пехотинцев разрисованы лица,
глядеть на дорогу становится страшно,
чтобы в небо нечаянно не провалиться.
Время движется.
Вот мы в апреле.
Солнце на гусеницах ежится колко
и, сразу врываясь в тонкие щели,
на приборах устраивает кривотолки.
На запад! На запад! От боя до боя.
«Смотри, как бегут!» — крутим мы головами.
Гибнут замыслы мирового разбоя.
Светлый мир наш оживает за нами.
Люба! Мы найдем тебя у Берлина!
Мы расправимся с бегущей оравой.
Проходят, покачиваясь, машины
зыбкою речной переправой.

Я на небо и землю

гляжу с удивленьем:

«Сема, подумай, сколько прошли мы
речушек, и рек, и полей, и селений,
и всё это земли
отчизны любимой! ..»
Мы изучали географию в классе,
полезные ископаемые — угли и руды —
и место, окрашенное краскою красной,
обводили указкой за полсекунды.
Урал был рудой,
Украина — пшеницей,
Курск — с магнитной аномалией сросся.
Столбик раскрашенный — это граница,
море Черное — это песня матроса.

В это же время
на уроке в ди шуле
место, окрашенное красною краской,
фашист подрастающий, поднявшись на стуле,
перечеркнул на карте указкой.
Им преподали идею блицкрига,
и полезли в сумасшедшем азарте
фашисты подросшие, с громом и гулом,
родину нашу перекрасить на карте.
Но то, что на карте было просто землею,
оказалось
нашей родиной милой,
полем боя
лужок оказался зеленый,
точка — крепостью,
холм — фашистской могилой.
Урок географии справедливый —
для школьников от Адольфа до Фрица,
и ранцы их, брошенные сиротливо,
и каски, успевшие в земле утопиться...
Сколько неба над нами проплыло!
Сколько девушек улыбнулось с приветом!
Ведь это же девушки родины милой,
наши сестры, —
ты подумай об этом.
Не знал я,
что здесь вот домик построен,
а тут журавль наклоняется над колодцем,
и гуси, переваливаясь, движутся строем,
у калитки девушка засмеется.

Не знал, что через тысячи километров
такая же степь развернула просторы
и люди, заслоняясь от ветра,
чтоб увидеть нас, выйдут на косогоры.
О, как это здорово, Сема!
И я не могу волнения пересилить,
когда молдаване на языке незнакомом
спрашивают об урожаях России.
О, родина!
В охотничьем чуме,
в соленом мареве Кара-Бугаза,
в тесной заснеженной чаще угрюмой,
на вершинах снеговерхих Кавказа!
Родина — золотой Украиной!
Отечество — белорусским селеньем,
родинкой маленькой на щеке у любимой,
неразрывна ты с моим поколеньем.
Родина! Ты — учитель Остужев,
вдова Селезниха на железной дороге,
жена, проводившая мужа,
мать, меня поцеловавшая на пороге.
Отечество! Ты — наш Вася бессмертный!
Ты — Сема у орудия в шлеме,
ты — Сережа, товарищ наш верный,
ты — Тамара, чистая перед всеми,
ты — Люба!
Мы дойдем до победы!
Всё наше счастье к тебе возвратится.
Свобода
за нами
продвигается следом.
Сема, слышишь, мы дошли до границы!

Тетрадь восемнадцатая

НА ГРАНИЦЕ

Ветер метельный ползет за рубашку.
Танк ревет, землею забрызганный ржавой.
Я, из люка поднимаясь над башней,
вижу землю иностранной державы.
Здесь затихло,
уже не слышно ни пули.
Вездесущая постаралась пехота.

Без остановки мы к реке повернули,
чтобы у переправ поработать.
Танки плывут по земле непролазной
мимо немцев, от дороги отжав их.
Они, заляпанные снегом и грязью,
устремились к иностранной державе.
Река заблестела впереди полукругом,
на мосту копошится кипящая масса.
Ломятся, оттесняя друг друга,
как мальчишки после уроков из класса.

«Осколочный!»
Я застыл над прицелом.
«Не стреляй, — останавливает Семка, —
не уйдут они.
И мост будет целым.
Пригодится!» — говорит он негромко.
На той стороне поднимаются в гору
фашисты торопливою вереницей.
«Вот жалко, уйдут они», — говорю я башнёру.
«Не уйдут,
мы догоним фашизм за границей!»
— «Мы дальше пойдем», — заявляет Нехода.
Коля-радист подтверждает:
«Не скоро до дома!»
— «Фашизм уничтожить везде —
нам диктует свобода.
Народы томятся там, ждут нас. . .»
— «И наши там, Сема!»

«Эх! А мы не курили с рассвета!
И не ели два дня, сказать бы начпроду!» —
смеются танкисты, вдруг вспомнив об этом,
и вдыхают весеннюю непогоду. . .
ГСМ [1] подвезли.
«Заправляйтесь, ребята!»
(«Значит, верно, в дорогу!» — подмигиваю я Семе.)
И слышу взволнованный голос комбата:
«Один — по фашистам! По уходящей колонне!»
— «Есть!» — говорю я и приникаю к прицелу.
Всё наше счастье должно возвратиться!

[1] Горюче-смазочные материалы.

Выстрел вырвался облаком белым.
Взрыв заклубился,
но уже за границей...

«Где взяли?» —
с танка спрашивает их Сема.
«На берегу, там вон, за деревнею, были.
Присели и раскуривают, как дома.
Плот связали. Ночью бы переплыли!..»
— «Правильно действуете, пехота», —
говорю я, высовываясь из люка.
«Вот этот сутулый —
и вести неохота, —
сержанта он поранил, гадюка».
Автоматчики остановились у танка:
«Курить у вас не найдется, танкисты?»
И сутулый тянется к Семкиной банке.
«Тоже хочешь? К Адольфу катись ты!»
Фашист руки за спину спрятал.
Сема банку открыл, загремев нарочито.
«Вы вот этого нам удружите, ребята.
Я хочу говорить с ним.
Мне его поручите».
— «Нам некуда, брось ты, не пущу
на машину...»
— «В музей бы,
чтоб знали,
что были когда-то!»
Автоматчики выдвигают причину:
«Мы не можем без разрешенья комбата».
— «Ну что же, ведите.
Вот дорога короче.
Этот — самый зловредный? —
толкнул он коробкой. —
Фамилия?» — спрашивает он между прочим.
Немец — мимо.
Я подумал: «Не робкий!»
«Постой-ка, постой», —
Сема взял его крепко.
«Да брось, — говорю я, — зачем тебе надо?»
— «А может, мне надо для истории века
знать фамилию последнего гада!»
— «Последний на нашей земле,
я не спорю... —

Семен документ у него берет из кармана. —
Вот письмо из Германии,
Эгонт Кнорре...»
— «Эгонт Кнорре! Неужели? Вот странно!»
Я с машины слетаю, торопясь от волненья,
и глазами в глаза ему,
и гляжу я, сверяя
с ним
того,
кто в тревожные дни отступленья
нас ненависти научил у сарая.
«Что случилось?» — спрашивает меня
автоматчик.
«Этот Эгонт — мой знакомый, ребята.
Оставьте», — прошу я.
«Выполняем задачу,
мы не можем без разрешения комбата».
— «Ну что ж, — говорю, — посмотрю
хорошенько.
Эгонт, Эгонт! Вот свела нас граница!
Ты помнишь, у Брянска была деревенька?
Эгонт, ишь ты, как успел измениться!
Вот бы увидели Сережа и Вася.
Эгонт, видишь, наступила расплата!..»
— «Мы доложим о выполненье задачи,
тогда и допросите, с разрешенья комбата».
— «Далеко батальон?»
— «Да вот, двести метров».

Мы идем прямо ветру навстречу.
Эгонт, качаясь от резкого ветра,
пригибает сутуловатые плечи.
«„Навозные люди" — это сказано вами!
В сорок третьем были в отпуске дома?
Вы хотели нас сделать рабами?
Вас будет судить ваша пленница Тома!
По-немецки я, правда, говорю плоховато, —
понимаешь меня?»
Он дрожит весь, зеленый...
«Ну, пришли мы. Вот хатенка комбата.
Доложим ему...»
Остаемся мы с Семой.
Враг сидит перед нами. Вечереет. Сидим мы.

«Кури!» Эгонт руку протянул оробело.
«Не стесняйся, закури, подсудимый...»
— «Танкисты, зайдите!»
Мы заходим.
«В чем дело?»
— «Товарищ комбат! Вот фашист...»
— «Ну и что же?»
Я комбата не вижу, в избе темновато.
«Товарищ комбат!»
Он поднялся.
«Алеша?!»
— «Сергей!»
Я обнял дорогого комбата...

Тетрадь девятнадцатая

ВТОРОЙ ФРОНТ

Урок географии на поле сраженья!
Мы изучали отечество не по карте.
Родина моего поколенья
в стуже — зимняя, полноводная — в марте.
Мы изучали родину с оружием вместе.
Окопы — как парты, поставленные умело.
Враг,
увиденный через центр перекрестья, —
фашизм,
изученный через прорезь прицела!

Вчера этот город мы заняли с марша
и услышали новость,
ту, что ждали три года:
союзники — на побережье Ла-Манша!
«Фронт второй открывается!
Поздравляю, Нехода!»
— «Спасибо. — Семе поклонился водитель. —
Торговцы спасают фашистские банки.
Капитализм попросил их: „Спасите,
а то попаду под советские танки!..“»
Мы идем по улице иностранной.
Ветер раскрывает листья у кленов.
Березы, обдутые свежестью ранней,
застывают вдоль домов изумленных.
Прохожие окружают нас тесно.
Устремляясь за Неходой плечистым,

парень, мой иностранный ровесник,
руку поднял и сказал:
«Смерть фашистам!»
— «Смерть фашистам! —
пролетело вдоль улиц. —
Да здравствует наша свобода! Свобода!»
К нам руки и цветы потянулись. . .
«Ты видишь, — говорит мне Нехода. —
Люди — всё ближе, и слева и справа».
Слезы радости собираются комом.
«Слышишь, Алеша, нашей родине — слава!
Слава свободе на языке незнакомом. . .»
Родина молодой нашей жизни!
Крепки наши светлые узы.
Счастье,
что мы вернемся к отчизне,
здравствовать в Советском Союзе!
Возьми обыщи всю планету —
не найдешь столько солнца и света.
Красивее наших девушек нету,
пусть каждая будет солнцем одета!
Идут они, гордый шаг отпечатав,
без мозолей от деревянных ботинок.
О, наши дорогие девчата
без химии иностранных блондинок!
Отчизна — умытая реками чисто!
Травы — сквозь поляны пожара.
Родина — в рукавицах танкиста!
Родина — в очках сталевара!
Да здравствуют дома наши ребята,
у станков, на стадионах зеленых!
Да здравствует, юным солнцем объято,
отечество в свободу влюбленных! . .
«Смерть фашизму!» —
слышится по окружью.
Флаги мира полыхают из окон.
Люди в штатском, прижимаясь к оружью,
идут за нами в ликованье глубоком.
«Вот он, смотрите, — говорю я, — ребята,
не тот, что спланирован по заданью банкира
для новых войн, шантажа и захвата,
вот он —
фронт второй —
ради мира!

Вот он —
фронт второй.
Вы смотрите:
открыт он силой плана иного,
помимо замыслов Уолл-стрита и Сити.
Открыт он
и не закроется снова!
Линия фронта
между светом и тьмою,
между свободой
и фашистской неволей.
Между миром пролегла
и войною,
между счастьем
и позорною долей.
Фронт трудящихся —
против стен капитала,
он идет
между двух противоположных Америк.
Он Англию расколол небывало.
Он уже высадился на вражеский берег!..»
Мы идем по улице иностранной.
Ветер раскрывает листья у кленов.
Березы, обдутые свежестью ранней,
застывают вдоль домов изумленных.
Мы идем среди веселого водоворота.
Сквозь толпу пробирается парень.
«Ребята! —
подталкивает к нам в жилетке кого-то. —
Вот этот торговец эсэсовца спрятал...»
— «Разберитесь вы сами...»
Паренек озадачен.
А торговец мне на ухо шепчет угрюмо:
«Золото есть!
Жить начнете богаче,
справите сразу по десятку костюмов...»
Сема вдруг срывается с места:
«Костюмы?
А вот он,
хотя он измятый,
смотри-ка. —
Он гимнастерку трясет. —
Всем известно,
что я самый, самый в мире богатый!

Цвет какой!
Это цвет России в июле,
цвет наших морей, цвет весенней пшеницы.
От него отскакивают ваши пули,
только на мне он такой —
во всей загранице!
А шляпа!
Вы, господин, только гляньте. —
Сема танковый шлем поднимает над нами. —
Фашисты, меня увидев в этой шляпе,
приветствуют
поднятыми руками.
А ботинки! —
Сема выставил ногу. —
Посмотрите:
разве есть такие в продаже?
Сколько прошли они —
и готовы в дорогу,
и пойдут еще, если родина скажет.
А это что, по-вашему, за тесемка?
Обратите внимание, —
он похлопал обмотки, —
фашизм начнет притворяться ребенком,
когда эта лента
обернется у глотки.
Мой костюм знаменит!
О нем история скажет.
Счастье народов за ним начинается следом.
Значит, дорог он, мой костюм, если даже
такой же самый,
как мой,
надевает Победа!
Понимаешь, торговец?» —
спрашивает Семка.
«Да он не смыслит в этом, где ему разобраться!»
— «Ну, богачи, — говорю я, — идем-ка.
Товарищи,
помогите ему разобраться в богатстве. . .»
Нехода добавил:
«Мы идем не за этим.
Свободой
золото народов зовется.

Ценности большей не существует на свете,
свобода
не покупается
и не продается!
Их не подкупишь! —
на людей показал он. —
Золотом вашим овладеют и сами,
землей и заводами,
всей едой и металлом.
Эти люди уже не будут рабами!
Ты для новой войны фашиста припрятал,
чтобы перед тобой снова люди согнулись?!
Ведите его на суд народный, ребята! . .»
— «Смерть фашизму!» —
загремело вдоль улиц.

Мы идем по улице. . .
С перезвоном
котелков об оружие,
с нарастающим шумом
идут и идут непрерывной колонной
советские люди в светло-зеленых костюмах.

Тетрадь двадцатая

ГОД СПУСТЯ

Мы в гости к Сереже идем, ведет нас Нехода.
«Это ты?»
— «Это ты разве?» — разговариваем глазами.
Тысяча девятьсот сорок пятый. Окончание года.
«Вот как съехались!»
— «Вот как!» —
удивляемся сами.
Мы с Тамарой идем, Люба с Семой — за нами.
Он карточку показал мне:
«Похожа?» —
и снова спрятал в кармашек под орденами.
«А Тамара?» — кивнул я. . .

«Вот Кремль! — остановился Сережа. —
Вот звезды! Смотри сюда, Сема.
Кремлевские звезды! Не верится даже.
Давайте посмотрим. . .»

— «Мы вернемся из дома —
вот он, Сережин переулок Лебяжий».
— «Хорошо».
— «Мы вернемся», —
а сами ни с места.
Ворота Кремля освещены, стоят часовые.
Елочки маленькие вдоль высокого въезда.
Из-за зубчатой стены светят звезды живые.

«Родина, — думаю я, —
мы пришли к тебе, твои знаменосцы,
под Москвой закаленные,
воспитанные у Сталинграда.
Мы, выполняя приказы твои,
научились бороться.
Да, это мы, солдаты стального отряда.
Если надо, зови нас —
в любую дорогу готовы.
Если кто-то мир опять подожжет,
если это случится,
позови нас, отчизна,
мы станем по первому слову!
Сема наш остается у нашей границы».
«Родина! — думаю я, сердцем дрогнув. —
Мы пришли на свиданье к тебе, дорогая отчизна.
Слышишь нас:
все тебе посвящаем дороги.
Наша клятва в любви к тебе —
возвращение к жизни!..»

«Какое сегодня? — Тамара спросила. —
Какое?»
— «Двадцать девятое, Тома. А что?»
И Люба про то же.
«Да что вы взялись, число не дает вам покоя...»
— «В самом деле, какое?» — смеется Сережа.
«Постой, ты не знаешь, — улыбается Сема, —
двадцать девятое октября — что за дата?»
— «Не знаю, не знаю... А впрочем, знакомо...»
— «День...»
— «Я вспомнил, понимаю, ребята!
Двадцать семь, — говорю я, — не мало!
Жалко, молодость уходит, ребята.

О годы, начинайтесь сначала,
возвращайтесь, возвращайтесь обратно!..»
— «Постой. — Нехода встает предо мною. —
Наша юность послужила отчизне!
Подумай, мы сделали самое основное,
мы совершили самое главное в жизни!
Мы вынесли тяжесть утрат и ранений,
тяжелой дорога была и кровавой,
но мир,
　　светлый мир наш,
　　　　　　　　судьбу поколений
от войны отстояли мы
　　　　　　　　битвою правой».
— Да, друзья дорогие, смотрите,
нас будут помнить сердца поколений.
Наша свобода — величайшее из открытий!
Дорога к миру — лучшее из направлений!»

«Ну, давай поцелую, на мир и дорогу!» —
Сережа улыбнулся искристо.
«А всё же двадцать семь — это много, —
говорю я. —
　　　　　И откуда взялись-то?!»
— «Я предлагаю, — руку вымахнул Сема, —
уж раз эти годы не заметила юность,
поскольку нам некогда было,
　　　　　　　　　　нас не было дома,
предлагаю,
　　　　　чтобы годы вернулись!
Эти годы не в счет, это Гитлер украл их,
четыре года —
　　　　　　в огненной крутоверти.
Мы отстояли на юность вечное право,
продолжение лет —
　　　　　　　　с мая сорок пятого мерьте!..»
— «Правильно, Сема!»
　　　　　　　　Мы начинаем смеяться.
«Сколько Сереже с Неходой?»
　　　　　　　　— «Идет двадцать пятый».
— «А Семе?»
　　　　　　— «Семе как раз девятнадцать!»
— «Сколько Васе было бы?»
　　　　　　　— «Двадцать первый, считайте».
— «Тамаре — двадцать два минус четыре».

— «А Любе?»
— «И Любе тогда восемнадцать. . .»
— «Юность наша продолжается в мире!»
Эти годы нам в труде пригодятся!
Да здравствует наша мирная юность,
счастье и молодость в семье миллионной!
Мир и свобода к нашим людям вернулись!
Признаемся в любви —
                                        жизнью всей окрыленной, —
признаемся в любви
                                    и клянемся перед дорогой
мы тебе, наш народ,
                                    наш Советский Союз,
                                                        дорогая отчизна!
Продолжается наступление наше —
                                                        с партией в ногу,
нам идти и идти —
                                  к счастью,
                                              к маяку коммунизма!..

1944—1950

144. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

ВСТУПЛЕНИЕ

В Осташковских высотах
около Калинина,
в лесу болотном,
где вода, как густой чаек,
у Волгина-Верховья, села,
что в топи вклинено,
тонко пробивается
маленький ручеек.
Копытными следами побежал за стадом,
течет десятки верст,
а не на что взглянуть.
Каждый пень, коряга, камешек —
преграда:
заставляют ручеек
изменять путь.
Нелегко ему.
Один он.
И бывает грустно.
Нелегко ему дорогу отыскать себе,
без друзей пока еще,
без людей,
без русла.

Но течет,
растет
и крепнет:
он готов к борьбе!
Он уже журчит тихонько,
он зовется Волгой,
смело пробирается среди известняка,

и знает он,
что суждено ему
дорогой долгой
шуметь,
и славиться,
и побеждать века...
Всё начинается с того:
с мечты, с желанья, с жажды.
С истока робкого
все реки потекли.
И есть источники свои
мечты народа каждой.
И этой вот мечты о красоте земли.
Благословен исток,
что стал теченьем века,
тот ручеек,
что вышел из народного ключа,
стал делом партии родной,
свободой человека,
народным счастьем,
жизнью,
наследством Ильича.
Все мысли о тебе,
грядущий день недальний,
своей поэмы этой первую строку
я шлю к тому истоку,
на первое свиданье
к мечте людской,
к началу,
к Волге-ручейку.
Оттуда дотеки,
доплесни,
добрызни
через плотины ГЭС,
через каналов сеть,
до светлых дел людей,
до дней
при коммунизме,
из капли
стань волной,
чтоб это счастье петь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАЧАЛО ТРЕВОГИ

1

РАЗГОВОР С ВЕТРОМ

Пахнул в лицо,
волной холодной встретил
и сразу выдул крупную слезу.
А там
уже забылся этот ветер,
забылся мною ветер там,
внизу.
Над университетом
в шаткой сини
меня с боков обходят облака,
гляжу —
и улетаю вместе с ними.
Куда?
Еще неведомо пока.
Хотя б черновики путей,
наброски
дорог и троп,
как бы летать я мог!
Чтоб видеть всё,
как дым от папироски,
рукой сдвигаю облачный дымок.
Я на таком ветру
себя не помню.
Ну что же, рви,
пронизывай насквозь!
Ты, вижу, рад тому,
что нелегко мне?
Ты недоволен тем,
как мне жилось?
Мы старые друзья с тобою,
ветер!
Я тот же,
ошибаешься во мне.
Чего же ты досадного заметил,
поймав меня на этой крутизне?
Что ты смеешься, ветер?
Непонятно.

Нас помнят вместе трудные края...
Что? ..
Я не слышу. Что? ..
Тебе приятна
большая обтекаемость моя?
Что за острота, ветер,
брось ты это,
а то возьму и снегом залеплю!
Машина?
Где?
Внизу?
Какого цвета?
А... да, моя,
я технику люблю.
Перемени же тему, ветер, что ты!
Кто — я?
Боюсь вот этой высоты?
А помнишь злые финские высоты?
На Одере меня не помнишь ты?
Дрожу от высоты?
Во мне есть сила!
Вершина смерти страхом не трясла,
а эту высоту
ведь жизнь воздвигла...
Не от нее?
От той, что вознесла?
Не ври!
Вверх поднимаюсь каждый день я.
Кто, я упал?
А где стою? Смотри! ..
Как снизу вверх?
Нелепое паденье!
По лестнице житейской?
Не мудри!
И что за шутки глупые, откуда?
Вот привязался, слушать не хочу.
Теперь мне не страшна твоя простуда.
Легко скользя,
над городом лечу.
Лечу
всё выше, круче забираю
и вверх и вниз гляжу —
летит простор,

невольно жмусь к незыблемому краю
и вижу:
город реки распростер.
Вот захочу —
найду свое оконце,
свой дом от прочих взглядом отделю.
Москва!
Тебя пронизывает солнце.
Как я тебя, любимая, люблю!..
А ты всё дуешь, ветер.
Слишком много
ты на себя берешь.
Пусти. Пока!
Но что ж шатает сердце мне тревога,
навеянная свистом сквозняка?
Увидимся когда?
Да нет, не надо.
Ты друг мне?
Так не делают друзья!
Я ухожу.
Томит меня досада:
зачем навстречу к ветру вылез я?
Да громче говори,
охрип ты, что ли,
ведь звал тебя давно —
идем со мной.
Легко ли одному кружиться в поле,
без дела так болтаться над землей?
Еще раз я зову:
иди под крышу,
моторы двигай, мельницу крути.
Меня зовешь к себе?
Куда?
Не слышу!
А!
Нет уж, нам с тобой не по пути!
Я ухожу в затишье.
Злой ты, ветер.
Прощай!
Тепло на верхнем этаже.
Вот и не слышу я, что ты ответил.
Беснуйся там,
а я не твой уже.

А я —
        меня тревога просквозила...
Вот ветер, что наделал ты со зла.
Смотри теперь —
                        неведомая сила
меня путем тревоги повела.

Мчит меня вниз
лифт скоростной,
открывается дверца.
Всё время думаю,
что со мной,
так неспокойно сердце.
Ветер, что ли, в сердце проник,
нет, кончились эти муки.
Шелестит страницами книг
высотный дворец науки.
Очарованный новизной,
матовым светом смятым,
прошел коридоровой тишиной
на этаже десятом.
Вымчал к первому этажу.
Иду себе по ступеням.
В лица смеющиеся гляжу,
задумываясь постепенно.
Гляжу опять на вершину ту,
где шпиль улетает в просинь,
где ветер поймал меня на лету,
в большую тревогу бросил.
Пахнул тревогой и новизной,
дорогу мою наметил.
Ветер, что ты идешь за мной,
чего тебе надо, ветер?
Я зазнался? Мои мечты?
Слова где мои простые?
Ветер, прислушайся, как чисты
голоса молодые!
«Отдельные комнаты во дворце?»
И что?
Не кричи, я слышу.
Боишься, могут они в конце
забыть про худую крышу?
Ветер, мне некогда, я иду,
мне речи твои не новы.

Где я видел?
В каком году
мои Хутора Быковы?

Да что за ветер?
Странная простуда!
Ты — ветер жизни?
Здравствуй, узнаю!..
Куда теперь летишь?
Сейчас откуда?
Ты на поверку вызвал
жизнь мою?
Прости, я не узнал тебя сначала,
забыл я что-то в поступи годов...
Что?
Да, меня немного укачало.
Пойдем же, ветер жизни.
Я готов.

2

ПЕСНЯ О ПЕСНЕ

Да что со мной?
Я замер вдруг
и так сидел — ни мертв ни жив,
когда запел мой мудрый друг,
глаза казахские смежив.
Зарозовели вечера,
степные хлынули ветра.
Песнь возносила,
поднимала,
и слышалось:
«Пора! Пора!..»

Хотелось спелой степью плыть,
прослыть любимым, как вчера.
Пора! Пора!..
Хотелось быть
простым и легким, как домбра.
А я дышать уже не мог.
«Пора!» — я отвечал струне.
Чему пора?

Какой-то срок
та песня назначала мне.
А сердце —
в огненном кругу,
и сжатый ветер бьет в лицо,
как будто дернуть не могу
за парашютное кольцо.
И этот затяжной прыжок
то счастьем овевал у век,
то больно бередил ожог,
который не прощу вовек.
Я удивлялся,
слушал,
плыл
за песней.
Так и началось.
И молочай... и чернобыл...
Вся степь, прогретая насквозь.

Как я забыл?!
Да, в те года
я был бесхитростен и прост,
свободно проходил тогда
под животом верблюжьим в рост.
«Чок-чок!» — кричал верблюдам я,
но, свысока взирая, шли,
зеленой жвачкою плюя,
на пятку наступить могли.
А в небе — чисто и бело,
вокруг — пески и солончак.
Заволжье к сердцу подплыло,
пришли Эльтон и Баскунчак.
А песня всё сильней.
«Пора!»
Чему пора?
Да вот оно,
село Быковы хутора,
покинутое мной давно.
Пора вернуть земле родной
весь жар ее большой любви.
Она зовет:
вернись домой,
для лучшего ее живи.

Земля моя!
От солнца ржав,
я босиком бежал хитро:
колючки пальцами отжав,
ступни поставив на ребро.
Клубился пылью след отар.
Земля — все травы полегли,
твои дожди ссыхались в пар,
не долетая до земли.
А там — за маревом живым —
я знал:
казахи и стада.
И по воронкам вихревым
угадывал:
идет беда!
Мы, сдвинутые той бедой,
безводьем, горем немоты,
шли цепью к Волге,
над водой
держали пламенные рты.
Да, там и слышал я тогда
всю эту песнь, ее родник,
тогда, наверно, в те года,
к иному языку приник.
И в юности
издалека
я слышал песню и домбру.
Джамбула слышалась строка,
когда тянулся я к перу.
Стих — норовистый конь!
Меня
не раз и вытряхнуть могло,
но он держал того коня,
пока садился я в седло.

Пора!
Стучится песня в грудь.
Растет и ширится в груди.
Ты счастья хочешь?
Счастлив будь!
Бессмертья жаждешь?
Выходи!

Я слышал:
всё заполонив,
шел переплеск степных озер,
и переблеск широких нив,
и перелесков разговор.
«Пора, — всё слышалось, — пора!»
Росло во мне желанье жить,
водить большие трактора,
любить, знакомиться, дружить,
и думалось наперебой
о нашем счастье,
о твоем.
Хотелось быть вот тут, с тобой,
под небом,
на земле — вдвоем.

3

КАРУСЕЛЬ. ВОСПОМИНАНИЕ

Повозка за повозкою,
дорогой и напрямки
на ярмарку Быковскую
едут степняки.

Бежим, сцепившись за руки,
розово пыля.
В пыли
до самой ярмарки
полынная земля.
На ярмарку скорей,
на ярмарку!
У мельницы паровой
негде упасть яблоку.
Говор.
Рев.
Вой.
Протискиваемся с опаскою —
ноги береги!
Дегтярной душат смазкою
встречные сапоги.
Снуют цыгане страшные,
прилавки стали в ряд,
диковинами раскрашенными
они пестрят.

А мужики степенные
пьют квас.
Один назло
плеснул остатки пенные —
нам цыпки обожгло.
Под оглоблями длинными
скользили между возов,
свистульками глиняными
даем условный зов.
А петушки на палочках!
От них не отойдешь.
Как на ветлах галочьих,
вспыхивает галдеж.

И вдруг закружилось перед глазами,
пересохло во рту.
На конях и на лодочках кружатся.
И нас укачало.
Сгреб нас высокий старик и прижал к животу:
«Кататься охота?
Крутить полезайте сначала!..
Кто не хочет — убирайся отсель!
Охочий — три раза крутить,
на четвертый — кататься бесплатно...»
Кричала,
звала разноцветная карусель.
Мы недоверчиво мямлили:
«Кабы так-то!»
— «Вот ладно!..»

И так,
как нам назначено,
по третьему звонку,
мы крестовину раскачиваем,
как лошади на току.
«Пошла!» — кричим.
И кружится!
Нам хорошо уже —
играется,
и дружится,
и праздник на душе.
Потом внизу мы выбрали
кто лодку, кто коня.

И дома
не выбранили
за этот день меня.
Крутить
мне больше нравилось —
внизу тошнит слегка.
Я взял себе за правило:
других кружить пока.
Кружили — дух захватывало;
и славили житье,
честно
зарабатывая
веселие свое...

В двадцать восьмом
всё это было, помнится.
Зачем припомнил это,
не пойму.
Да! Замечаю:
голова не клонится,
не кружится — катаюсь, как в дыму.
То на коне лечу,
а то на лодочке,
смеюсь себе
и наверх не спешу.
И улыбнусь то Людочке, то Олечке.
«Сильней! Сильней крутите!» —
сам прошу.
Я нахожу себе уловки разные,
и лица все сливаются в одно.
Привык, и не тошнит меня.
Всё праздную,
хоть помню:
наверх мне пора давно.
Хозяин мой — страна, —
забыл я что-то.
Катаюсь я — идут за днями дни...
Гони меня —
заставь крутить до пота.
Гони меня,
гони меня,
гони!

4

ВЕСНОЙ

Я шел, разбрызгивая лужи.
Пахло маем.
От стадиона в Лужниках
пошел кружить
по улицам.
Весенним солнцем обдуваем,
как будто начинал я снова жить.
Я видел:
солнце улыбается всем поровну,
шли с чемоданчиками легкою гурьбой,
навстречу шли,
и обгоняли — плечи в сторону,
и льдинки смеха расшибали под собой.
А было грустно,
зависть спрашивала колко:
«Пошел бы с ними?
Побежишь со всей душой!
А сердце? Как оно? Тебе-то сколько?
Иди, иди своей дорогой.
Ты чужой».
В тот самый вечер
и случилась Ты, такая.
Я только видел, только слышал
ясный смех.
Обида дрогнула, меня вперед толкая:
иди вперед.
Ведь ты теперь сильнее всех!
И я пошел
и вспоминал родное что-то.
То брови в елочку,
то лодку на реке.
Как будто сразу
с реактивного полета
моя тревога
вдруг открылась ясно мне.
«Наташа, стойте!» —
голоса в ручьях тонули.
«Я позвоню вам!»
— «До июля нет меня.
Нет, извините,
позвоните мне в июле. . .»

Глаза слепила мокрых льдинок блескотня.
Вот как свиданья назначают!
Это ново!
Я эту мысль
в свое свиданье претворю.
«Дом девятнадцать, —
я заметил, —
Усачева».
Зачем заметил?
До сих пор благодарю!
«Наташа, стойте, провожу вас!»
— «Нет, не надо».
Я, замирая, лед подошвою крошу.
Не уловлю ее растаявшего взгляда.
«Я позвоню вам.»
— «До июля... Я прошу...»
В тот миг девчонкой ты была,
а жизнью стала,
тем малым лучиком,
что высветил пути.
И не загадкой,
а разгадкой.
Небывало
ты осветила мне тогда,
куда идти.
То жизнь сама —
всё обновила и велела.
«Тебе пора!» — она сказала, веселя.
Ты подсказала мне,
что жизни нет предела,
что молода
и необкатана земля.
Но как же быть мне
с благодарностью такою?
«Г — 5 и 5...» —
Не слышал дальше, вот беда!
Обратно диск идет,
стрекочет под рукою,
я не узнаю окончанья никогда.
Пора, пора мне!
Обокрасть себя могу ли?..
Тебя не знаю,
не найду,

но сохраню
тот чистый голос:
«Не звоните до июля...»
А я сейчас на всю вселенную звоню.

5

ПЕРВАЯ СТРОКА

И вот опять,
когда произношу
слова к тебе,
то делаюсь несмелым.
Я знаю:
в тех словах —
всё, чем живу,
всё,
что задумал сделать
главным делом.
Заветные слова
к тебе несу,
запас труда
и жизни опыт скромный.
Изведав слов нетленную красу,
красу лесов,
степей,
земли огромной.
Слова любви и жизни
я берег,
ждал мастерства,
копил его по капле
на войнах,
в мирных днях,
копил, как мог,
и пробовал,
и спрашивал:
«А так ли?»
И сердце подсказало мне:
«Пора!»
Земля шепнула о сыновнем долге
в тот час,
когда вещали рупора
о стройке
гидростанции
на Волге.

Чтоб всё сказать,
я взял издалека.
Ни слов,
ни дней,
ни лет
мне не хватало.
И зазвучала первая строка
в день пуска Ахтубинского канала.
Мы,
партия,
единственной судьбою
зовем тебя,
надеждою своей.
Как сыновья,
мы счастливы тобою,
ты счастлива
любовью сыновей.
Прими же те слова,
что я берег!
Ты, партия, живешь в сердечном гуле,
в работе лет,
в полете первых строк
любви и клятвы.
Ты — всему исток.
К тебе
опять
слова мои прильнули.

6

ГРЯНУЛ СРОК

О чем ты шепчешь вдалеке?
Смеющийся и хрупкий
твой голос
у меня в руке
дрожит
в нагретой трубке.
Я в Сталинграде,
ты в Москве,
меж нами — тыща с лишним.
По электрической канве
приходит голос слышным.
«Когда приедешь? Навсегда?! —
И смехом зазвучала. —

Собою недоволен? Да?
Хорошее начало!
Экзамены? На всех парах!
Что? Жизнь тебя задела?
Засесть в Быковых хуторах?!
Хорошенькое дело!..»
Меж нами
мир гудит живой.
Волненьем нашим полная,
летает
силы грозовой
изломанная молния,
как от руки и до руки,
когда вдвоем сидели
и сквозь деревья
огоньки
мерцали еле-еле.
Как от плеча и до плеча
в ту полночь грозовую,
когда толкали,
хохоча,
машину грузовую.

Тебя увидеть не могу,
а кажется, что рядом.
По нитке тоненькой бегу
за грозовым зарядом.
И удивляется заряд:
«Какая-то нелепица:
по телефону говорят,
давно могли бы встретиться!»
Всё по-другому быть могло,
а стало всё, как было.
«Постойте!»
— «Время истекло».
И молния остыла.

Ты, уши пальцами прижав,
ждала исхода гула.
И, на колене подержав,
портфелик застегнула.
Платок пуховый замотав,
«Идем!» — себе сказала.

Прислушалась — звенел состав
у дальнего вокзала.
Пошла, как щепочка в пруду,
от ветровой назолы
рукой спасая на ходу
взлетающие полы.

Ты замечаешь,
в первый раз
случилось вдруг такое:
нашло — не исчезает с глаз,
нашло — и нет покоя.
Стихами я теперь пишу,
сон убегает рано,
и я тянусь к карандашу,
к бумаге.
Правда, странно!
Не смейся, пожалей меня,
стихи сильнее яда.
А вдруг
до нынешнего дня
не знал себя как надо?
А может, просто грянул срок,
жизнь встретилась со мною
и опалила с первых строк
своей взрывной волною!
Теперь зажегся и горю
от рифмы нет отбою,
и, как поэты,
говорю
я вслух
с самим собою.

7

ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вот и осень.
Земля моя, здравствуй.
Над Волгой
я опять
на быковском стою берегу,
осененный сыновней любовью
и долгом.

Сколько снов твоих,
слов твоих
я берегу!

Пароход отошел.
Я остался.
Наплыло,
к сердцу сразу прильнуло
родное село.
Захлестнуло тоскою глаза,
то, что было,
то, что будет,
меня за собой повело.
Золоченые прутья в плетни заплетая,
ходит осень.
Окрасила шпиль каланчи.
И соломинки засветились, взлетая,
как будто опавшие с солнца лучи.

Отошло это лето, палящее зноем.
Суховей отсвистел,
и развеялась мгла.
Нелегко
выполнять тебе
дело земное,
ты устала, земля моя,
изнемогла.
Здесь вот
мама и сестры арбузы грузили.
Чтоб не ползал —
меня зарывали в песок.
Здесь вот
так и сидел я,
отрыться не в силе,
заслоняя ладонью нагретый висок.

Помню всё:
мы с тобою, земля, побелели,
пить просили.
Но жар опрокидывал нас.
В огнедышащей мы задыхались купели —
ты, земля моей жизни,
и я, свинопас.

Мы лежали.
Кругом никого!
Чернобылом
ты шумела.
Зеленые всходы пожгло.
Цыпки трескались у меня на ногах...
Это было.
И забыться всё это
никак не могло.

Ты детей своих грудью иссохшей растила.
Просто чудо,
откуда в арбузе вода?!
Просто чудо,
откуда во мне эта сила?
Я, твой сын,
мог совсем не подняться тогда.

Дом на самом краю Столбовой расшатало.
Окна лопались от ледяной синевы.
Ты всегда натощак засыпало устало,
детство
робких детишек
Натальи-вдовы.
Нелегко нам, земля моя, было.
Веками
ты страдала.
Тебя зажимали пески.
Ты сухими,
как жухлые плети,
руками
нам макуху дала,
разломив на куски.
Год за годом желтели арбузные плети.
Хлеб горел.
Высыхали колодцы в степи.
Год за годом
твои босоногие дети
вырастали под плач:
«Потерпи! Потерпи!»

Помню стужу январскую.
Ветер морозный.

Люди медленно двигались,
снегом пыля,
знамя с черной каймой
плыло в музыке слёзной.
С Ильичем
в это утро прощалась земля.

Мама в красной косынке пришла.
Делегатка!
В дальний город Камышин
уехала вдруг.
На собранья ходила, робела украдкой,
избиралась куда-то
поднятием рук.
...Ватник свой отдала мне,
он теплый от мамы.
Я кнутом подпоясался.
Сшили тетрадь.
В школьный класс повела меня
за руку прямо:
«Ты тетрадь береги
и чернила не трать!»
Хилый,
робко вошел я,
а встретили косо.
Навсегда я подробно запомнил полы.
Я, заморыш,
их выучил собственным носом,
находясь в основании кучи-малы.

Но учитель рукою водил мою руку.
Плыли буквы...
С тех пор навсегда я проник
в ученичество
и влюбился в науку —
в наш великий
взволнованный
русский язык.

Осень! Осень!
Года отшумели какие!
Я на первую улицу вышел, стою.
Не узнаешь открытые лица людские.

Только землю,
избитую мглой,
узнаю!
Не узнаешь:
за трактором нету погони,
по дорогам райцентра машины снуют,
слышно радио,
в клубе трепещут ладони.
Не узнаешь...
Но воздух сухой узнаю!
Из дворов выбегают
обутые крепко
и веселые —
в новую школу, скорей!..
Не узнаешь...
Но вдруг поднимается кепка —
да, ты всё еще здесь,
узнаю, суховей!..

«Извиняюсь, товарищ... —
задержался прохожий. —
Не признаете? Нет?
Двадцать лет позади!
Не Денисов? Денисов?
На отца как похожи!
Я Савельев, сосед...»
— «Дядя Федя, гляди!»

— «Витьку помнишь?
Он здесь, в МТС инженером.
Томка в пединституте, приедет сюда...»
— «Урожай как?»
Смутился он:
«Средняя мера,
выжигает...» —
И покраснел от стыда.
За тебя покраснел,
понимаешь, природа,
ты такая уже не по нраву ему.
Ты давно уже отстаешь от народа.
А народ за тобой не вернется во тьму.
Помню,
летом решил, уходя в свинопасы:

всё, что за зиму вызнал,
земле передам.
Книжку клал на полынь,
подкреплялся припасом,
И читал,
и читал я земле
по складам...
А страна протянула мне добрые руки
и с энергией жизни сдружила навек.
И забыл я
о давнем решенье в разлуке.
В городах,
у далеких расцвеченных рек.
Мой отец от земли
отрешился однажды.
Он в Царицыне рухнул
с заветной мечтой.
И не мог я простить тебе
огненной жажды,
мук голодных,
слезы материнской святой.

Но случилось и наше свиданье второе.
Снова
партия
сына с землею свела.
Понял я
на волне Сталинградгидростроя,
что люблю тебя,
помню,
ты в сердце жила.
Помню всё
и люблю тебя,
землю родную,
но не ту,
что макухой кормила меня.
Я люблю тебя
вновь молодую,
иную,
ту, которой становишься день ото дня.
Помню всё
и люблю тебя,
степь дорогая.

Вас люблю я,
Быковы мои Хутора.
не былая краса мне мила,
а иная,
ваше завтра люблю,
а не ваше вчера.
Я люблю тебя там,
за Калиновой балкой,
где морские к тебе пристают корабли,
где арбузы раскатятся прямо вповалку.
Будь районом
живой,
плодородной земли.
И за эту любовь,
за отцовскую муку
и за эту мечту вековую твою
все стремленья свои,
всю любовь,
всю науку —
всё,
что нужным считаешь,
тебе отдаю.
То, что было —
людское голодное горе,
недороды,
кулацкий разнузданный гнет, —
всё отжившее —
пусть
это волжское море
животворной
своею волной захлестнет!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПОЭМА В ПОЭМЕ

1
У СОЛЯНОЙ ДОРОГИ

Шли в глубь степей
по царску указу
левобережьем,
страдая без воды.

Скучно тут
зоркому русскому глазу,
да надо!
Селился заслон от Орды.
Соляная дорога!
Для всей России,
для дома каждого и очага
по этой дороге соль возили
от Эльтона и Баскунчака.
Давно отшумели года боевые,
давно уж отхлынула темная тать.
Но стали тут
поколенья живые
всё глубже и глубже
в землю врастать.
Были когда-то указы именные,
но давно уже землю
разодрали в клочки
Денисовы,
Панечкины,
Степные,
Баженов —
сперва еще так, кулачки.
Для них оказалось,
что и голь — не обуза,
иди по найму из года в год.
Не было слаще быковских арбузов,
нигде так земля не давала доход.
Быковский арбуз —
полосатое чадо!
Попробуй одною рукой удержи.
Лопнет,
раскрыв заревую прохладу,
издалека только
нож покажи!
Денисовы и зерна в землю метали:
поближе — арбузы,
пшеница — в глуби,
на третью весну меняли местами,
сушь ли,
голод —
лопатой греби!

Сами надрывались в страдную пору,
голь нанимали,
держали в горсти.
Хищные, жадные лезли в гору.
Рубль идет!
Успевай грести!
Только Баженов
да Степной, пожалуй,
могли померяться, шли в расчет.
Да еще Ковылин —
не камень лежалый!
Любой норовит тебя слопать, черт!
Панечкин —
этот землей похлеще,
но нету коммерции —
кишка тонка.
Живет в Петербурге, степной помещик!
Спохватится. Скупим.
Живи пока.
А этот, Стрыгин, —
и откуда их носит? —
тоже лезет, совсем старичок,
скот пригнал, а выгоны просит.
Со временем — к ногтю,
а пока — молчок!..
Так и следят друг за другом, волки.
Главный — Денисов:
«Эй, сторонись!..»
Служат обедни матушке-Волге,
баржи гонят и вверх и вниз.
Один другому ребятишек крестит,
целуются на свадьбах:
«Милый, кум!»
Пьют, обнимаются — честь по чести...
Ночью
пылают
от жадных дум.

2

КОНЕЦ ВЕКА

Январь
восемьсот девяносто шестого.
За тюремной решеткой не спит человек.
Он хо́дит по камере,
снова
и снова
обдумывает подступающий век.
«Тюрьма?! —
он по стенке постукал лукаво. —
Да, есть неудобства...
Но время не ждет.
Работать! Работать!
Нет у нас права
на передышку.
Схватка грядет!»
Волна нарастает, не знавшая спячки,
крепчает.
Задача ясней и сложней.
Гудят по стране забастовки, и стачки
всё яростней,
определенней,
дружней.
Рабочим необходима учеба,
склонились над книгой чубатые лбы.
Объединились,
как первая проба,
кружки в Петербурге
«Союзом борьбы».
«Работать!»
Ну что там тюремные стены,
он видит Россию,
людские сердца.
Видны ему, как никому, перемены,
он видит,
как крепнет начало конца.
Он видел:
орел пошатнулся двуглавый,
и Зимний уже на себя не похож,

и коридор
канцелярии главной —
Невский —
почувствовал нервную дрожь.
Он видит:
от фабрики Торнтона
шире
волна забастовок идет по стране.
Союзы возникли
в Москве и в Сибири,
в Ростове,
Киеве,
Костроме.
Сквозь стены
видна ему Волга родная,
он мысленно видит с симбирской горы,
как, землю и труд под себя подминая,
идет капитал,
молодой до поры.
Поволжье —
кулацкие цепкие пальцы
на горле бесправной, босой бедноты,
пустые мешки безземельных скитальцев,
детишек сведенные голодом рты.
К Самаре,
к Саратову —
ниже по Волге, —
всё дальше,
к Царицыну мысль повела.
Всё ходит
и взглядом внимательным, долгим
глядит он под крыши
Быкова села.
Денисова видит под крышей амбара:
Ефим не нахвалится
сметкой своей,
пока что не знает,
слепой от угара,
что кризис
идет
на степных королей!..

Сквозь крыши,
покрытые жгутником редким,
он видит
горящие гневом глаза.
Он видит:
в избе у Бабаева Федьки
в потемках
потрескивает гроза.
Присядь и молчи,
самокруткой согрейся.
Листовка советует,
кличет,
зовет!
Всегда,
проходя из Царицына рейсом,
механик Варламов
их Федьке сдает.
Он видит:
склонились,
читают средь ночи
Мазуров,
Бабаев,
Степан Дремлюга́,
волнует их
верное слово рабочих.
Он видит товарищей.
Видит врага.
На Невском
уже фонари погасили,
он вел карандашный отточенный клин:
«Развитие
капитализма
в России».
Подумав, добавил:
«Владимир Ильин».

3

КРИЗИС

> На юге России к рассматриваемому виду торгового земледелия относится также промышленное бахчеводство... Возникло это производство в селе Быкове (Царевского уезда Астраханской губ.) в конце 60-х и начале 70-х годов... Лихорадочное расширение посевов повело, наконец, в 1896 году к перепроизводству и кризису, которые окончательно санкционировали капиталистический характер данной отрасли торгового земледелия. Цены на арбузы пали до того, что не окупали провоза по ж. д. Арбузы бросали на бахчах, не собирая их.
>
> *В. И. Ленин. Развитие капитализма в России.*

Он вышел на крыльцо,
Ефим Денисов,
кленовую опору сжал в руке.
Осенний ветер,
налетая снизу,
валы крутые
гонит по реке.
Шагнул Ефим.
Сын юркнул под рукою,
влетело шестилетнему Кузьме.
Шел через двор,
захваченный тоскою.
Сороки дружно цокали — к зиме.
Всё тут его —
от дома
до амбара,
от крыши до соломинки —
его.
Из нищеты,
из низа
лез недаром, —
в наследство не давалось ничего.
Прошел базы
и стал над волжской кручей,
любил он волн блескучую игру.

Широкоплечий,
хитрый
и могучий, —
так он стоял
без шапки
на ветру.
Тугие брови сдвинуло тревогой,
огонь плясал
в косых его глазах,
наверно,
где-то в тьме годов далекой
сроднился с ним татарин иль казах.
Глядел, как Волга бурей забелела,
опять подумал:
«Волга подвела!
Арбузы на плетях —
пропало дело, —
передохнул,
сжал пальцы добела.

Развелись, хапуги,
сеют,
продают.
Вон по всей округе
хамы гнезда вьют!
Вот и цену сбили,
каждый вроде туз!
Пó двое плодились
на один арбуз.
Не прощу обиды,
постоять могу.
Подождите, гниды,
всех
согну в дугу!
К Петербургу двину,
у других скуплю,
сдам наполовину,
но не уступлю.
Погоню на бахчу
голь и татарву
и своих
в придачу
в поте надорву!

Выйду крупным риском,
наверх поплыву —
к Рыбинску,
к Симбирску,
а не то
в Москву.
Всех скручу!
Пойдете
в чем жива душа...»

Белеют волны брызгами на взлете.
Стоял Денисов,
тяжело дыша.
Рвал ветер космы,
с головы сгребая,
бросал песок в пучину кутерьмы
и, сам
в пучине Волги
погибая,
назад,
к базарам,
зачесывал дымы,
как будто он
тянул село Быково
за волосы
на гибель за собой.
На берегу столпились бестолково
дома, домишки — плотною гурьбой,
но их держала степь:
попробуй сдерни,
уже им не страшны теперь ветра.
На много верст,
осев,
пуская корни,
шли в глубь степей
Быковы Хутора.

4

НАЧАЛО ВЕКА

В конце февраля отпустила погода,
снег на Волге искрится,
аж режет глаза.
Опять зарекрутчивают много народа,

через Волгу
на Царицын
потянулись воза.
Криком исходят
быковские бабы,
заламывая руки, пугают коней,
падают бессильно в снеговые ухабы,
ползут,
держась за копылы саней.
А тут еще трахома
на каждом человеке,
у докторской избы
под конвоем ждут,
когда,
им отвернув красномясые веки,
ляписом и купоросом их обожгут.
«Надо бы полегче:
гольтепа что порох,
огнем угрожает военный крах! . .»
Каждое движение,
каждый шорох
в душе у Ефима рождает страх.
Панечкин дождался:
прошлись по амбарам,
разграбили что можно,
грозили огнем.
Степной и Баженов выделили даром:
«Прими, народ! . .»
(«А потом вернем!»)

А вчера на зорьке ахнуло Быково:
стражники спешились на Столбовой.
И стало непривычно тревожно и ново —
покатился по улицам стон и вой.
И вслед за рекрутскими
ледовой тропкой
сегодня двинулся в дальний путь
возок с Мазуровым
и Дремлюгой Степкой,
так окровавлены, что страшно взглянуть.
Долго Кузьма бежал за ним с обрыва,
валенки в сугробах черпали снег,
бежал, задыхался, дыша торопливо,

домой повернул,
ускоряя бег.
Во двор,
на крыльцо
и в горницу с криком
влетел
и чужого не заметил от слез.
«Тятя,
скорей,
догони,
верни-ка!
Гаврилу куда-то солдат повез! ..»
— «Кого?» —
остановил незнакомый голос.
Кузьма столкнулся взглядом с мясистым лицом.
Оперев на шашку ус, похожий на колос,
урядник за столом
восседал с отцом.
«Какой Гаврила, а? Не Мазуров ли это?»
Ефим махнул рукой в бородавках колец:
«Поденщиком работал у меня три лета,
Кузьку к себе привязал,
подлец!»
Плакал Кузьма, ни на кого не глядя.
«Цыть, сопляк!
Ума еще нет».
Урядник рассмеялся:
«Вот тебе и дядя!
Сколько мальчонке?»
— «Четырнадцать лет».
Звякают стаканы.
«Кузька, вот что:
ну-ка быстро тулуп надень,
сбегай моментом,
что она там, почта,
газеты не приносят четвертый день! ..»
Лбами соткнулись, оборвали песни...
«Где? —
рычит урядник. —
Быть не могёт!
Читай! ..»
Кузьма прислушался.
«Царицынский вестник».
Февраль. Двадцать третье. Пятый год.

«Забастовка. Совершенно неожиданно 14 февраля на французском заводе рабочие в количестве 3000 человек объявили администрации забастовку. По требованию рабочих были остановлены машины и выпущен из паровиков пар. 16 февраля забастовали рабочие на мукомольной мельнице Гергардт, на чугунолитейном заводе Гардиена и Валлос, в механической мастерской братьев Нобель, на механических заводах Грабилина и Серебрякова. 18 февраля к забастовщикам присоединились все лесопильные заводы, типографии и часть пекарен. Происходили большие сборища рабочих на улицах. В этот же день в царицынском затоне прекратили работу рабочие, имеющие отношение к ремонту судов.

Не выходившие с 19 февраля местные газеты первый раз выпущены 23 февраля».

«Что делают!
Чувствуешь, что там творится? —
Урядник встал, шатаясь. —
Вон он где, яд!
Наших крамолой снабжает Царицын...»
Ефим перекрестился:
«И что там глядят?»
— «Не умеют, вот что, меня бы туда-то,
я бы всё пронюхал, загодя раскрыл...»

Кузьма спасал Мазурова,
убивал солдата.
Потом над зимней Волгой взлетел без крыл...

5

ГОЛОДАЕВСКИЙ ЕРИК

Рвется высокий конь каурый,
боится разливной воды,
вбок
круглым глазом водит хмуро:
«Куда ты гонишь без нужды?»
Почуял:
всадник весом мелок,
хотя знаком ему на вид,
и шею завернул умело,
достать губами норовит.
А всадник полонен весною,
он с Волги взор не сводит свой.
Сюда
дорогой гнал степною,
отсюда — топью луговой.

В Голодаевку
с приказаньем
отец послал:
поезжай,
спеши.
Семь верст не дорога, а наказанье.
А там
на улицах
ни души.
И там
прошлогоднее злое лето
голодом вымотало к весне.
В избы входил, —
всё одна примета:
лежат распухшие, в полусне.
Жуткий голод
стоит и в Быкове.
Хлеб дома в горле стоит, как ком.
Сумки, припрятанные наготове,
Бабаеву Федьке
тащил тайком.
Под взглядом отцовским
дрожали руки,
а всё же украдкой давал, носил.
И там, в Быкове,
и тут, в округе,
держался народ
из последних сил.
Дом отыскал,
постучал в ворота,
хозяина сразу узнал:
зимой
к отцу приезжал он, ругались что-то,
но с рожью в мешках уехал домой.
Хозяин узнал:
«От Ефима? Схожи...»
— «Тятька вам передать велел,
мол, срок прошел,
мол, ждать не может,
мол, по уговору
берет надел...»
Качнулся хозяин,
осел на приступок,
спиной отворяя сенную дверь:

«Изверги вы...
Твой отец...
преступник:
всё пожирает...
Зверь, зверь!..»

Рвется высокий конь каурый,
боясь разливной весенней воды,
глазом настороженным водит хмуро:
«Куда ты гонишь без нужды?»
Кузьма задумался
и вразвалку
сидит.
Вдоль Волги едет юнец,
не по сухому —
Калиновой балкой, —
а лугом.
Поймал бы его отец!
Он думает:
«Будет страдать скотина,
сиротская убыль,
медлит вода,
«шубой» луга покрывает тина,
трава не пробьется,
опять беда!..»
Дунул свежак, валы побежали.
Волга...
Кузьма придержал коня.
Волга...
Как мучаются волжане,
не знаешь!
Течешь, красотой дразня.
Он думает:
«Пользы от Волги нету,
рядом, в степи, без воды всегда.
В страхе люди трясутся к лету:
что будет —
пожары иль голода?..»
Дальше едет Кузьма.
«Не шутка —
такое званье
не зря дано.
«Голодаевка» —
прямо жутко.

Видно, голод знаком давно.
Когда дожди — не узнаешь природу:
пшеница — морем,
                        а рожь — стеной.
Поднять бы в поле волжскую воду...
А сила?
            Это вопрос иной...»
Едет он.
            Справа пологий берег,
слева степь.
На его пути —
водой наполненный длинный ерик,
ни переехать,
                    ни перейти.

Рвется высокий конь каурый,
боится разливной воды,
глазом настороженным водит хмуро:
«Куда ты лезешь без нужды?»
Конь храпит, назад оседая,
а всадник, не отрывая глаз,
глядит на то, как волна седая
хлещет обратно, сквозь узкий паз.
Вдогонку за Волгой, ушедшей в ложе,
из ерика,
            ставшего озером вдруг,
летит ручей, тишину тревожа.
Вода
      выскальзывает
                        из-под рук...
Закрой-ка ерик сейчас запрудой,
воды тут хватит на сто полей!
Кузьма горячится:
                        «Черпай оттуда.
Налево — залежь,
                        вспаши,
                              полей...
А чье это всё?
                    А кто это может?
Никто не подумает,
каждый слеп.
каждый землю худую гложет.
Нет дождя,
                пропадает хлеб...

Каждый мечтает о жизни лучшей,
а сами,
руки опустив совсем,
от голода до голода надеются на случай,
на господа...
Эх, показать бы всем!..»

Ходит конь,
не стоит каурый,
Кузьма направил его в объезд.
Быково виднеется грядкой бурой,
в небо воткнуло церковный крест.

6

ЧИГИРЬ

С полей вернулся Ефим не в духе:
«Весна!
За всем успевай гляди,
а в доме — то малые, то старухи,
помощи ни от кого не жди».
Отец Денис соображает туго,
с печки ворчит всё:
«Порвешь ты рот!
Умерься,
людей не злоби, хапуга.
В кого ты только?
Не наш ведь род!»
— «Сам не мог, а меня пугает.
Немочь, нишкни себе на печи.
Время не то,
и земля другая...
Ты, отживший,
сиди, молчи!..
Раз продают, почему не взять-то?
Так и скупаю за наделом надел.
Не надорвусь.
Наше дело свято.
Только поворачивайся —
столько дел.
Продадут последнее, голод не тетка,
и так уж скопился порядочный куш,
а время тревожное.

Нужна покрепче плетка,
а у меня работников —
четверо душ!»
Увидел на столе тетрадки и книжки,
рукой тяжелой смахнул со стола.
Хватит учиться! Ученый уж слишком.
Слышишь, Кузьма,
берись за дела!»
— «Стой! —
одернул Кузьма рубаху. —
Книги не трогай!» —
крикнул дрожа.
«Ты! .. —
Ефим ударил с размаху,
еще наотмашь. —
Гнида, ржа! ..»
С печки скатился дедушка Дениска,
за космы Ефима схватил:
«Не тронь!»
Мать над Кузьмой распласталась низко,
подставила Ефиму свою ладонь.
Молча Кузьма приподнялся с полу,
к стенке прижался, глазами горя.
«Я, щенок, покажу тебе школу!
Так я и знал,
и пустил-то зря!
Завтра же,
слышь ты,
поедешь в поле... —
Тетрадки тяжелая сгребла рука. —
Чтоб я вот этого не видел боле...
А это что такое?
Ну-ка́, ну-ка́...»
— «Не трогай!»
— «Цыть!
Это что за колеса?
А это? Голодаевский ерик, кажись.
Зачем рисовал-то?» —
Разглядывая косо
рисунок,
фыркнул Ефим, как рысь...

Поздно,
к полуночи,
рядом сидели.
Ефим навалился на бумажный клок.
«Значит, чигирь?!
На голодаевском наделе?
А чей он?
Не знаешь ты?
Эх, милок!
Я ж тебя гонял в Голодаевку, к куму,
был надел его,
а теперь он наш!»
— «Наш?!» —
Кузьма поглядел угрюмо.
«Вот именно!
С голоду всё отдашь.
Значит, чигирь.
На колесе, значит, кружки.
Крутятся, воду льют в желоба.
Значит, так и черпают друг за дружкой... —
шептал Ефим. —
Попробуем,
может, судьба!
Училищу — конец!
И берись за это.
Цыть! Не вякай!
Ты и так голова.
Завтра же берись, сделаем за лето!
Отец твой не бросает на ветер слова...»

И пошли подводы
с камнем и тесом.
Ефим приторговывает битую баржу,
нюхает водку оттянутым носом,
встает и качается:
«Всех свяжу!
Буду с водою!
Буду с поливой!
Не отощает наша сума!
Эх, и смышленый,
эх, и пытливый
сынок мой,
опора моя —
Кузьма!»

7

НЕВЕСТА

Отпахали,
откосили,
отмололи на селе...
Урожай пришел в Быково
в девятьсот седьмом году.
Тут —
на дочери обнова,
там — отец навеселе,
и дымки из труб летают, кружатся на холоду.

У Денисова Ефима
пир запенился с утра.
«Сколько же ему?»
— «Семнадцать!»
— «А моей шестнадцать лет!..»
— «Выпьем, сват!
Давай родниться!
Мы с тобой —
с горой гора!
Нам — Денисовым, Баженовым —
по силе равных нет!»
— «Ты куда пшеничку ставил?»
— «Вверх. А ты?»
— «И я туда».
— «Хорошо пошла.
Арбузы тоже нас не подвели...»
— «У тебя, Ефим, пожалуй,
больше всех теперь земли!»
Ловко отвечал Денисов:
«Не жалеем мы труда!
Наше дело — риск,
орлянка:
то ли будет, то ли нет.
Что ни дальше — гуще, чаще
череда сухменных лет,
и земля скудеет сильно,
не дает уже того:
засевай четыре клина
там, где брали с одного».
— «Видно даже по скотине:
не скотина — мелкота.

Да, а Волга как мелеет!
Ширина совсем не та».
— «Всё стареет,
всё скудеет,
что там будет впереди!»
— «Нам еще, пожалуй, хватит,
только больше борозди!»
— «Да, земля уже устала,
отдает последний сок».
— «Больно люду много стало,
надо каждому кусок».
— «Урожай на голь людскую
очень сильно в гору прет...»
— «Ну! Давно бы землю съели,
если б только лезла в рот!»
— «Выпьем, сват!»
— «Держаться надо, там бунтует всюду люд».
— «А у нас-то, слава богу,
в пятом вычистили блох...»
— «Ты за мельницей гляди-ка:
к мотористу больно льнут!»
Тихо, в ухо,
наклоняясь, шепчут:
«Покарает бог!..»
И опять смеются:
«Выпьем!
Больно девка хороша!
Как ступает!
Как запляшет!
И красавица с лица...»
— «Да и мой — Денисов вроде!
Уж скажу я, не греша:
голова чего!
А руки!
Золотые!..»
— «Весь в отца!»
— «Ты видал, чигирь придумал!
Сам поставил!»
— «Знаем мы...
Как упал-то он, хромает, говорят?»
— «Залечим, сват.
Выпьем!»
Выпили.

Баженов зашипел из полутьмы:
«Прилабунился к Наташке Поляковой, говорят...»
— «Как! — ревя вскочил Денисов. —
Кто сказал тебе, постой!..»
Вечереющие окна зазвенели — медь сама.
«Над Денисовым смеяться?!
С голью путать, с сиротой?!
Эй, Кузьма! Кузьма, поди-ка... Эй!»
— «На улице Кузьма...»

Звездный вечер, ходит вьюга,
снег до окон замело...
Запевай теперь, подруга,
разбуди скорей село!

Разбуди тоской моею,
разбуди моей бедой.
На меня смотреть не хочет
мой парнишка молодой.

Гармонь новая покуда,
гармонист уже хромой.
Ты покинь свою Наташку,
не води ее домой!..

Я свою соперницу
отвезу на мельницу,
посажу на крыло,
чтобы духу не было!..

«Кто орет так, а, Наташа?»
У плеча — ее плечо.
«У Баженовой Катюши
голос с этим вроде схож...
Я боюсь, побьют...»
— «Наташа,
слышишь, сердцу горячо!
Ты одна,
моя Наташа,
ты одна во мне поешь!..»

Никакою страшной силой
не разлучат, дорогой.

Нет, миленок, милый-милый,
не отдам тебя другой!..

Что хотите, как хотите,
я приму свою вину,
заключу тебя навеки,
белых рук не разомкну.

На морозе стынут ножки,
дует ветер в рукава,
посидим еще немножко,
я скажу тебе слова...

Ловит он Наташин голос,
в губы смотрит не дыша.
Синие глаза Наташи!
Губ горячих лепестки!
Задыхается от счастья, жизнь на свете хороша!
Слышать голос,
видеть зубы,
чувствовать тепло руки.

Отнеси гармонь, парнишка,
только тихо положи,
если спросит тятька, где я,
полюбил, ему скажи!..

Так стоят они, от стужи заслонясь стеной избы.
Спит братишка, спит маманя.
Окна льдом заслонены.
Ни клетушки, ни сарая, ни плетня, ни городьбы.
Не пришел отец с японской,
чужедальней стороны...

Полюбила бестолково
и горю, как от огня,
а Наташка Полякова
отбивает у меня.

Я пойду на Волгу выйду,
стынет Волга на ветру.
Не прощу тебе обиду,
я тебя еще утру!

Эх, мальчишечка бедовый,
кареглазый мой Кузьма,
зачем же целу зиму
ты сводил меня с ума?!

Не зови домой, маманя,
простою на холоду,
прямо под ноги милому
хрупкой льдинкой упаду.

8

БЕДА

Кажется:
солнце горит и ночью,
пылает во рту самом.
Плывут,
мельтешат огневые клочья,
сплетаются в душный ком.
Светает.
Идут по привычке люди,
медленно,
молча,
врозь.
Тянет к посевам мечта о чуде.
Голод сверлит, как гвоздь.
На улице
ни деревца, ни травки —
голо, как на току,
только на крышах мазанок жалких
цветет лебеда в соку.
Серые, старые, хилые избы
прижались,
изба к избе.
Не горе —
так, может, дымки вились бы,
но пусто в любой трубе.
От старости
крыши сползли у многих,
в улицу их наклон,
похожи они на старух убогих
в платочках — вперед углом.

Иные избы,
с годами споря,
крыши назад сгребли.
Безлобые,
ветхие гнезда горя,
дети сухой земли.
Стоят,
беседуют год за годом.
О чем?
Не скажут они.
Глубоким
тягостным недородом
их сгорбило в эти дни.
Уходит, уходит, уходит лето.
Люди бредут. Куда?
Знают,
а всё же идут с рассвета
на пепелище труда.
Какая весна веселила душу,
надеждой дышала грудь.
Лето взмахнуло каленой сушью,
беде
проложило путь.
В начале июля — пора налива —
жара ветровая жгла.
И вдруг упал,
расходясь торопливо,
туман сухопарый — мгла.
Сама земля подавала голос:
«Люди, беда грядет!»
Пустая завязь.
Трухлявый колос...
Будет голодный год.

*

Насторожились и ловят вести,
пересчитывая закрома,
четырехскатные,
крытые жестью,
закрытые,
как сундуки, дома.
«Слышь-ка,
голодные,
словно звери!»

Как только запахло бедой в упор,
сразу
ворота,
калитки,
двери —
на крюк, на задвижку,
на запор.
«Слышь-ка,
ухо востро, покуда
есть еще корни,
кашка-трава,
пусть кормятся сами!
Какая там ссуда!..
К весне докажем свои права».
— «И нашим убыткам не хватит счета,
сушь-то не видит:
где голь,
где я.
Надо вернуть.
Запирай ворота!
Жди,
помалкивай,
хлеб жуя!»
В доме Денисова
тихо и глухо.
Вдруг
заголосила
Авдотья, мать.
«Цыц!» — заревел ей в самое ухо.
«Да как же, Ефим, пропадут...»
— «Молчать!»
— «Сын ведь...»
— «Кузьма от меня отколот!..
Слышь-ка,
не вздумай давать тишком,
прибью!..
Пусть скрутит гордыню голод,
в ногах попросит,
придет с мешком...»

Слушают:
голод пошел — завыли.

Ждут
и молятся взаперти
Денисов, Панечкин и Ковылин,
Баженовы...
Думай:
к кому идти.

*

По́ полю бродят...
Нечего взять,
ощупаны плетки и колосочки.
Пустая осень.
Ноги скользят,
всюду ямы,
канавы,
кочки.

«Пойдем, Наташа!»
— «Кузя, пора!»
Пока еще вьюга не смыла злая,
идут,
как и все,
за село с утра,
кашку-траву
про запас срезая.
Руки не слушаются порой,
слезы
голову клонят ниже,
страх разрастается,
прет горой.
«Кузя!»
— «Ты что?»
— «Подойди поближе».
— «Идем, Наташа.
Идем, идем!
Не бойся, переживем, Наташа...»
Она кивнет — и опять вдвоем
горько вздохнут:
«Вот и свадьба наша!»

К Тулупному шли,
к полосе прибрежной,
собирали корни куги.

Ходить всё труднее,
в глазах круги.
А степь
закатилась дерюгой снежной.
Пока земля была на виду
и солнце размытое
шло с разбега,
еще не верилось так в беду,
как в это утро
первого снега.

«Бежать!
Бежать! ..» —
голосит село.
К пристани бросились — поздно было:
мостки осенней волной смело,
спуск
водороинами подмыло.
Свистнул на стрежне
ночной порой,
вниз убегая от волжской бури,
большой пароход
«Александр Второй»
общества «Кавказ и Меркурий».
И кончено.
Мерзлую землю скребя,
гори,
замерзай,
умирай без силы!
Не слышит,
не знает никто
тебя,
заволжский
замученный
край России!

9

НАДЕЖДА

Корни высушили, истолкли,
пекли из муки лепешки и ели.
Вкусно.
Насытиться не могли.

Ноги с бездушной еды толстели.
Кашку-траву варили.
Сперва
черной становится,
серой,
синей.
Белой станет — готова трава.
Жили этой едой бессильной.

Сходил к маслобойщику — в край села.
Весь день продвигался от дома к дому,
в каждой избе смерть побыла.
Макухи просил —
отослал к другому.
Отруби выменял за ружье,
гармонь перешла Ковылину в руки.
Взял ее Петька:
«Теперь мое...»
Смолчал Кузьма,
потемнел от муки.
Стыло Быково
на Волге-реке,
падал народ, недородом смятый.
Так и пришел
в смертельной тоске
новый год,
девятьсот десятый.

Сани скрипнули под окном
в новогоднее утро.
Кто-то ступил на крыльцо ногой,
кто-то щеколдой звякнул.
«Хозяева!» Шарит по двери рука.
«Кузя, кто это, слышишь?»
Наташи испуганные глаза
синеют в утренней сини.
«Хозяева!»
В сердце ударило вдруг.
Кузьма поднялся над лавкой:
в избу шагнул,
распахнув тулуп,
грузный Ефим Денисов.
«Хозяева что-то поздно встают
и печку еще не топили...»

Сказал
и прислушался к тишине,
снял шапку, перекрестился.
«Кузя! — с криком шагнул еще. —
Кузя!
Зачем казниться?
Смири гордыню, простит отец! —
крикнул Ефим, рыдая. —
Слышишь, опора моя, пойдем,
рука моя правая, сын мой!»
Ефим Денисов на лавку сел,
лицо опустил в ладони.
Винный угар по избе пошел,
сердце сковала жалость.
Нависла тяжелая тишина,
дышали глаза Наташи.
Дверь отворилась.
Две чьих-то руки
мешок поставили к стенке.
«Что это?» — хрипло спросил Кузьма.
«Мука», — из сеней сказали.
«Тятя, зачем ты сюда пришел?..»
— «Кузя,
мать пожалел бы!..»
— «Тятя, хлеба много у нас?»
— «Хватит, сынок, идемте.
Хватит!
Нонче уже бегут,
а с рождества повалят,
наделы сожмем у себя в руках
еще десятин на двести...»
— «А люди?»
— «А люди спасутся мной,
а там уж не наше дело.
На свете
каждый сам за себя,
бог лишь за всех единый...»
Трудно Кузьме,
устал он сидеть,
в угол плечом ввалился.
«Тятя, давайте хлеб раздадим
всем, кому смерть приходит...»
— «Кузя!..»
— «Можешь, тятя, давай...»

— «Кузя, ты что, сыночек?!
— «Слышишь, тятя, давай отдадим!»
— «Задаром, что ли?»
— «Задаром...»
— «Цыть, сопляк,
не смирился ты,
Гордец!
Пропадешь ты,
выродок мой!
Так над отцом смеяться!..»
— «Уйди! — прошептал, слабея, Кузьма. —
Уйди!»
Засвистели двери...
«Муку забери!»
Метнулся Кузьма,
мешок уцепил руками,
свалил его, покатил за порог
сквозь сени.
Сорвал завязку,
грудью в сугроб столкнул с крыльца
и сам повалился следом...
«Уйди! Навсегда!
Не хочу твоего...
ничего,
что содрал ты с кровью!..
Отзовется тебе,
отольется тебе,
тебе
и другим,
на свете!..»

Можно даже уснуть на ходу,
ступни бы если так не ломило.
Идет к колодцу.
На холоду
его совсем покидает сила.
Легкий,
он виснет на журавце,
пока не сорвет с ледяного припая.
Белеют пятнышки на лице,
и сон приходит,
глаза слипая.

«Эй, в колодец слетишь, сосед!»
— «Федя!..»
— «На срубе уснул.
Гляди ты!..»
Федор Бабаев и сам присел
на край колоды,
глаза закрыты.
Они, себя тормоша, берут
воду,
в каждом ведре по кружке,
несут,
совершая великий труд,
идут,
мешая уснуть друг дружке...

В марте
семнадцатого числа
Волга проснулась,
вздохнула Волга,
лед разорвала
и понесла.
Как ты, родная, томила долго!
Бушует над Волгой ледовый гром,
крыги на острова полезли.
Быково
дышит
распухшим ртом
в жару
голодной своей
болезни.

Кузьма, отталкивая полусон,
шатаясь, шел добирать солому,
раз десять
с охапкой садился он,
пока проходил от сарая к дому.
Наташа, держась рукой за шесток,
затапливала от последней спички,
слушала:
булькает кипяток, —
рогач покручивала
по привычке.
Потом на крыльце сидели вдвоем
и удивлялись:

«Весна, смотри-ка!
Небо чистое, как водоем!»
Тихо:
ни рева, ни зова, ни крика.
«Кузя, ведь это из-за меня
твое мученье...»
— «Наташа, что ты!
С тобой мы
единственная родня!
Пускай подавятся,
живоглоты!
На всём:
на пожарах,
на голодах —
руки греют!..
Уедем, Ната?
Так-то не бедствуют в городах,
хлеб в городе есть,
говорят ребята».
— «Боюсь я!..»
— «В Царицыне будем самом,
двенадцать часов отработал — и дома».
— «Боюсь я...»
— «И книги там...
Люди с умом...»
Всё кружит и кружит тяжелая дрема.

Сидели и слушали:
нет ли гудка?
Гудки мерещились,
выли,
звали.
Пароходы издалека
наплывали и наплывали.
Он глянул на солнце, резь превозмог,
увидел:
с краями полная чаша,
в ней солнце,
пуская легкий дымок,
кипит и булькает, словно каша.

10

ВАРЛАМОВ

Ну что же там качается
чуть заметной точкой?
Течение несет,
волна толкает в бок.
То кажется арбузом,
то бакеном,
то бочкой.
Кузьма плывет,
устал.
Гребок,
еще гребок...
Вот рядом, брать пора,
но волны взяли сами.
Он вновь подплыл — волна рванулась вскачь.
Кузьма нырнул,
и вот плывет перед глазами
разбухший на воде
громадный калач.
«Наверно, с парохода иль с пристани упал он», —
решил Кузьма
и тихо
толкнул калач вперед.
А берег далеко,
чуть видно — валит валом
на берег —
еле видно —
сбегается народ.
«Калач!» — кричит Кузьма.
Над Волгой эхо тает.
«Плыву!..»
«У-у...» — разносится вдоль вспененной реки...
Калач плывет,
вокруг него рыбья стая:
и тощие чехони,
и щуки,
и мальки.
Рукой Кузьма ударит —
пугает,
мало толку.

Нырнул —
увидел снизу:
калач рыбешки жрут,
плывут со всех сторон,
заполонили Волгу,
едят калач,
друг дружку,
его боками трут.
Кричит Кузьма:
«Спасайте!»
И движется рывками,
а люди там молчат,
молчание окрест.
Кузьма плывет,
бьет по воде руками,
и ртом калач толкает,
и ест его,
и ест...

«...Нарочно людей убивают голодной бедой!»
— «В Быкове садились?»
— «В Быкове».
— «А я был на вахте».
— «Не заметь я — подмяли бы...»
— «Совсем молодой!»
— «Их двое! Девица — у буфетчицы Кати».
— «Его не видали тут?»
— «Нет».
— «Не пускай никого,
и так уж доносят:
политических возим».
— «Он сильнее листовок,
показать бы его
всем рабочим Царицына...»
— «А куда они?»
— «Спросим...»
— «Я пошел.
Отдежурю у Пролейки — зайду».
Сквозь шепот
выступил металлический клёкот
и мощное уханье двигателя на ходу.
Взмыл привальный гудок,
раскатываясь далёко.

Встрепенулся Кузьма,
приподнялся —
и снова
на подушку склонило.
Сиял в потолке огонек.
«Спите? ..»
Голос напомнил ему полушепот
до слова.
«Как же я ослабел так? ..»
— «Ничего, паренек».
— «Паренек, а Наташа?»
— «Жена? Молодые ребята!
Что ж, она молодцом!
Быковские, значит...
Кто я?
Я механик.
Ушел кто?
Значит, ты слышал, а я-то...
Тот
масленщик Степан Близнецов,
мы друзья.
Ну, а ты чей?
Денисов?
Фамилию слышал как будто».
Кузьма промолчал,
всё глядел
на седые вихры, на плечи крутые...
«Это ваша каюта?»
Механик кивнул:
«Да, моя, до поры...»
Каюта подпрыгивала,
и необычно сияли
пузырьки в металлических сетках у потолка.
«Это и есть электрический свет?
А нельзя ли
взглянуть на машину?»
— «Всё можно.
Лежите пока...»

11

ГОРОД

«А вот и Царицын!
По названью привычен,
только городом царским не был он,
молодой.
Так ордынцы прозвали:
Желтый остров — Сари́-Чин,
И речушку
Сари́-Су звали —
желтой водой».
Варламов с Кузьмой и Наташей смотрели
из окна.
Пароход вышел на разворот.
«Не забыл?
Значит, спрашивай:
слесарь Апрелев.
На французском он,
в «русской деревне» живет».
Из пролета
толпа понесла,
а навстречу
гологрудые грузчики мчались гуськом:
«Эй, изволь,
сторонись!
Задавлю!
Изувечу!..»
Сзади в спину татарин толкал сундуком.
Понесло через пристань,
на мостки отшвырнуло.
Гнулись доски к воде под напором людей.
Горы бочек и ящиков.
С берега дуло
крепким запахом пота, рогожи, сельдей.
Шли, держась друг за друга;
от берега в гору
деревянная лестница круто вела.
Высоко как! И страшно!
Вернуться бы впору.
Одолеешь ступень, а нога тяжела.
Шли и шли, задыхаясь.
На площадках скрипучих
спали, резались в карты, ревя, босяки,

и лежали кругом
на обветренных кручах
бородатые дети великой реки.
Шли и шли...
Всё кружилось в глазах.
На ступени
приседали
и видели Волгу внизу.
Две тяжелых косы уложив на колени,
тихо-тихо
Наташа глотала слезу.

И опять поднимались —
нелегкое дело.
Шли.
И вот увидали:
вокруг поплыла
карусель из домов
без конца,
без предела.
В небе ухали,
ахали колокола.
А базар!
Крепок дух енотаевской воблы.
Мед арбузный —
как память осенней страды.
У возов запрокинуты в небо оглобли,
сине-красные
тлеют мясные ряды.
Дом на доме увидели, выйдя к базару,
есть из камня дома
с кружевами резьбы!
Как пружины,
крутились до облака яро
майской пыли густой вихревые столбы.
А народ всё бежал!
Их волна захватила,
у собора притиснув, сдавила бока.
«Главный колокол!»
— «Ну?!»
— «С нами крестная сила!..»
— «Пуда два откололося
от языка».

— «Двух купцов подсекло!» —
голосили кликуши.
«Не купцов, а паломников!»
— «Вот она, медь...»
А вокруг,
оглушая мещанские души,
церкви в разных концах продолжали греметь.
Задыхаясь в пыли,
в перегуде,
в тревоге,
лез Кузьма,
ограждая Наташу рукой,
и сжимались сердца,
и не слушались ноги,
и глаза застилало тревожной тоской...
«Где французский завод?»
— «Там, верст семь напрямую...»
— «Кузя, может...»
— «Ты что?»
— «Страх на каждом шагу!
Ну, куда мы!..»
— «Идем!
Лучше смерть, но иную.
Я, Наташа,
на землю глядеть не могу...
Нет, не мать она нам...
Размела по дорогам.
Чуть собой не накрыла
землица сама».
— «Кузя, грех...»
— «Я готов повторить перед богом.
Навсегда нам запомнится
эта зима...»

12

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Французский завод ДЮМО гудит и пышет жаром,
семь труб стоят,
пуская оранжевые дымы.
Сначала дрожь земли казалась
кошмаром,

потом — привычкой,
жизнью
оглохшего Кузьмы.
Жили у Апрелевых в землянке незрячей,
в банном овраге.
Овраг был ничей.
Сверху сор валили,
дымился шлак горячий,
у порога пенился мыльный ручей.
Землянки лепились по оврагу за банями,
друг в дружку упирались, одна над другой.
«Русские деревни»
французской компании
завод приторачивали к Волге дугой.

Двенадцатый год.
Царицынское лето
ушло,
угомонилось в студеном ноябре.
Апрелев и Кузьма выходят до рассвета.
Кузьма два года
грузчиком на шихтном дворе.
Апрелев — весельчак, не унывает сроду.
«Держись! — его словцо. —
Не бегай от дел.
Ничего, Кузьма,
привыкай к заводу.
Я в пятом
за него
свое отсидел!»
Усы Апрелев гладит.
Кузьма шагает хмуро,
«Стеснили вас, Иваныч,
землянка тесна».
— «С ума сошел, Кузьма!
Наверно, баба-дура
сказала что!
Построитесь — будет весна.
Ты лучше скажи: пойдешь со мной в бараки?»
— «Пойду...»
— «Будет гость».
— «Кто?»
— «Увидишь сам.
Надо нам готовиться к новой драке.

Держись!»
Апрелев водит рукой по усам...

*

«Товарищи!
Ленин нас учит быть стальными.
Гоните ликвидаторов рабочей метлой.
Живет большевизм!
Мы справимся с иными.
Сплотим ряды теснее,
трусливых долой!
Рабочие ДЮМО не предадут традиций!
Не будем выпрашивать подачек и льгот!
Сам всего добьется рабочий Царицын!
Наши силы крепнут!
Вернется пятый год!..»

Свечка отбрасывает тени густые.
Горячо, чуть слышно говорит гость.
В сердца западают слова простые.
Слушают люди, сжатые в горсть.
Гость русоволосый и смуглолицый,
молодой, рабочий — видать по всему.
«Только что из ссылки —
и опять не боится! —
Кузьма подумал. —
Дело дороже ему!»
Потом услышал голос, знакомый еле-еле.
«Вот молодец, разворошил сердца!»
И в сумерках увидел...
Он? Неужели?!
Рядом с докладчиком — знакомый с лица.
Кузьма пробрался к выходу, знакомому
навстречу.
«Товарищ Варламов, узнаете меня?»
Варламов развернул тяжелые плечи.
«Постой, —
сказал,
руками других стороня, —
знакомое лицо, где-то я вас видел.
Кузьма Денисов! Вот как! Я рад за вас!
За адрес не ругаете? Иваныч не обидел?
Да, он на дружбу крепок:
рабочий класс!»

— «По одному, товарищи,
время такое,
черносотенцы лютуют!»
— «Намнем бока!»
— «У нас филер «Подошва» не знает покоя!»
— «До новой встречи!»
— «Тише!»
— «Ночь глубока!..»
Пошли втроем.
Апрелев уговорил: «До кучи!»
— «А как же вы в Царицыне?»
— «За вами вдогон, —
Варламов засмеялся. —
Выдался случай —
зимовать поставили в царицынский затон.
Вас, кстати, электричеством,
помню,
задело.
Как раз моторы будем чинить зимой.
Хотите — поучимся,
найдется и дело...
Ну как?
Французский жалко?
Вернетесь весной».
Кузьма молчал,
не в силах отыскать слова.
«Держись! — толкнул Апрелев. —
Берись, Кузьма!»
— «Спасибо, я согласен».
— «Вот это толково!..»

В ту ночь побелело. Началась зима.

13

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БУНТ

Тринадцатый год.
Весна.
Гудит Царицын.
По Гоголевской шествуют, едут, снуют
сытые купчики,
дебелые девицы.
На губах прохожих
папиросочки «Ю-Ю».

В электротеатр «Патэ» лезут резонно:
«Из клуба парижской молодежи фарс —
сильно потрясающая лента сезона:
«В когтях полусвета»
начнется сейчас».
Праздник трезвости —
общественное дело.
Ресторан «Конкордия»
сбился с ног.
Пятые сутки
размашисто, умело
гуляет
«Князь Серебряный» —
купеческий сынок.
Стоит на Княгининской —
сапоги до глянца —
городовой Бросалин — руки в бока.
Строем прошагала
в баню Саномьянца
пятая рота Аткарского полка.
«Солдатики наши!
Враг, не надейся... —
Машут платочками:
— С вами бог».
Тупоносый
лакированный
ботинок «Вейса»
сильно запылился громом сапог.

Окна открыты.
Сладко зевая,
заседает Дума.
Третий год
вопрос один и тот же:
«О проводке трамвая
на французский
и дальше,
на Пушечный завод».
Фон Остен-Сакен,
голова Царицына,
рукой размахнулся:
«Прошу, господа!»
Лапшин (лесозаводчик):
«Пора договориться нам,

Зачем трамвай рабочим?
Ездить?
Куда?
Вы слышали: опять там аресты.
Права им
давай.
И революцию. —
Он сжал кулаки. —
Ну что ж, пойдем навстречу:
удобней трамваем
возить листовки Ленина,
плодить кружки.
Хотите,
чтоб они заполонили город,
к моим заводам ринулись,
к дому моему?
Меж ними надо ставить
железные заборы,
какие там трамваи,
еще б одну тюрьму! ..»
Конщик Верхоломов подскочил на месте:
«Я б это электричество
не пустил на порог.
Зажал бы всяких умников:
не лезьте, не лезьте!
По горло хватит пара
и железных дорог».
Встал Сакен:
«Этих умников от голода распучило.
России электричество —
как корове седло.
Да...
в среду
на Скорбященской
сжигание чучела
«Гидра революции» —
вот будет светло!»
Похохотали сладко.
«Проголосуем или
отложим рассмотрение?
Как, господа? ..»
Вдруг полыхнуло:
«Караул!
Убили!

В бане Саномьянца».
— «Что там?»
— «Беда...»
— «Р-р-разойдись!»
— «Р-р-разойдись!»
Городовой Бросалин
ведет сквозь толпу храпящих коней.
Сакен в карете дергает усами.
Лезет полицмейстер в паутине ремней.
«Что тут такое?»
— «Ваше величество!..
Ваше превосход... (захватило дух)».
— «Ну!»
— «Слушаюсь...
Тут электричество
солдатиков побило в бане. Двух.
Проволока висит там,
солдатикам ново.
Стирали.
Приспособились вешать мытье.
Как она даст!
Один — за другого...
Землей обложили, но, видать, не житье.
Другие разбежались голые прямо,
обратно не загонишь: боятся, и на».
— «Р-р-разойдись!»
Вокруг напирали упрямо.
«Ведут!»
— «Пымали!»
— «Попал, сатана...» —
Взвыла толпа, давясь в переулке.
Ведут городовые преступника в кольце.
«Бей его!» —
потянулись скрюченные руки.
Он виснет от ударов,
кровь на лице.
«Ваш-ство,
вот он,
в бане кочегарил,
играет с электричеством
от большого ума...»
Сакен усмехнулся...

В уши ударил
слезный,
задыхающийся крик:
«Кузь-ма-а-а!»

Наутро газеты
от слез раскисли,
«Царицынский вестник» плачет в платок:
«Возмущение
царицынской
общественной
мысли.
Вот к чему приводит электрический ток».
«Убиты солдатики — осиротели ружья.
Пусть местных умников
власти уймут,
дорого обходятся их выдумки досужие».
Брызжет слюною
электрический бунт.
«Простые обыватели — нас большее количество —
мы требуем защиты от всех озорников».
«Требует Царицын:
уберите электричество.
Будем жить, как жили
во веки веков».

14

РОДНЯ

«Не будут!
Не будут так жить на свете! —
солдат начинал разгон. —
Не будут!
А мы за это в ответе —
и ты,
и я,
и он!
И он».
Солдат показал на нару,
там Федор к стене прирос,
на плечи,
вздрагивающие от жара,
лег
вчерашний допрос.

В решетку влетают охапки пыли,
душит жарой тюрьма.
«А люди-то,
люди...
Камнями били,
звери!» —
вздохнул Кузьма.
Солдат забегал.
«Не звери...
Это
тьма,
понимаешь, друг.
До электрического ли света
сейчас им!
Взгляни вокруг:
темь вековая,
нужда в народе,
им нужен другой свет...
А ты с электричеством...
О свободе,
о жизни
дай им ответ!
Хотел чигирями спасти Быково,
ну, выстроил,
а кому?
Отцу и надо тебя такого,
ты жар загребал ему.
Бабаев тебе рассказал...
Иную
имел ты мечту,
а он
раскинул плантацию поливную,
торгует твоим умом».
Кузьма прервал его:
«Слушай, Яша,
я сам же порвал с отцом,
уехал...»
— «Не бегать — задача наша,
а драться,
к лицу лицом!
Вон Федор рассказывал,
снова голод,
спасет их чигирь? Ну да!»

Рука солдата сечет, как молот,
он ходит туда-сюда.
Кипит он, ходит, не зная покоя.
«Должен орел упасть!
Потом электричество
и всё такое...
Сначала
земля и власть!..»
Кузьма обернулся движеньем нервным
на тягостный звон дверной.
Смотритель выкрикнул:
«Яков Ерман!»
Солдат прошептал:
«За мной».
Бабаев вдруг произнес чуть слышно:
«Солдатик-то с головой!
Давно он?»
— «Вот лето второе вышло,
вбросили,
чуть живой...
В казармах мутил...»
— «Большевик, я вижу.
Как ты, собирал кружки».
— «А ты?
Кузьма, подойди поближе...»
Глазами сошлись дружки.
«Варламова знаешь?»
— «А ты? Откуда? —
сказал он. —
У нас ведь связь!
Царицын — Быково!»
— «Вот это чудо!
Федя, родня нашлась!..»
— «Тише, — Бабаев уже не видит, —
молчи, отдышусь пока...».
— «Не будет! —
подумал Кузьма. —
Не выйдет
так жить,
как жили века!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НОВАЯ ВСТРЕЧА

1

ПЕРЕД СЪЕЗДОМ

Восходит
затуманенное солнце,
дымки из труб на Волгу отмело.
Журча глубинной силою колодцев,
родное просыпается село.
Быковы хутора на крутояре.
В Заволжье снегу — избам до плечей.
Запели двери.
Утренник в разгаре.
Дрожат на стеклах блики от печей.

Я, как любой,
увидев направленье,
план партии — мечтания ее,
в них нахожу
свой путь,
свое волненье,
сердечное веление свое.
Я вижу...
...Пристань дернулась, осела,
мостки прогнулись, шлепнули волну.
А он уже на кручу вышел смело,
пошел,
пошел, сминая тишину.
Крича, в песок отряхивая брызги,
я вылетел из Волги.
Все — за мной.
Я, сын вдовы, Натальи-коммунистки,
наслышался о нем еще зимой.
Растет толпа, и надо торопиться.
В шипах колеса!
Сила хоть куда!
Ехидный дед подкинул палку в спицы.
от удивленья — набок борода.
Так трактор шел, выхлопывая тонко.
До вечера гудели голоса:

«Цепляй косилку!»

— «Все садись!»

— «Силенка!..»

Не отставали мы от колеса.
И стало всё вокруг каким-то новым.
Лампешку долго жгли у нас в избе.
Когда поднялся месяц над Быковым,
я трактористом снился сам себе.

Под утро
мамин выкрик полусонный:
«Наш трактор!..»
Побежала,
я вослед...
Рассыпались, искали — пеший, конный.
Перекликались люди.
Плыл рассвет...
А трактор уходил, теряя силы,
шел ранней степью.
Волга впереди.
Они вожжами руль ему скрутили,
пустили.
«Ну, партеец, уходи!»
— «Иди и не мути!» —
кричали хрипло,
разбили фару, чтобы не глядел...
И ночь к стальным шипам его прилипла.
Так шел он, одинокий, и гудел.
Мял молочай, кусты.
Овраг — преграда.
Лез, выбирался.
Снова брал разбег.
Доверчиво он думал: значит, надо,
раз уж его направил человек!
Так уходил,
хмелел в горячей дрожи,
давил сулячьи норы за бугром...
Проснувшееся
слышало Заволжье
торжественный
его предсмертный
гром.

Мы след его над кручей отыскали.
Рыдала мать.
Запомню навсегда.

А в это время из далекой дали
на Волгу к нам слетались поезда.
В ста километрах ниже по теченью,
вниз, по свеченью полных волжских вод,
открылся трудовому ополченью —
пока на кальке — Тракторный завод.
И правда жизни,
                    чистая, прямая,
работала, готовя торжество.
Пошли,
        пошли,
                сметая и вздымая,
родные братья трактора того.

Я не в укор припомнил день тяжелый,
село мое.
            Я сын твоей судьбы.
Пусть будет поколеньям верной школой
нетленная история борьбы.
То было наше давнее начало,
нам каждый шаг давался нелегко.
Но партия звала нас,
                        научала
и, как всегда,
                глядела далеко!

Листаю я летящие страницы
твоих высоких замыслов, страна.
Гляжу в глаза,
заглядываю в лица,
произношу родные имена.
Быковы хутора в метели вижу,
разлет электромачт невдалеке,
в ста километрах по теченью ниже —
громаду Гидростроя на реке.
Сияет беспредельно белополье,
морозный воздух чист — гляди насквозь.
Влилось село соседнее, Раздолье,
что раньше Голодаевкой звалось.
А выше — Жигули.

Идут по селам
энергомагистралей провода,
и кружит оживлением веселым
машины наши волжская вода.
Вода придет,
просторы изменяя,
теплом нальет твой колос и арбуз.
Ответь на это, родина степная,
я за твои мечтанья
не боюсь.

Под снегом —
горизонт озимых пашен.
Колхозный двор моторами прогрет.
Так воздух чист —
дорога жизни нашей
видна на много верст,
на много лет.

2

ОТКРЫТИЕ ВОЛГИ

«...А в октябре мы Волгу
перекрыли!
Мы покорили Волгу!
Посмотри...»
Но я еще не мог себе представить
ее покорной, перекрытой.
Нет,
не мог ее представить
перекрытой.
Я молча вспоминал все эти годы,
все годы проплывали, как плоты.
Плотовщики мне вспоминались.
В детстве
мы с берега кричали по воде:
«Эй, пароход далеко ль обогнали?..»
По целым дням на берегу сидели.
«Плывет!» — ныряли в теплую волну,
саженками, туда, где, чуть мелькая,
на волнах плыли круглые арбузы,
упавшие с больших дощаников.

Я слушал:
«покорили», «перекрыли».
Стихи читали:
«Волга нам сдалась»,
«Бушует разозленными волнами».
Всё время думал: что-то тут не так,
есть в тех словах какая-то неправда...

Знакомая дорога до Рынка́.
Я поклонился Тракторному низко:
«Пока! Вернусь еще. Приду к тебе!»
Чем ближе Волга, тем трудней дышать.
Скорей, скорей...
И вот она, родная,
открытая для взора. В январе!
Расталкивая тоненькие льдинки,
наш катерок пошел — зимой! — пошел
и в этом поединке мнил себя
атомоходным ледоколом «Ленин».
Процеженная цепью водосбросов,
слетала вниз тяжелая вода,
до дна ныряла, выплывала вновь,
опять плыла стремительно и бурно.
Вдали белели волны-плескуны.

Горячая пора на Гидрострое —
быстра весна...
Горячая пора!
Когда у нас пора была холодной
с тех пор, как шли на Зимний в ноябре,
«ура» крича, пот рукавом стирая?!
Горячая пора зимой и летом,
с утра и до утра — там, на войне.
На целине — горячая пора.
Горячая пора бригад ударных.
Пахать пора!
В Быкове, там, у нас,
весенние ветра уже подули,
кора земная влагой налита.
А урожай!
Горячая пора!
Пора на трактора и на комбайны.

И мне пора,
пора перу и чувству
не как вчера, а вновь, как никогда.

Весна стучится в шлюзы Гидростроя.
Густой туман клубится у воды,
кочуют в нем огни электросварки.
Под эстакадой —
если смотришь вниз —
летит вода до головокруженья.

Владимир Александрович Кулагин,
механик кранов, мой хороший друг,
надежный парень с крепкими руками,
застенчивый, как все большие люди,
рассказывал мне новости.
Мы шли
по всей стреле незыблемой плотины...

*

«А в октябре мы Волгу перекрыли»,
«Мы покорили Волгу — посмотри...»
Да, я смотрел
сквозь сетку водной пыли
на то, как волны по бетону били
и сразу закипали изнутри.
Отсюда, с эстакады, видел снова
начало моря.
Дальше я глядел,
на разворот простора ветрового
сквозь снеговой волнующий предел,
по Волге вверх, за кромку небозема,
за бело-синий дальний окоем,
где вся земля
по памяти знакома...

Так мы стояли
с Волгою вдвоем.
Несла мне Волга радостные вести,
летя ко мне последнею волной.
«Быковы хутора —
на новом месте,
не место —
жизнь пахнула новизной».

Да, я глядел, вдыхал родимый запах.
Так пахнет хлеб, и солнце, и вода,
и Волга летом, в солнечных накрапах,
и сладкий пот счастливого труда.
Да, я глядел внимательно и долго.
Вдруг вспыхнули и брызнули огни.
И я узнал их:
это капли Волги
пошли в поля, пошли, пошли они!
Смеялась Волга, ласково искрилась,
не перекрыта и не заперта.
Мне вдруг в улыбке Волгиной открылась
неправда этих слов,
неправота.
Так смейся, Волга, в белопенном вале,
я узнаю твою былую прыть.
Тебя мы, Волга, не перекрывали.
Да разве можно Волгу перекрыть?
В разливе будь,
шатайся ледоходом,
преграды нашей
нет тебе нигде.
Мы перекрыли
путь своим невзгодам.
Мы перекрыли
путь своей беде.
Теперь — простор твоей свободной силе.
Гуди,
гуляй, свободная вода.
Не перекрыли мы тебя —
открыли
и окрылили, Волга,
навсегда.

3

ДОРОГА СТЕПЬЮ

Пять дней подряд
мели холодные метели.
Из Волжского в Быково нет пути.
Сегодня вышел —
ветер веет еле-еле,
так, значит, можно и попутную найти!

Иду один
вдоль судоходного канала.
Из котлована вверх
до снежной белизны
восходят стены шлюзовые,
сроку мало,
им надо встретить навигацию весны.
Я помню
вёсны штурмовые Волго-Дона:
мороз с утра,
а в полдень — дождик окладной,
метель и оттепель опять.
Всё так знакомо.
Так шел
и думал я
о женщине одной.

*

На грейдере мне повезло:
идет в район колонна.
«Хоть кое-где перемело,
но всё же будем дома!..
Ты из Быкова сам?
Теперь
село переселилось
и не узнать его, поверь.
Вот жизнь, скажи на милость!..»
— «Пошли копать.
Опять затор.
Машин тут очень много,
зерно вывозим до сих пор,
а видишь сам: дорога!..»
Так едем.
Через полчаса
опять покинь кабину,
лопатой рой у колеса
так, что ломает спину.
Стара команда «раз и два»,
а поднимает совесть,
плечами жмем на кузова,
в снег уходя по пояс.

И надрывается мотор,
дыша в кабину жаром.
Шофер продолжил разговор:
«Уходят силы даром.
Шоссе не дешево пока,
но наше бездорожье
обходится наверняка
значительно дороже.
Другое — лет пяток назад.
Для каждого колхоза
коней хватало за глаза,
зерна — на два обоза.
Бывало, сразу нагружай,
нехитрым дело было —
положат полный урожай,
вези, тянись, кобыла...
А то —
и рады новине,
и страх.
Вот так и возим.
Пустить бы сразу
по стране
какой-нибудь бульдозер —
громадный, словно ледокол,
чтоб срыл под корень тропы,
за ним комбайн особый шел,
дорожный, заодно бы.
Стелил асфальт или бетон».
Шофер взглянул несмело,
за свой задор смутился он:
«Пойми, осточертело!
Ну, вот опять...»
Застряли мы.
Работают лопаты.
Опять — в кабину.
Кру́гом тьмы
грузовики зажаты.
«Ночуем, видно...»
Ветерок
повеял вдруг нездешний,
и в эту ночь пришел не в срок
февраль какой-то вешний.
Я в запотелое стекло
глядел на степь ночную.

Вот это зимнее тепло
я жизнью именую.
И был я счастлив в эту ночь
тем, что с землею дружен,
что людям я могу помочь,
что мне товарищ нужен...

*

Давно мы перешли на телеграммы,
и писем не останется от нас.
«Целую. Жду» — и коротко, и прямо,
и долетит скорее — в тот же час.
Хотя дороги наши стали шире,
разлуки стали призрачны, как сны,
когда благодаря Ту-104
перелетаем в зиму
из весны.
И всё же
всё осталось, как и было:
над заметенной пашней воронье
да облака, летящие уныло.
В глазах твоих расплывчатых вранье.
Я помню Волгу в пятнах пересвета,
а на песчаных заплесках следы,
и вновь —
тебя, похожую на лето,
на летний день под солнцем
у воды.
Я вижу — вспоминаю:
степь умолкла,
прохладу тихо к берегу несло,
а у тебя в глазах струилась Волга,
и тень твоя ложилась на весло.
Притихшая река казалась кроткой,
вниз оседали сумерки, как снег,
густая тьма пружинилась под лодкой,
и чайки улетали на ночлег.
Хотелось крикнуть Волге,
крикнуть людям,
земле своей,
всему,
что есть в крови:
«Спасибо, жизнь!..»

Просил:
«Давай разбудим
все берега
признанием в любви».
А ты молчала, век не размыкая,
потом сказала:
«Сыро над водой...
Греби обратно...»

Да, ты вся такая.
Я замирал над зреющей бедой...

*

«Ты что?»
— «Не сплю, не сплю, тихонько брежу».
Я встрепенулся по привычке фронтовой.
«Стонал ты будто бы...»
А сумерки всё реже.
Взревел мотором грузовик передовой.
Но всё ж снега уже как будто обвеснели,
чернеет кое-где озимая земля,
и теплый ветер навевает еле-еле,
он за ночь обаукал все поля.
Да, все поля он обаукал, вешний ветер.
Да, обвеснели и осели все снега.
И замечательно просторно жить на свете!
Как никогда,
земля родная дорога.
Шофер, мой друг, дороги будут,
ты счастливый.
Мы нашу землю обновляем — ей пора.
Встает из-за бугра, за снежной гривой,
село мое, мои Быковы хутора.

4

СТАРЫЙ КОММУНИСТ

Два дома через улицу
смотрят друг на друга.
Два друга
часто видят
в окно один другого.

Встречаются. Поклонятся:
«Здорово!»
— «А, здорово!..»
Уже обоим головы посеребрила вьюга.
Года идут.
Года идут.
Они молчат про это,
вот разве пионеры расспросами встревожат.
Нет, не считают пенсию
получкой с того света.
От них ты не услышишь, что век, пожалуй, прожит.
«Привет, Никита Лаврович!» —
Квитко протянет руку.
«Садись, Михал Петрович!
Ты что приходишь редко? —
Юфатов выйдет в горницу:
— А вот и табуретка...»
Садятся.
Улыбаются
взволнованно друг другу.

«...Не довелось учиться.
Не брали пришлых в школу.
(В Быково переехал отец с верхов когда-то.)
Юфатовы, мы сроду грузчиками были.
А в девятьсот четвертом...
Значительная дата! —
Смеясь, Никита Лаврович спросил: —
Ты помнишь, Паша?»
— «Ну, как же!
Как вчера. Прошло, скажи на милость!» —
Прасковья Александровна
задорно улыбнулась,
в глазах ее далекая юность заискрилась.
«Вот тут я подружился
с Мазуровым Гаврилой.
Бывало,
нам читает по книгам непонятным.
О Ленине
услышал я от него впервые.
Но только темный был я.
Его забрали в пятом.
Меня на службу взяли. Я отслужил.
Услышал:

в Баку живет Мазуров.
Дорога нам открыта,
поехали мы с Пашей.
У Нобеля работал.
Мазуров снова:
«В партию запишись, Никита».
— «Постой, Гаврил Герасимович,
дай с мыслями собраться».
В четырнадцатом дунуло горячими ветрами.
Мазурову дал слово:
«Вернусь — иду с тобою!»
Был ранен.
А в семнадцатом в большевики избрали».
— «В партии вы не были, а как же. . .»
«Вот избрали.
На слет большевиков нас выдвинула рота.
Пошли громить Корнилова —
от Питера прогнали.
И в октябре
всех временных махнули за ворота.
Так и пошло.
Был в запасном, в Москве.
По всей России
с заданьем — агитировать —
вдвоем с дружком послали.
По взбудораженной стране в теплушках колесили.
Мы полк тогда
за Ленина
подняли в Ярославле.
. . .Приехали в Быково.
Тут первого июля
я в партию вступил».
Разбередило душу.
Прасковья Александровна с улыбкою вздохнула:
«Я тоже
с восемнадцатого в партии.
По мужу! . .»

*

Смотрю: вот человек —
семьдесят три года.
А сколько бурь шумело над головою этой!

Старый коммунист,
сын русского народа,
зажегшего свободу,
как знамя,
над планетой.
Еще не отдыхают его большие руки.
Чуть свет — он на работу.
Смеркается — с работы.
Уже в ученых ходят талантливые внуки.
Устал?
Устал, конечно.
На отдых?
Нет охоты.
Я думал о себе:
чем старше, тем старее.
Что ты расскажешь людям?
Что навсегда подаришь?
Ты не кривил душою?
Ответь себе скорее:
товарищ ты кому-то?
Есть у тебя товарищ?
А ты готов к тому,
чтоб выступить в дорогу,
отбросив все обиды,
прервав и вдохновенье,
перешагнув сомненье свое
и самомненье?
А ты готов в дорогу,
в опасную тревогу?
Готов ты налегке
шагать — рука в руке,
шагать с другими в ногу
на смертном сквозняке?
Готов ли ты в дорогу?..

*

Грохочет девятнадцатый.
Деникинская свора
нахлынула в Заволжье.
Захвачено Быково.
Тридцать три штыка
и тридцать три затвора
в отряде у Юфатова,
в отряде военкома.

Уездный исполком сзывает коммунистов, —
Мазуров приказал
не отступать ни шагу.
И высверкнуло сразу из ножен сабель триста.
Орешкин — командир.
Видать его отвагу.
Орешкин в бой идет.
Орешкин рубит с лёта.
Посыпались кадеты от натиска такого.
Шли дни и ночи тесно,
как лента пулемета.
В августе
вздохнуло
свободное Быково...

Юность упала в битве,
но умереть не могла.
То, что любовь уронила,
ненависть подняла.
Как некрасив, товарищ,
твой деревянный тулуп!
Страшно живому сердцу
слышать молчанье губ.
Собрался ты жить, товарищ,
а жить не довелось.
Слушают,
слышат люди
шелест твоих волос.
Мы сделаем всё,
чтоб вечно
святой для людей была
братская эта могила
посереди села.
Прощай, дорогой товарищ,
строится рота вновь.
Ты знаешь,
боец свободы,
что кровью смывают кровь...

Казненных хоронили, не плакали от боли.
Над братскою могилой клялись добить кадетов.

Теснили до Погромного,
догнали в чистом поле
и за Царицын вынесли
на штыки надетых.
Степные кулаки ловили продотряды.
В банды собиралась вся саранча степная.
Опять пошли пожары,
разоры
и утраты.
Вновь вышли быковчане,
нечисть подминая.
Бросали нас в степные протухшие колодцы,
нас кулачье пытало, разутых и раздетых,
но шли мы, коммунисты,
но шли мы, комсомольцы.
И защищали кровью
родную власть Советов.
И крепла власть хозяев родной земли
законных.
Обрезы сторожили тебя в ночах неверных.
О, поколенье
первых
секретарей райкомов
и первых
председателей колхозов,
самых первых!

*

Одетое метелью, село уже заснуло,
под голову сугробы высокие подмяло.
Прасковья Александровна подставила два стула,
чтобы с меня
нечаянно
не слезло одеяло.
А мы всё не ложились,
так долго мы сидели.
Быково спит.
Что видится тебе на новом месте?
Что снится
этой ночью
под ровный гул метели?
Я сразу засыпаю
на сундуке,
как в детстве.

5

В МОРОЗНУЮ НОЧЬ

Ночь морозная.
Светло,
Отмели метели.
Остаются до весны малые недели.
Что хожу я, что ищу —
улица пустынна.
Жду, чтоб сердце после дня
наконец остыло.
Звезды в синей вышине
тихо гаснут сами.
Спят Быковы хутора
со своими снами.
Вот оконце.
Виден свет.
Дом знаком немного.
Это кто же запоздал?
Или есть тревога?
Нарисован на окне
керосинной лампой
неподвижный человек
с головой кудлатой.
Угадал я, и смеюсь:
мается парнишка.
Не шпионская его приковала книжка.
Приходил ко мне на днях
и читал несмело
начинающий поэт из райфинотдела.
«Вот стишок про соловья, —
говорил он глухо. —
Вот про выборы.
Идет выбирать старуха.
Вот составил про Москву.
Не бывал? Не важно!..»
И листал он, и листал,
и читал протяжно.
Я видал его потом —
вот они, поэты! —
мимо почты он ходил,
будто ждал газеты.
Догадался я, войдя,
в этом нету чуда:

телефонничает там
тоненькая Люда!
Я смотрю на свет его,
понимаю, парень,
этой темой я не раз
был и сам ошпарен.
Знаю, сам писал стихи —
дело не простое,
трудно стройно говорить,
на канате стоя.
Знаю, мучает тебя
тишина немая,
ищешь нужные слова,
карандаш ломая.
Очень трудно начинать,
подчинять размеру.
Ну, давай же помогу.
Если так, к примеру:

Я безлюден,
нелюдим,
ночь такая трудная!
Дразнит именем твоим
почта многолюдная.
Лунный свет блестит слюдой...
Все слова с причудой!
Написал «Слюдой» — сейчас,
а читаю: «С Людой».
«Лю... — прислушиваюсь, — да».
Это что такое?
Не отпустишь никогда
и не дашь покоя.
Перепутал все слова —
быть великим бедам.
Убегу на острова,
буду людоедом!

Я иду, смеюсь себе,
только грустно что-то,
в Дом колхозника идти
вовсе неохота.
Ты, глядящий на меня
будто бы на мага,

не завидуй мне:
у нас ведь одна бумага.
Знаю,
предстоит тебе
путь нелегкий,
длинный.
Я завидую тебе
завистью старинной.
Не умеешь брать слова,
подражаешь детям,
поменялся бы со мной
неуменьем этим!
Лепетать стихи хочу
в дело и не в дело,
думать:
вечность впереди,
жизни нет предела!
Пусть бы рвал меня опять
белогривый критик,
что в песок уже ушел,
желтой желчью вытек.
Начинающим хочу побывать сначала,
чтобы мучила строка,
лопалась,
звучала.
Чтобы сердцем молодым
трепетать от гуда,
чтобы улыбнулась мне
тоненькая Люда.

6

НОВАЯ ВСТРЕЧА

Вчера метель утихла.
По дороге
вчера весь день ходили трактора,
утюжили угольниками грейдер
до Волжского — сто тридцать километров
и сорок — в Николаевский район.
Сегодня до рассвета шофера
полезли под машины, грели днища,
носили кипяток из кухни чайной,
поили радиаторы.
Светало.

Шофер из Николаевки грустил,
гремел он умывальником и фыркал:
«Неделю еду я из Сталинграда:
на переправе ГЭС торчал две ночи,
две ночи на дороге спал в кабине,
теперь вот тут...»
— «Да все мы так, погода!» —
пытались утешать его вокруг.
«Везу я пиво райпотребсоюзу.
Да, пиво!
                    Понимаете, нам дали!
А как не взять — мы вкус его забыли,
и цвет его, и вкус.
Двенадцать бочек!..»
— «Что, пиво?» —
                                        Гул пошел по коридору.
«Конечно, лопнет!»
                                        — «Сдай его в Быкове!»
— «Замерзло, — мы раскупим по кускам...»

Ах, эти черномазые ребята,
худые, с неуемными руками,
да сколько же в них силы — так смеются!..
«Эй, выходи!»
                              И двинулись гурьбой.
Пошли, пошли, ревя, автоколонны.
Пробьются ли? Не знают.
                                                  Будут рыть
забитое сугробами Заволжье.

*

Закончил Двадцать первый съезд работу.
В глазах людей живет его волненье.
Мы стали в эти дни друг другу ближе,
сродненные предвиденьем победы,
предчувствием великих перемен.
Растет в сердцах такое настроенье,
что хочется просить продленья жизни,
благодарить работой день идущий,
дарить отчизне,
партии,
любимой
всё лучшее и главное, что есть.

*

Пойду в райком. Что нового, узнаю.
Быть может, и газеты привезли.
Стучу.
«Да, да...»
А голос незнаком.
Степанов, первый секретарь райкома,
рукой мне показал:
«Знакомься...»
Двое.
Один небрежно и без интереса
назвался вроде «восемьдесят восемь».
Другой...
Мы познакомились давно!

*

Я увидал его на земснаряде,
в забое, где от Волги начинался
и к Дону отправлялся Волго-Дон.
Строительный район Красноармейска
в прорыве был.
Я с жадностью глядел,
как тяжелели веки человека.
Он хрипло говорил:
«Держитесь карты,
фрезу — пониже, выдержит!..»
А ветер,
ноябрьский ветер бил его в лицо.
Я видел: тяжело ему.
Тогда
не стал его расспросами тревожить.
Но он спросил:
«Вы кто?»
Сошел по трапу,
и катер с ним туманом замело.

*

«Давно знакомы, Александр Петрович.
Я вас прервал?»
— «Нет, нет. Итак, больница.
На сколько коек? Семьдесят. А деньги?
Два миллиона? Что-то маловато.
А впрочем, надо посмотреть проект».

Тот, кто назвался «восемьдесят восемь»,
охоту вспомнил.
Назывались дружно
озера:
Ханата, Цаца и Пришиб...
Ко мне пришли воспоминанья вновь.

*

Не раз тогда я был на Волго-Доне.
Товарищи, вы помните, конечно.
Ведь это наша молодость была!
Мы видели, как шлюзы вырастали,
шагающие клацали ковшами
и как из хаоса хитросплетений
рвов, котлованов, арматурных сеток,
дней и ночей авральных, из прорывов,
из подвигов труда, из хриплых споров,
из личных самолюбий, из страданий
и радостей,
удач и неудач —
изо всего, зовущегося жизнью,
изо всего, в чем должен разбираться
начальник над районом,
рос канал.
Я не расспрашивал его о жизни:
она и так была как на ладони.
Его характер?
Багермейстер каждый
опишет.
А дела? Они видны.
Я раза два бывал в его конторе.
Мы пили газированную воду.
А так, чтобы проговорить всю ночь, —
нет, не было.
И время не хватало...

*

Мы стали у окна.
«Здесь будет берег, —
сказал нам секретарь.
— А это сквер».
Мы увидали прутики прямые,
торчащие в заснеженном квадрате.

«Вот, Александр Петрович,
вам не верят —
один у нас засел на старом месте
и не переселяется никак».
— «Так и живет?»
— «Сказал: возьму ружье
и не пущу ни одного обратно,
раз вы село прохлопали в ладоши».
— «Бежать ему придется.
На шесть метров
весной уже подымется вода».

*

Я вспоминал:
когда же это было?
Мы виделись опять.
Я много раз
бывал на Сталинградском гидрострое.
Еще тогда,
в голодном тридцать первом,
мы, ухитрившись взять чужую лодку,
за Волгу плыли в поисках еды.
Нет, не за хлебом.
Хлебом и не пахло
в селе Безродном.
По степным курганам
мы бегали оравой, нападали
на шумные озера, лезли в воду
и рвали с корнем длинную кугу.
Закрученные корни обмывали,
сушили на горячем солнцепеке,
блаженствовали, дети СТЗ.

Я был, когда к Безродному свозили
бульдозеры, кирпич, цемент, железо.
Сновал меж берегами юркий катер —
«Гидрогеолог-89».
И косогор у Ахтубы, где Волжский
стоит теперь, был сусликами взрыт.
Я ездил, ездил,
помню все палатки
на месте нынешнего стадиона.

Как Логинов — совсем на голом месте,
по чертежу — сажать тогда велел
и сам сажал простые хворостинки.
Я встретил их —
теперь на Комсомольской
они уже деревьями шумят.
Еще я помню первый митинг стройки
в честь Волго-Ахтубинского канала.
Два землесоса рыли перемычку,
стараясь дотянуться до флажка.
И Логинов, начальник Гидростроя,
речь произнес.
Летел песчаный ветер,
и люди ликовали...
Годы шли...
Разорвалось у Логинова сердце.

О людях говорить при жизни надо.
И Логинову надо бы сказать,
за что мы благодарны, пусть бы слышал.
Когда глава правительства вручает
награды, произносит имена, —
с волненьем думаешь об этих людях,
за ними видишь тысячи других,
за ними миллионы видишь наши.

Но Логинов не слышит...
Назовите
сад или площадь именем его!..

*

Да, вспомнил!..
Это было ранним летом.
Паромом перебравшись через Волгу,
попал я в Волжский — город молодой.
Я шел по коридору общежитки...
(Что я сказал! Прошу у вас прощенья,
любезная хозяйка.
Я боюсь,
теперь вы мне не отведете койки
за то, что общежитием назвал
«гостиницу повышенного типа»!)
Я шел по коридору, с ним столкнулся.

«Вы здесь живете?»
Да, он тут и жил.
Семья его еще не приезжала.
Мы жили в общежитии.
Ходили
в столовую на завтрак.
Он спешил.
Обедал где-то у себя в конторе,
но, если выпадал совместный ужин,
я у него выпытывал свое.
Он был уверен в людях.
«Раньше срока
построим ГЭС и первый ток дадим...»
(Он воблу ел, чему-то улыбался, —
переживал и вспоминал, наверно,
волнения пережитого дня.)
«Да, строить научились. Мастера.
Большие патриоты. Есть горенье.
Но, Александр Петрович, вы скажите,
как это всё привяжется к деревне?
ГЭС — хорошо. Заводы...
Я объездил
страну.
Да взять хотя бы Сталинград.
Действительно, неузнаваем город!
Но вот село возьмите — мы забыли.
У нас от сел уходят города!»
(В ту пору я давно уже закончил
две части этой длительной поэмы —
признание в любви к земле и к людям,
поэму возвращения к себе.
Часть третью я искал уже два года
по всем дорогам.
Спрашивал: когда же?
В колхозе жил, обдумывая жизнь,
был у министра сельского хозяйства.
Сентябрьский пленум
и Двадцатый съезд
наметили рассвет;
я ждал рассвета,
в Быково приезжая вновь и вновь.)
«Всё повернулось к жизни,
прямо к людям,

всё то, что нами сделано, — для нас! —
заканчивал он разговор обычно. —
И тракторы — деревне.
Будет ток.
И строить будем заново селенья.
Вы видите, как партия людей
нацелила на сельское хозяйство!..»

Днем я встречал начальника на стройке.
То, вижу, он идет по котловану,
то на времянках будущей плотины
уверенно мелькает.
Только раз
в разгаре дня...
Еще в каком разгаре!
Жара такая, что земля дымилась, —
он появился в общежитье вдруг.
Я вышел на крыльцо и с удивленьем
спросил шофера:
«Что-нибудь случилось?»
— «Решил переодеться».
— «А чего?»
— «Встречать жену...
Теперь конец столовке».

*

«Вот и без труб всё дело обойдется. —
Встал Александр Петрович. — Только дайте
мне карту, я возьму ее с собой.
Мы это всё спланируем детально.
Ну что ж, пора идти?»
— «Пора, идемте...»
Покамест я воспоминаньем жил,
в райкоме тут большой вопрос решился.
Я по глазам секретаря заметил.
Он радостно сказал:
«Вот это мысль!..»

Я думал:
так всегда, мешают мне
воспоминанья
видеть день идущий.
Так прозевал я главное сегодня.

Вот если б мыслью залететь вперед,
на сотни верст!
Писал бы я тогда
о будущем свои воспоминанья...

*

А в клубе негде плечи развернуть.
Привыкнув к полумраку, разглядел я:
мерцают любопытные глаза.
«Наш кандидат, начальник Гидростроя,
родился...» —
И пошли места и даты
рабочей биографии его.
Потом посыпались наказы, просьбы:
«Построить РТС.
Поторопить
шаги высоковольтной передачи,
а по колхозам — сами разберем»,
«План семилетки выполним досрочно,
нам помогите с трубами», «Больница
нужна», «И Дом культуры — этот клуб
на двести мест, а нас шестая тыща!»,
«И трубы! Оросить хотим село,
бесплатно мы не просим, есть деньжата:
в пять раз доход колхоза нынче вырос...»
Аплодисменты рушились.
Один
бил, как из пушки, прямо в рукавицах.
Я видел:
Александрову не просто —
чего ты стоишь, скрытое волненье! —
цвета перемежались на лице,
как на металле, взятом для закала
(цветами побежалости зовут их).
Нет жалости у радостей.
Нельзя
к тем радостям когда-нибудь привыкнуть.
Он говорил о Двадцать первом съезде.
Был делегатом.
Только что вернулся.
В распахнутые двери съезда сразу
вошли и быковчане.
Стало тихо...

Я знаю зал Верховного Совета.
Там столько света!
                                        Узенькие парты
с наушниками радио и гнезда
для многих иностранных языков.
Тот зал
и этот зал простого клуба —
сейчас они слились в одном дыханье,
сердца одни, стремления и планы,
и семилетье видится вдали.
Наш коммунизм!
                                        Мы столько лет мечтали:
когда придет он и какою явью —
бесплатным хлебом?
                                        Музыкой великой?
Любовью верной?
                                        Понимаем ясно:
он молодость земли, наш коммунизм.
Он в настроенье нашем, в твердой вере,
в стремительном движенье наших буден.
Мы будем создавать его сейчас!
(Я краем глаза замечаю Надю —
знакомую доярку с ближней фермы,
задумалась и, закусив косичку,
счастливо улыбается о нем...)
«А трубы... —
                                    Я прислушался. —
                                                            А трубы...
Сегодня мы с секретарем райкома
об этом говорили.
                                        Через год
подступит море.
Ближняя вода
придет сюда, в Калиновую балку,
где будет порт.
                                    Возьмем мы эту воду,
насосами подымем на бугор —
там, позади Быкова, местность выше...
И всё», — сказал он.
                                        Мы переглянулись.
А кто-то в зале даже хлопнул робко
и смолк, недоуменный...

«Пусть вода
уже сама оттуда по арыкам
стекает в Волгу снова.
Мы арыки
пророем плугом по всему селу.
Сажайте ивы — пусть шумят деревья.
В сады ведите воду — пусть цветут!..»
А в зале сразу гром такой поднялся,
что задрожали стены.
Я привстал,
увидел вдруг поэму ликований,
ту, о которой так давно мечталось.

Я шел и вспоминал о разговоре
в разгаре лета, там, на Гидрострое,
о городе и о деревне.
Вспомнил
про всё.
И стало весело идти.

*

А всё же и весна не за горами.
В морозе этом что-то есть такое,
совсем необъяснимое, чем дышит
февральское предчувствие весны.
А вот и солнце!
Выставишь лицо,
глаза зажмуришь — кажется, что лето,
привидится песчаная коса,
услышится плеск Волги разогретой...
Арбузом пахнет хрупающий снег.

7

ПОЛНОЧНЫЙ РАЗГОВОР

Вот твой портрет,
где ты прикуриваешь трубку.
Знакомое
до самых оспинок
лицо.
Твоя рука,
что повелительно и крупно
несет на спичке огонька полукольцо.

Село Быково
вьюжит зимними ночами.
Шесть мартов отошло уже —
шесть лет!
Переселяясь к новой жизни,
быковчане
с собою взяли,
сохранили твой портрет.

Дым коромыслом...
У печурки — свел их случай —
погоды ждут, клянут дорогу шофера.
От полушубков пар идет пахучий.
Расспросы,
споры
и рассказы до утра.
И твой портрет.
Он застеклен
и в рамку вставлен.
Привстал шофер один.
И, подойдя,
взглянул в упор
и вдруг сказал:
«Ну, как дела, товарищ Сталин? ..»
Так завязался
наш полночный разговор.

«Вы слышали, что было сказано на съезде?
Теперь пустуют наши тюрьмы,
лагеря...»
— «Шпионы только есть».
— «Ну что ж, не лезьте».
— «Убийцы, воры там еще...»
— «Сидят не зря.
Шесть лет, как перестали жить с опаской...»
— «Но, может быть,
не надо было так о нем.
Пусть бы остался навсегда он
нашей сказкой...»
Тут кто-то вдруг сказал:
«Давай замнем».
Все засмеялись.

«Ты уйди на всякий случай».
— «Теперь статьи-то нет такой —
за разговор.
Другое дело,
если влезет гад ползучий, —
такого сами...» —
кулаком крутнул шофер.
И помолчали.
Вьюга сразу слышной стала.
«Вон что творит!
И не видать конца зиме».
Немолодой
полено взял,
сказал устало:
«Ну, это что!
Вот где мороз — на Колыме!
При чем тут сказки? —
продолжал он, сев к печурке. —
«Остался бы...»
Он и без сказок будет жив.
А сказано,
так что ж, играем в жмурки?
Ведь жизнь идет, всё в душах обнажив.
Она и спрос теперь ведет, ребята.
Ты говоришь:
«Не надо бы...»
А то пойми:
чем объяснил бы я,
когда пришел обратно,
завиноватили за что перед людьми?
Я понимаю:
шли нелегкою дорогой,
трудны ведь были наши первые шаги.
Всё мерили в себе мы
мерой строгой.
А тут еще
все наши старые враги.
Хитры же были — не откажешь.
Это звери!
«Друзьями» стали,
льстиво выли про запас.
Всё делали, чтобы в народе разуверить
и оторвать его от жизни
и от нас...

Подумать только! Сколько пройдено —
заводы...
Дымят заводы...
Сколько сделано в стране!
Да разве мы порочим эти годы?..
Ты зачеркнешь свои? —
скажи ты мне».
— «Заводы, да! Такая мощь! —
скажи спасибо.
Но сельской жизни он не знал,
оторван был».
— «Мы далеко вперед уйти сейчас могли бы».
— «Села не знал старик».
— «Он знал,
потом забыл.
Я вот подумал:
восседаю, как на троне,
а у крыльца машины наши,
там зерно.
Не караулим,
и никто его не тронет».
— «Да, посидел бы ты тогда,
не так давно!..»
— «Ты говорил: «Не надо бы» —
про сказку, всё такое...
Жизнь,
партия
сказали правду ту.
Нам навредило
поклонение слепое.
Необходим был
разговор начистоту...»

Пурга отстала
и пошла, пошла сторонкой;
и вот вдали
уже последний смолк мотор.
Я в ученической тетрадке этой тонкой
записывал себе полночный разговор.

8

ВОСПОМИНАНИЯ

Школа

Сон какой-то приснился мне, что ли,
или просто причуда пришла?
Я проснулся
с тоскою по школе.
Как она позабыться могла?!
...Лампу вижу.
«Носи: починила.
Что не спишь-то?
На воле темно.
В пузырьке вот застыли чернила,
говорила:
не ставь на окно...»
Тихо мама беседует, тихо,
и сквозь ласковый голос ее
леденящая вьюга-шутиха
прорывается в наше жилье.
Вечер, что ли, теперь
или утро,
загадал я,
а вот и ответ —
до чего же придумано мудро! —
посинело окошко:
рассвет!
С печки свесясь, гляжу не мигая.
Пламя лампы трепещет в зрачке,
ходит мама моя дорогая,
спит сестренка — кусок в кулачке.
«Мам, зачем меня кличут:
«Натальин»?
Я ведь правда Денисов?..»
— «Поспи,
ты Денисов, не верь, наболтали...»
— «Мам,
а волки не мерзнут в степи?..
Да, забыл я:
вчера у комбеда
дед Ефим меня встретил, не вру,
в дом завел — и за стол.
Я обедал!

Щи скоромные:

ложка в жиру!

А богато живут — объеденье!

А тепло!

Им мороз нипочем!

Можно, буду ходить каждый день я? ..»

Мама ухо зажала плечом.

Знаю, знаю привычку:

не хочет.

«Мам, а что?»

— «Поумнел он теперь...

Не ходи туда, слышишь, сыночек,

пусть богатством подавится, зверь!

Хитрый, чувствует: копится сила, —

чует кошка...

Сынок, не ходи,

умирали — и то не просила,

а теперь рассвело впереди.

Ох, отец бы услышал про это! ..»

— «Не пойду!»

— «Не ходи ты туда...»

— «Мам,

быть может, придет в это лето?

Я не видел его никогда...»

Синим льдом подоконник окован.

Груня встала

и будит сестру.

Журавцы заскрипели в Быкове —

значит, всё повернулось к утру.

«Дай мне, мама, букварь и тетради,

дай чернильницу — мой пузырек».

Рань какая!

Бегу без оглядки,

все сугробы секу поперек.

У дверей

снег всегда зачернилен,

вновь галдеж, суета, толкотня.

Но простой колокольчик всесилен,

он за парту сажает меня.

«Не сгибайся,

держи себя прямо.

Если знаешь —

другим помоги.

Не замазывай кляксу упрямо,
переделывай честно,
не лги!»
Первоклассная эта наука
будет в сердце греметь до конца.
Хитрый дед,
не видать тебе внука:
он идет
по дороге отца!

Волшебный клад

«Вставай, вставай,
петухи пропели.
Ох, и поспать здоров!»
Рассвет намечается еле-еле;
слышно,
гонят коров,
слышно, кричат на хуторе бабы...
«Носом-то не свисти.
Нá арбузенок,
большой дала бы,
боюсь, тяжело нести...»
Толкает хозяйка меня куда-то,
сдавила плечо.
«Не спи!»
Сон окутывает, как вата.
Пусто, темно в степи.
«Гони на Баженово пепелище,
показывали вчера.
Найдешь?
Там вода и трава почище.
Гляди!
Выгоняй.
Пора».
Небо мягкое, как овчина,
ни звездочки, ни огня.
Верблюды с колен поднимаются чинно,
идут, косясь на меня.
Овцы двинулись, сбив ворота,
боками пастух зажат.
А вон за плетнем и моя забота:
двенадцать свиней визжат.

Росистой травой обхлестало ноги,
цыпки горят огнем.
Солнце вышло из-за дороги,
грозит мне тяжелым днем.
Бегают степью кусты-скитальцы,
колючки жгут, как слепни.
Привычно бегу, поджимая пальцы,
ступая ребром ступни.
Степь бескрайняя в чернобыле,
солончаков белизна,
и миражи, как всегда, приплыли,
прохладой меня дразня.
Вижу:
вот кирпичи на месте,
бревна из-под земли.
Было баженовское поместье —
давно мужики сожгли.
Жара.
Сижу под стеной паленой
и мечтаю о том,
вот бы найти мне клад затаенный,
гарь ворошу кнутом.
Слышу, свиньи поживу ищут,
хрюкают за стеной,
и вдруг
выкатываю кнутовищем
тяжелый шар костяной.
Сияет окружность его литая,
ничуть не попортил жар.
Цифру «8» на нем читаю —
заколдованный шар!
Снова рыть принимаюсь рьяно;
сердце сжалось в комок,
душно в густой темноте бурьяна,
под солнцем палящим взмок.
Околдованный чудесами,
не жалею себя.
Ага! Сверкнуло перед глазами,
лучами меня слепя.
Клад мой!
Так и думал — найдется,
вот он, зажат в руке
чистый трехгранный осколок солнца
на золотой серьге...

Встал,
свиней не окину глазом.
«Куда?»
Огибаю крюк.
«Куда?»
Луплю по бокам чумазым,
гоню разнобойный хрюк.
Потом иду под жарою тяжкой —
на солнце и не смотри, —
любуюсь трехгранной своей стекляшкой:
радуга там внутри.
Трепещет над головою солнце,
солнце горит во рту,
сейчас у заброшенного колодца
к чушкам
в грязь упаду.
К глазам поднес я ледок граненый,
остановился вдруг:
забушевал молодой, зеленый,
весенний
росистый луг!..
Прижал сосульку другою гранью —
что делается, гляди:
зимней искристой снежной ранью,
словно во сне, иди!..
Перевернул я стеклянный клад мой
снова — и вот так раз! —
пахнула вдруг на меня прохладой
Волга у самых глаз.
Шагнул — и Волга назад шагнула,
иду — впереди она.
Зажмуриваюсь от веселого гула:
брызжет в лицо волна.
Иду счастливый,
иду богатый,
прохладно на ветерке,
сверкает далью своей покатой
Волга моя
в руке.

Пряжка с якорем

А пряжка с якорем!
А ленты!
А полосатый воротник!
Я, навалясь на подоконник,
к стеклу нагретому приник.
Моряк стоит у нашей лавки
и нашей Груньке руку жмет.
«Скажу-скажу!
Скажу маманьке,
когда с собрания придет.
Ага, под ручку!
Вот так дело!
Ну, попадет тебе, постой!..»
А как сияет,
как сияет
на пряжке якорь золотой!
А вон и мама!
«Испугались!» —
шепчу я, радуясь беде,
и вижу, как дрожат их тени
в весенней разливной воде.
Идут в избу!
Втроем!
С маманей!
Я — с подоконника, бегом
на печку сразу,
весь — вниманье...
«Входите, что ж, весна кругом.
Натопчете? — смеется мама. —
Неважно, вымыть есть кому».
«Вот это да: идет в ботинках,
а мне — снимай,
в моем дому!»
Садится. Лавка заскрипела.
Он виден мне из-за трубы,
чужой, форсистый, белозубый, широкоплечий —
в пол-избы.
Фуражка на столе. Читаю:
«Каспийский ф...» — не разберу!
«Надолго?» — спрашивает мама.
«Совсем». И глянул на сестру.
А та потупилась.

«Постой-ка,
уйдет — я всё скажу тогда».
«Заехал в Сталинград сначала, устроился и вот —
сюда».
Опять глядит на Груньку что-то.
«Так, значит, в город? .. А не зря?»
— «По специальности...
Я слесарь теперь. Нужны и слесаря».
— «А тут дела, — вздохнула мама. —
Колхозы. Трудно: первый бой!
Остался бы, войдешь в правление.
Ты коммунист?»
— «Само собой...
Тут — знаю...
Но и там работа,
там строят Тракторный завод.
Попробовать себя охота,
уж так решили с Груней вот...»
И мама на сестру взглянула:
«Поедет больно налегке...,
Скрывала всё!»
— «Не смела, мама! ..»
Слеза по маминой щеке,
еще, еще,
по той морщинке, что я разглаживал не раз,
текут
слезинка за слезинкой
из дорогих, любимых глаз.
А Грунька к маме наклонилась
и хнычет что-то,
а матрос:
«Мамаша», — вдруг сказал.
«Мамаша»?
И тут уж я ослеп от слез.
Впотьмах нащупываю волглый подшитый валенок
в углу,
Замах обеими руками —
он, колеся, летит к столу!
Я с печки кубарем срываюсь.
«Убью его!» —
дрожа кричу.
Сквозь сени и — с крыльца
к пожарке,
скорей, скорей — за каланчу.

Лечу, и прыгаю от страха,
и ветер марта рву плечом.
Ноздрявый снег хрустит под пяткой,
сквозь пальцы глина бьет ключом,
а краем глаза вижу ленты и Груньку:
гонятся за мной!
«Алешка, босиком, куда ты? — кричит сестра. —
Иди домой!»
— «Нет, не обманешь!
Хорошо мне, разутому, здесь на ветру».
— «Постой, Алешка!»
— «Так и встану!..»
— «Простудишься!»
— «Пускай умру!
Пускай умру,
чтоб не напрасно катилась мамина слеза.
Пускай!» — шепчу, глотая слезы,
бегу куда глядят глаза...
«...Ну и мальчишка, вот так норов!»
— «Да, что ты скажешь, весь в отца».
Гудит изба от разговоров,
сидят и судят без конца.
«Не заболеет?»
— «Что ты, Павел,
ни разу не хворал — кремень!..»
— «Ты бы, зятек, не брал, оставил —
уж больно по нему
ремень.
Три девки было,
взял хоть эту,
один мужчина у меня.
Схвачусь побить — ремня-то нету,
так — без отца и без ремня...»
Я знаю, знаю:
шутит мама, —
по голосу всё узнаю.
«А что в отца, так вылит прямо,
хоть песенность бы взял мою!»

«Отец!
Какой ты был?
И кто ты?
И где ты?
Мы не ждем теперь.

Всё время ждали, как с работы,
тебя,
     вот-вот откроешь дверь.
Пойми,
          легко ли без отца-то?
Ночами ждал тебя, не спал...»

«Как с продотрядами в двадцатом
ушел сюда,
               так и пропал...» —
вздыхает мама.
Я с сестренкой
на печке —
               голову в ладонь.
Моряк стрельнул пахучей спичкой
и, прикурив, стряхнул огонь.
«Ну, что ж мы?»
В тусклом, желтом свете
горит стеклянный белый свет.
«До дна!
За ваше счастье, дети.
Мое?
     Какое в сорок лет?!»
— «Мы тут надумали, мамаша,
хотели... может, и не то?
Об Алексее дума наша,
решили с Груней...»
— «Ну, а что?..»
(Я вскинул голову и замер,
дышу в тревоге тяжело,
его слова ловлю глазами,
сон как рукой с меня сняло.)
«Двенадцать лет.
                         Четвертый кончит,
там — в пятый.
                         А учиться рад.
А может, взять нам, коль захочет,
его с собою в Сталинград?»
— «Я? В Сталинград?..»
— «Учиться будет.
Зарплата у меня — вполне...»

«...Эй, горожанин!» — мама будит.
И радостно и страшно мне.

Последний уход

«Шумел камыш» —
та песнь была хорошей.
Негромко, сберегая голоса,
девчата со своей кирпичной ношей
несли ее, бывало, на леса́.
Год тридцать первый.
Я брожу, тоскую.
Девчата не поют уже, молчат.
«Шумел камыш» —
ту песню заводскую
украли забулдыги у девчат.

Год тридцать первый.
Трудно и неладно
жил Сталинградский тракторный завод.
Нутро станков разглядывая жадно,
учился
молодой еще народ.
Почти что год, как первый трактор вышел.
Мне испытать тревогу довелось,
когда, крутясь на сборке, вдруг услышал:
«Не лезет колесо на полуось! . .»
А митинг у ворот гудел.
Все ждали.
Похолодели сборщики: «Скорей!»
— «Скорей!»
Уже не пели — грохотали
напильники в руках у слесарей.
«Скорей, скорей еще!»
Ломило руки.
Наш трактор ждали все поля окрест,
ждала страна, вставая из разрухи,
и ждал его
в Москве
партийный съезд.
И всё ж пошел тогда он,
прошлым летом,
наш первый!
Он теперь в Москве живет.
С тех пор залихорадило завод.
Все митинги,
все лозунги — об этом.

Американцы щурились:

«Коллеги,

мы едем, оставляем вас одних.
Не трактора вам делать, а телеги», —
выплевывали жвачку в проходных.
За ними наблюдали мы нередко.
Голодных, нас манила в эти дни
решетчатая круглая беседка
над Волгой,
где обедали они.
Давя решетку светлыми чубами,
глядели и вдыхали мы, мальцы,
прикусывая острыми зубами
горящих наших галстуков концы.
Бегу из школы
с песнею победной,
сияет на ладони номер мой —
чернильный номер очереди хлебной.
За карточками я бегу домой.
Старик сидит. У ног его — котомка
и чайник. Взял за плечи.

«Погоди!»

— «А что?»
— «Где мать? — старик спросил негромко. —
Я дед, не узнаешь меня поди?»
Стою между колен его несмело,
на голове — тяжелая рука...
«А вот и мама!»
Мама обомлела:
«Откуда, тятя?»
— «Я издалека».
— «Вы что же так сидите у подъезда?..»
Я комнату открыл, котомку внес.
Зовем, зовем его, а он — ни с места,
на бороде его — дробинки слез.
Уже темнеет.

В комнате сидим мы.

Хозяйничает мама у стола.
Сияют в свете дедовы седины...
«Ты что же убежала из села?»
— «Да дети вот, а вы теперь откуда?»
Он слезы вытер.

«Я из Соловков.

Сама ведь загнала! —
Звенит посуда. —
Не пропаду!
Не сдамся!
Не таков!..»
— «Потише, тятя, в дверь стучится кто-то.
Войдите!»
И толпой вошли они.
«К тебе, Наташа, прямо с парохода,
а поезд послезавтра.
Не гони».
— «Устроимся, садитесь, чай, уж лето,
мы сами спим на воле — духота».
(Припоминаю лица, видел где-то.)
«В Быкове как?»
— «Кочуем, кто куда...»
А дед Ефим в окно глядит — ни слова,
всё заслонил широкою спиной.
«Был летось недород,
а нынче снова
без хлеба,
вот и едем в край иной.
Мы в Магадан завербовались с кумом...»
— «А где ж колхозы ваши, кумовья? —
вдруг от окна ударило угрюмо. —
Колхозы что же, спрашиваю я?»
И тишина испуга наступила.
Приезжие плечами повели.
Ефим шагнул:
«Во мне она,
вся сила!
А вы меня прогнали от земли!..
Прогнали!
Ты, Наталья.
Ты, Егорка.
Я помню, как батрачил у меня,
за мной и у тебя бывала корка.
Вы без меня не проживете дня!..»
— «Нет, врешь,
переживем тебя, такого!»
— «Подохнешь...»
— «Нет, гляди, еще живой».
— «А сам бежишь...»

— «Сейчас вернусь в Быково,
чтоб до конца крушить порядок твой.
Ты,
ты оставил нам все эти беды,
твои, Ефим, все эти голода...»
— «Вернешься, а надолго?»
— «До победы!»
— «У вас не будет хлеба никогда!»
И был он страшен, дед, в минуту эту.
Детей прижали женщины к груди.
«Опомнись, тятя...»
— «Нет, пойду по свету».
Он взял котомку.
«Темень — не ходи!..»
— «Сдыхайте вы,
пойду своей дорогой».
Шагнул он;
борода была в слезах,
дрожали ноздри давнею тревогой,
огонь плясал в косых его глазах.
«Нет, обойду зореную Расею,
там, где взошло, ногами истопчу,
где пустошь — ни травинки не посею,
на ваши слезы
поглядеть хочу...»

Стемнело.
Будоража тишь земную,
девчата песню вынесли вдали,
отдав «Шумел камыш»,
себе иную —
«Вставай, вставай, кудрявая» — нашли.

9

В МЕТЕЛЬ

Метелит — запахнись потуже.
Поскрипывают тонко санки.
Ночь зимняя темна снаружи,
бела сугробами с изнанки.
Завфермою Егор Крылатов
вздыхает вслух:
«Метель измучила!..»

Смеемся мы:
«Живем богато:
сам тракторист у нас за кучера!»
Тускнеет свет молочной фермы,
и глохнет гул электростанции...
Всё это
счастьем непомерным
на сердце навсегда останется:
застенчивость почти что детская
и добрая улыбка Надина,
когда, телят своих приветствуя,
им лбы со звездочками гладила.
Ее подруги в черных ватниках
доенке каждой пели «здравствуй».
Нам говорить мешал в телятнике
недельный озорник горластый.
Бригада Надина!
Невольно
заметишь школьные привычки.

Повсюду видишь эти школьные
нерасплетенные косички.
Повсюду эти лбы чубатые,
подростков курточки рабочие.
Подходят, рукава закатывая,
к делам страны
сыны и дочери.

*

Лежит земля, в снега одетая,
а в небе темень спит глубоко,
и ночь нахохлилась двухцветная,
как черно-белая сорока.

*

Я замечал давно:
всегда ты ждешь чего-то,
придет и это,
но
тебя гнетет зевота.
День нынешний берет
тебя не в лоб, а с тыла;
не мыслью наперед,
а только тем, что было.

Бушует жизнь в стране,
но чем сильней теченье,
тем легче на спине
проплыть без назначенья.
Вот ты и поплыла,
к тебе — такая участь —
от папы перешла
хорошая плавучесть.
Несет тебя вода;
всё стало тише, глуше.
И падают года,
как вызревшие груши.
Подымешь их с земли
и удивишься вдруг ты:
вчера еще цвели,
а вот уж — сухофрукты.
Красива и стройна,
в расцвете, в полной силе,
решила:
«Рождена,
чтоб на руках носили!»
Но заняты, прости,
не тем большие руки,
и некому нести.
И плачешь ты от скуки.
Нельзя же так, нельзя
жить, на спине скользя!

*

Даны дороги все на свете,
но ты иди
необходимой...
Нет, не зазнались наши дети
перед землей своей родимой.
Мы так боялись...
Есть потери?
Да, есть. Мы сами виноваты:
к тому, что есть для всех,
отдельно
таких обкладывали ватой.
Но много ль их, подонков разных,
балбесов с наглыми глазами,
всё презирающих и праздных?
Преувеличиваем сами!

Противны нам юнцы уставшие.
Отцы, примите обвинение.
Но с ними не равняйте, старшие,
всё молодое поколение!
Порой ворчим:
«Не знаешь трудностей»,
«Под пулями голодным не был».
Так хорошо, что нашей юности
не доведется бредить хлебом!
Да не сердитесь зря, товарищи,
хотят — пусть носят брючки узкие.
Красны делами
настоящие
девчата наши, парни русские.
Учить ведь тоже надо здраво,
а можно смять рукой пудовою.
Нет,
молодость имеет право
на мысль свою,
на рифму новую.
Нам поиск в юности дороже,
иди, открытиями радуя.
Нет, наши люди не похожи
на управляемых по радио.
Так выходи же, юность, смело
путем побед и одолений,
а на планете хватит дела
для всех свободных поколений!..

*

Крадется ночь на мягких лапах;
передохнул
и снова еду я.
Спиной меня прижал Крылатов,
с механиком своим беседуя.
Потом ко мне подался круто,
откинул воротник овчинный:
«Всё думаю, встречал как будто,
и вспомнил.
Дед тому причиной...»
— «А что за дед?»
— «Денисов самый.
Мы в тридцать третьем ночевали
у вас на Тракторном...

Упрямый
старик.
Не помните? Едва ли...»

*

Мама,
ни комнатки нашей той,
ни тебя
не увидел.
Прости меня вечною добротой
за всё, чем тебя обидел.
Мама, ищу тебя все года,
увидеть тебя мне надо.
Горело сердце твое тогда
в пламени Сталинграда.
Мама, куда мне нести цветы,
слезами они оплыли.
Мама, здесь отдыхаешь ты,
в неизвестной могиле...

*

Немец, ты просишь мою папиросу?
Немец, иди сюда, на, кури!
Ни к ответу
и ни к допросу
я не зову тебя.
Не говори.
Немец, между нами преграда,
земля между нами,
но виделись мы.
Ты рожденьем из Мюнхена?
Смертью из Сталинграда?
Ты задумчиво мне киваешь из тьмы.
Затосковал ты по Германии милой,
многие годы зияют провалом в судьбе.
Немец,
поднимайся над миром,
человечеству расскажи о себе.
Немец, ты мне машешь рукою,
на Мамаев курган возвращаясь опять.
«Мутер, мутер!» — ты повторяешь с тоскою.
Молчи ты,
не трогай заветное —
мать...

*

...Кричал тогда: «Не будет хлеба!»
Ошибся он, Ефим Денисов...
Ночь зимняя глядится слепо,
мерцаньем горизонт унизан.
В постромках вытянулись кони,
нас осыпая пылью снежной.
Качается, как на ладони,
Быково
в тишине безбрежной...
Не знаю,
ты ходил ли по России,
мог и пойти: характер был таков.
Дожди над головою моросили,
жара сушила капли у висков.
Шли поезда, и двигались обозы.
По всем фронтам вела страна бои.
Возможно, дед, ты видел наши слезы
и находил в них радости свои.
Да, ошибались, было:
мы живые.
Откалывались слабые от нас,
и на порядки наши боевые
свои снаряды падали не раз.
Пахать колхозы в поле выезжали,
а нам враги травили семена,
частушкой, сплетней грязною визжали...
Но поднималась отчая страна.
И ты не мог не видеть в злобе лютой,
мог и не видеть в ярости слепой,
как мы сильнели с каждою минутой,
как возвышались духом над тобой.
Да, было:
голодали, холодали
и лаптем щи хлебали —
было, да.
Но дней иных
стремительные дали
из вида не теряли никогда!..
А кто ты был, мой дед родной, ну, кто ты?
Жалею я тебя, отец отца.
Тебя томили темные заботы
и довели до жалкого конца.

На старом фотоснимке пожелтелом
картуз ты на колени положил,
и не высок, но крепок грузным телом,
и руки все
в переплетеньях жил.
Глядишь ты осуждающе и строго,
причесан на две стороны со лба,
и сапоги начищены убого,
морщинятся — завидуй, голытьба!
Богат ли был?
Да, ел и хлеб и мясо
и в круглом деревянном жил дому.
Сейчас Егор Крылатов рассмеялся,
когда об этом я сказал ему.
Любой колхозный дом теперь богаче,
а мы желаем большего, чем ты!
Так что же, зря, выходит, раскулачен?
Нет,
не уйдешь от нашей правоты.
Над жизнью нашей тень твоя нависла.
Мечте людской о счастье на земле
была твоя ухватка ненавистна,
совиная повадка
жить во мгле.
«Одной рукой давить,
другой молиться.
Все пропадайте, важен только я!»
Была мечте,
успевшей народиться,
враждебна философия твоя.
«Земля скудеет», — утверждали лживо,
на Волгу клеветали,
как могли.
Вы всю природу мерили наживой,
вы под себя бы землю подгребли.
Какая жажда вас воспламеняла?
Быть выше всех по силе, по уму,
и властвовать, и хапать — мало, мало!..
Ты жил, мой дед, не веря никому.
Не верил ни крестьянам, ни рабочим
и думал: завтра будет, как вчера, —
как тот заокеанец,

что пророчил
телеги делать нам —
не трактора.
Ты стал врагом мечтаний человека
и оказался поперек пути.
Ты — прошлое,
ты — окончанье века,
вот почему и должен был уйти.
Но только ощущаю и теперь я,
что есть еще твое
в моей крови:
проклятое твое высокомерье,
желание преобладать в любви.
Я узнаю в себе привычки эти:
насмешливость спесивую твою,
порою, оказавшись на примете
твое самодовольство узнаю.
О, паутина тонкая, паучья!
Спасибо,
что в недавние года
в зените моего благополучья
мне ветер жизни встретился тогда!
Спасибо, ветер жизни!
Что? Не слышу!
Ты здесь?
Благодарить тебя хочу.
Теперь не позову тебя под крышу —
сам из затишья вышел и лечу.
Дуй над землей, над Волгой разлитою,
метелью этой яростной мети,
всё очищай, проветривай мечтою...
Тогда я не узнал тебя, прости.
Я счастлив, ветер жизни, я с тобою,
со всеми, кто с тобой, в одном ряду,
пойдем опять теперь от боя к бою.
Что?
Понимаю, ветер.
Я иду!

10

ЕГО ЛЮБОВЬ

Россия-мать
ждала его,
искала,
в ладонях Волгу —
пить —
ему несла,
у Каспия
немного расплескала,
степям в пути
напиться подала.
А сын ее
уже в полет стремится.
Припал он к Волге,
пил ее.
Она
в его глаза сыновние глядится,
до глубины
сама ему видна.
Он видел солнце здесь,
в летящей глади,
большие облака у самых глаз,
и, может быть, тогда
в глубоком взгляде
зажглись лучи,
счастливые для нас.
На будущее
шаг равняя каждый,
он вышел,
путь прокладывая свой.
И навсегда
прижалась к сердцу жажда
той волжской полосы береговой.
Он голод ненавидел всей душою
и не любил бессилие и тьму.
Людское счастье —
самое большое! —
с рожденья было дорого ему.
Свободный,
неподвластен был он плену
тюрьмы и ссылки,
звал и звал к борьбе

и ссыльную подругу Волги —
Лену —
так полюбил,
что имя взял себе.
Любил он реки родины любимой,
от Волги
шел к Москве
дружил с Невой
и мыслью разглядел
сквозь сумрак дымный
бушующий
Октябрь
огневой.
Мать-родина,
как ты помолодела!
Живем в труде,
счастливые судьбой,
тем,
что живое ленинское дело —
его любовь —
ведет нас за собой.
И партия
и он
предельно схожи,
характером близки,
как сын и мать,
тем,
что ему и ей
всего дороже, —
умением
народ свой понимать.
Он был великой мыслью озабочен
о лучшей жизни.
Он любил людей.
Сдружил в боях
крестьянина с рабочим,
сказал земле родимой:
молодей!
И, с будущим связав себя навеки,
хотел,
чтоб над землею рассвело.
Еще тогда
он спрашивал все реки,
к себе созвав их планом ГОЭЛРО.

Он реки так любил,
он так любил их!
В его душе
цвела земли краса —
могучий,
рослый хлеб
просторов милых,
луга и горы,
степи и леса.
Любил,
преобразуя жизнь отчизны,
любил
на все века,
на все года.
Для этой вот любви —
во имя жизни —
не умер он,
рожденный навсегда.
Страна родная,
жизнь ему дала ты,
а смерть
своим бессмертьем отвела.
Он человек —
без той,
последней,
даты.
Живет его любовь! —
твои дела!

11

ПРЕДВЕСЕННЯЯ

Весна посылает вести
радостно, ясно, ново.
Проснулось на новом месте
родное село Быково.
Полно голосами бодрыми,
смеется оно спросонок;
стучатся девчата ведрами
у водопроводных колонок.
«Доброе утро» громкое
грохнуло в радиорупоре
так, что под самой кромкою
сразу сосульки хрупнули.

Так громыхнуло чудище,
спугнув воробья вихрастого, —
залетный снежок кочующий
выдуло вдруг из раструба.

Вчера я приехал в сумерках,
сегодня поднялся засветло.
Что-то тебя, село мое,
долгое время застило.
Я помнил тебя, село мое,
с бурьянами по обочинам,
сгорбленным над полоскою,
засухой озабоченным.
С детства уехал любящий
и понимавший, сызмала
боль твою неотступную
сердце сыновье вызнало.
Хлеб твой беря по карточкам,
знал я всегда, чьи крохи те.
Не слышалось ты, село мое,
в строительном нашем грохоте.
Твои хлеборобы скромные
мужественными, честными
на сборные пункты Родины
явились с твоими песнями.

Сдали Шурочку в солдаты
и услали на войну.
Не успели срисоваться
с ним на карточку одну.
Восемь сосен. Восемь сосен,
а девятая-то — ель.
Посмотреть бы на Шурочку:
пристала ли шинель?..

Отцы твои, и мужья твои, и женихи твои — пахари,
в разведку ходили, смелые,
из длинных орудий бахали.
Ты, жалостливое, работая,
слезой умывалось горькою,
с бойцом Сталинградской битвы
делилось заветной коркою.
Спасибо тебе!

С победою!
Шли годы.
Опять, село мое,
не виделось ты на праздниках,
завьюженное соломою.
В сорок шестом мы виделись.
Тогда я ослеп от радости,
я славил лиманы синие
и не заметил тяжести.
В пятидесятом виделись.
Тогда разглядел я многое;
ты стало тогда, село мое,
большою моей тревогою.
Тогда я и слышал тяжкое,
что вспоминать не хочется:
«Маруська-то в люди вышла ведь —
в городе, домработница!»
Ты отсылало детей своих:
«Пусть город вам будет школою,
учитесь!
Не возвращайтесь на землю мою тяжелую!»
Читало в газетах с гордостью:
зданья растут высотные —
и тихо плело из тальника
худые загоны скотные...
Стройки гудели дальние,
великие шли события,
а ты
всё годами старилось,
временем позабытое.
Но росли сыновья твои,
двигались поколения.
Перечитали Ленина, —
он против того забвения...
Год от года вставало ты,
выпрямилось с улыбкою.
Да разве же ты не справишься,
с нашей природой зыбкою?!
Пусть суховей не прячется,
поля наши устрашая, —
в наших планах указана
устойчивость урожая.
Будут тебе неведомы
недород и бескормица.

Надоела пословица:
«Год
на год
не приходится!»
С новосельем великим
поздравляю, товарищи!
Да здравствует
день сегодняшний,
грядущее отворяющий!

Весна посылает вести
радостно, ясно, ново.
Мы снова с тобою вместе,
родное село Быково!
Морозы уходят с полночи,
с утра уже солнце нежится,
и на крылечке солнечном
проклюнулась лужа-снежница.
Кружится голубь лихо,
роспись крылом вычерчивая.
Взъерошена воробьиха:
к весне она недоверчивая.
Календари листаются.
Ходил я от дома к дому:
«Как видится? Как мечтается?» —
от сердца летел к другому.
Сердца, никуда не денетесь.
Не знаю ни сна, ни лени я.
Так проводил я перепись
весеннего настроения.
Ходил по земле и спрашивал,
как трудится и как любится.
День коммунизма нашего
видится,
близится,
сбудется!

*

Так
вращайся,
мужай
и цвети для людей
под боком у солнца,
в разливе весеннего света,

не старей никогда,
обновляйся
и молодей,
земля дорогая —
совсем молодая планета!
Что может быть выше,
счастливей,
новей,
чем жить
в полный рост,
в полный свет
в полный голос
и что-то оставить земле
для ее сыновей —
дерево,
борозду,
молот,
мелодию,
колос.
Сколько хочешь земли,
сколько хочешь земли для труда.
Сколько хочешь воды.
Не окинешь высокого неба!
Сколько хочешь земли,
Хватит всем поколеньям всегда
свободного воздуха,
освобожденного риса
и хлеба.
Земля дорогая,
отстраивайся, живи
в руках у людей,
молодея от века до века!
Прими, дорогая,
признание в вечной любви
от сына Советской страны — твоего человека!

ПРОЩАНИЕ С ПОЭМОЙ

Благодарю за всё,
за всё, что было,
благодарю за всё,
что будет впереди.
Пока еще мое дыханье не остыло,
последний раз прошу тебя:

не уходи!
Ты вспомни,
мы ночей тогда недосыпали,
припомни,
как метались по жаре,
как мы в Заволжье
к соку теплому припали,
отжав его в арбузной кожуре.
Дрожало марево,
цвело
дразнило Волгой,
и чернобыл
был, словно проволока, ржав.
Мы шли и шли с тобой
дорогой этой долгой;
стрижи летали,
ножки тонкие поджав.
Верблюды ветер нюхали подувший,
солончаковые бока их обожглись.
Висели стрепеты,
как рваные подушки,
перо,
сухое от жары,
роняя вниз.
Шли годы мимо.
Поколенья проходили.
Знамена плыли в яростной борьбе.
И скольких
сколько раз
мы победили!..
Я жил и жил
благодаря тебе.
В Царицыне, в огне,
когда пора настала,
ты мне отца вновь подняла в бою.
Ты сталинградский черный пепел разметала
и воскресила к жизни мать мою!
Мы столько раз встречались с засухой-бедою!
Но жажда привела сейчас на Волгу нас.
Быки с ногами,
перебитыми водою,
стояли,
морды окунув
до самых глаз.

И город Волжский
встал в зеленом окруженье;
плотину ГЭС
я в котловане увидал,
энергию высоких напряжений
народ вдохнул
в мою степную даль.
Хлеб колосится на земле.
Легко летают птицы.
И провода гудят под током.
Нам пора!
За всё
за всё благодарю твои страницы,
благодарю,
мои Быковы хутора!
Моя поэма, приготовься:
будут косо
глядеть все те,
кто нам не верил в эти дни.
Не отвечай их пересудам, переспросам,
взлетай смелей
и нашу стаю догони!
Я не от всех обид даю в дорогу средства,
но знаю:
ты не дрогнешь, ты не сдашь.
Прошу тебя —
сломай же наконец-то
известный красно-синий карандаш!
Прощай, поэма!
Подружи с семьей большою.
Теперь уж я тебе ничем не помогу.
За всё, чем жив,
благодарю я всей душою
и остаюсь
у самого себя
в долгу.

1952—1959

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Варианты приводятся согласно порядку стихов в основном тексте произведения. Под нумерацией строк указывается источник варианта. Если он не указан, это означает, что источник тот же, что и для предыдущего варианта.

3

перед 1
Зн

Если бы знала ты! Я устал
остерегаться, себя беречь:
как бы с пулей вдвоем не слечь!
Сердце бы как на снегу не сжечь!
Как чтобы ветер не освистал!

23

загл.
Ог

НАМ, ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ

после 49

Я вернулся к тебе
не сидеть взаперти.
Мы идем — перед нами
развернулись пути,
нам не праздновать праздно,
нам хмелеть от труда,
чтоб работой восславить
в мире
мир навсегда.

35

перед 1
авториз. машинопись

Двадцать семь —
чудесный срок,
если здраво взвесить.
Прожил автор этих строк
двадцать семь
плюс десять.
А смотри — какой герой,
и учти при этом,
что зовут его порой
молодым поэтом!

41

загл. автограф ДАВНЕЕ

между 12 и 13 Мы шли,
заиндевелый локон твой
хотел согреть горящей головой
и в панике шептал себе: «Беда!»
Басил,
хвалился нашей общежиткой,
смеялся глупо.
Это было пыткой
незнаемой,
неведомой тогда.

49

35—40 черновой автограф

Ту, что любил, — ношу с собой,
та в сердце умерла, как сказка.
А это —
гипсовая маска
посмертная —
совсем другой.

50

после 46 черновой автограф

На Масловке в особняке
живи спокойно и богато —
мышь в молоке
уже жила-была когда-то.

58

авториз. машинопись

Волнуюсь, кричу,
а все-таки грустно,
опять кружись, как ветер в поле.
А может, чтобы жило искусство,
нужны на свете такие боли?
Но мне тяжело,
и если правда,
что поэзии это сродни,
то бросить стихи обязательно надо, —
очень уж дорого стоят они.

74

54—56 во всех изд., кроме СиГ

две матери —
Марина и Россия,
склонившиеся тихо над тобой.

88

после 67 черновой автограф

Так неразрывна подвигов гряда,
ты с нами — день двенадцатого года,
из века в век
восходишь навсегда
в великое грядущее народа.

89

между 57 и 58 КЗ

Двадцать лет,
шестнадцать лет — немалый срок.
В жизнь вступает
год рожденья сорок первый.
Не забыт тот исторический урок,
он стоит на страже мира
силой верной.

120

черновой набросок

Живу, живу,
а кажется, что брежу.
Иду, иду,
а кажется — стою.
И всё неубедительней,
всё реже
пишу я повесть главную свою.
Друзей всё меньше,
а влюбленных нету.
А было...
старость — надо полагать!
Да, замечаю первую примету:
я совершенно разучился лгать.
Прощай, прощай!
Учили не сдаваться.
И я не сдамся, превратясь в траву.
Товарищи,
счастливо оставаться!
А кажется еще,
что я живу!

139

загл. автограф

ПАРК БИЛЬВИ

после 54

Двенадцать
дорических темных колонн
Бранденбургских ворот,
оббитых и почерневших.
Наш флаг над рейхстагом.
Синяя майская синь
над землею,
над флагом

и облака,
через время
бредущие вброд.

140

загл. ЭТИ ДНИ ВЕСНЫ

Пр

7 Кивают головой

между 13 и 14
Вот названа не раз бригада наша.
Фамилию свою не видит,
нет.
Да разве всех бойцов
упомнит маршал,
Когда прошло с Победы
столько лет.

24 зовущее: «В атаку выходи!»

40 бегом за танком — танку помоги!

между 52 и 53
Так, до конца,
страница за страницей.
Солдатским душам вороты
тесны.
Да, столько лет им что-то
плохо спится,
Когда приходят эти дни
весны.

54 Навеки будут рядом, навсегда
56 и наше счастье мира и труда.



ПРИМЕЧАНИЯ

Первый стихотворный сборник Михаила Луконина был издан в 1947 г. Всего при жизни поэта вышло около 40 книг, при этом дважды — в 1969 и 1973 гг. — двухтомники избранных произведений, подготовленные самим Лукониным в качестве итоговых, представляющих достаточно полно его более чем тридцатилетний творческий путь. Эти издания во многом определили состав настоящего сборника.

Луконин начал писать еще в школьные годы; некоторые из его юношеских стихов были напечатаны в сталинградской молодежной газете «Молодой ленинец», альманахе «Литературное Поволжье», в коллективных сборниках «Голоса молодых» (Сталинград, 1935), «Стихи счастливых» (Сталинград, 1936), «Разбег» (Сталинград, 1938), «Содружество» (Сталинград, 1938). Однако поэт никогда не включал эти стихи ни в один из своих сборников. «...Только стихи, написанные на зимней войне 1939/40 годов и опубликованные по возвращении», поэт справедливо считал «началом, отправной точкой своего пути» (Луконин М., К читателю. — В кн.: Луконин М., Избранные произведения в двух томах, М., 1973, т. 1, с. 5). Эти стихи открывают и настоящий сборник, являющийся избранным сводом стихотворного наследия Луконина.

За пределами издания остались две «маленькие» поэмы Луконина («Поэма возвращения» и «Обугленная граница»), а также некоторые стихотворения из циклов «Сердцебиенье», «Дни свиданий», «Стихи дальнего следования», «Преодоление»; вместе с тем в книгу включены стихи последних лет, опубликованные при жизни автора лишь в периодике.

Начиная с первых сборников, Луконин никогда не располагал стихи в хронологической последовательности. Для разных его книг характерен циклический принцип построения, причем даже в тех немногих сборниках, которые не имеют четко обозначенных разделов, порядок расположения стихов тоже определяется не хронологией, а неким внутренним, смысловым единством. Эту особенность творчества Луконина очень точно подметил и охарактеризовал К. Симонов: «Каждая его новая книга не просто двадцать или сорок стихотворений. Нет. Это новый поворот чем-то уже знакомого, но, оказывается, не до конца знакомого нам поэтического характера, не просто новые стихи, а новая черта личности... Бывает, что у иного поэта без особого труда можно перетасовать его в разное время написанные книги и почти не заметить этого. Книги Луконина так не перетасуешь... Его книга — это строительство, это такое здание, в котором... не спутаешь... пятый этаж с фундаментом или наоборот» (Симонов К., Для долгого пользования. — В кн.: Луконин М., Стихи и годы, М., 1975, с. 9).

Группировка стихов по циклам, соответствующим основным, этапным в творчестве Луконина книгам, отчетливо прослеживается, начиная со сборника «Стихотворения и поэмы» (1958), и окончательно закрепляется в двухтомниках и в одном из позднейших итоговых прижизненных сборников «Пять книг» (1974). В соответствии с этим раздел «Стихотворения» настоящего издания в основном отражает структуру сборника «Пять книг» (с его циклами «Стихи дальнего следования», «Испытание на разрыв», «Преодоление», «Необходимость», «Вздох облегчения») и двухтомника 1973 г., включающего, помимо перечисленных, два ранних цикла — «Сердцебиенье» и «Дни свиданий». Завершается раздел стихотворениями (главным образом последних лет), не вошедшими в прижизненные сборники поэта. Второй раздел составляют «Поэмы».

Стихотворения Луконина неоднократно перепечатывались при жизни автора; при этом, совершенствуя текст, поэт редко менял его коренным образом, чаще вносил небольшие поправки стилистического характера. Существуют лишь немногочисленные ранние редакции и варианты отдельных строф. Некоторые — наиболее интересные из них — приводятся в разделе «Другие редакции и варианты».

Для настоящего издания были использованы материалы личного архива Луконина, пока еще не разобранного и не описанного, хранящегося у вдовы поэта А. В. Антоненко-Лукониной (в примечаниях автографы и машинописные тексты из этого архива упоминаются без ссылок на него). Знакомство с архивом показало, что подавляющее большинство творческих автографов утрачено, по-видимому, при периодических разгрузках и отборе к сожжению лишнего, по признанию самого поэта (см.: Луконин М., Преодоление, М., 1964, с. 103). Те же автографы, что сохранились, как правило, не датированы, что очень затруднило работу по уточнению датировки стихотворений. Потребность же в таком уточнении очевидна во многих случаях. В основных сборниках, включающих новые стихи Луконина, даты отсутствуют. Они появляются позднее — в изданиях типа «избранное» («Стихотворения и поэмы» (1952), «Стихотворения и поэмы» (1958), «Избранные стихотворения и поэмы в двух томах» (1969), «Избранные произведения в двух томах» (1973) и т. п.) — и проставлены, очевидно, по памяти. Отсюда нередкие ошибки, расхождения в датах по разным сборникам, что всякий раз специально оговаривается в комментарии.

Некоторые стихотворения при расхождении сведений о времени написания датируются приблизительно, если нет убедительных аргументов в пользу какой-то одной даты. Если в изданиях, указанных в примечании, дата отсутствует, то сообщается источник, по которому она устанавливается. Даты первых публикаций приводятся в угловых скобках.

Примечания содержат сведения о первой публикации и об изданиях, в которых текст подвергся авторской правке. Указывается источник, по которому печатается текст (ссылка только на первую публикацию означает, что произведение более не перепечатывалось или перепечатывалось без изменений); отмечается наличие автографов или авторизованной машинописи; наличие машинописи без авторской правки (из личного архива писателя) отмечается лишь в том случае, если в этом источнике зафиксирован новый вариант текста. Сообщаются также необходимые сведения историко-литературного и реального характера.

Звездочка перед порядковым номером примечания означает, что к этому стихотворению есть материал в разделе «Другие редакции и варианты».

За содействие в подготовке настоящего издания составитель выражает благодарность вдове поэта А. В. Антоненко-Лукониной, а также писателям Р. М. Дорогову и Ю. А. Окуневу, сообщившим ряд сведений фактического характера.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

ВЛ — газета «Вечерний Ленинград».
ВМЛ — Воспоминания о Михаиле Луконине. Сборник, М., «Сов. писатель», 1982.
ВО — Луконин М., Вздох облегчения, М., «Современник», 1978.
ВПр — газета «Волгоградская правда».
Г — Луконин М., Годы. Лирика, М., «Мол. гвардия», 1958.
ДН — журнал «Дружба народов».
ДП — сборник «День поэзии» (Москва), с указанием года издания.
ДС — Луконин М., Дни свиданий. Стихи, М., «Сов. писатель», 1947.
ЗВ — журнал «Звезда Востока».
Зн — журнал «Знамя».
Избр. — Луконин М., Избранное, М., «Сов. писатель», 1950.
Избр. лир. — Луконин М., [Избранная лирика], М., «Мол. гвардия», 1965 (Б-чка избр. лирики).
Избр. СиП — Луконин М., Избранные стихотворения и поэмы в 2-х томах, М., «Худож. лит-ра», 1969.
Изв — газета «Известия».
ИнР — Луконин М., Испытание на разрыв. Лирика, М., изд-во «Правда», 1966.
ИП — Луконин М., Избранные произведения в 2-х томах, М., «Худож. лит-ра», 1973.
К — Луконин М., Клятва. Стихи и поэмы, М., Воениздат, 1962.
КазПр — газета «Казахстанская правда».
КГ — Луконин М., Корни гор. Стихи о Грузии и переводы, Тбилиси, 1966.
КЗ — газета «Красная звезда».
КПр — газета «Комсомольская правда».
ЛГ — «Литературная газета».
ЛГр — журнал «Литературная Грузия».
ЛИ — газета «Литература и искусство».
Лир-1950 — Луконин М., Лирика, Сталинград, Обл. кн-во, 1950.
Лир-1966 — Луконин М., Лирика, Волгоград, Нижне-Волжское кн. изд-во, 1966.
Лир-1969 — Луконин М., Лирика, М., «Мол. гвардия», 1969.
ЛЛ — Луконин М., Любимые люди, М., Профиздат, 1971.
ЛР — газета «Литературная Россия».
МГ — журнал «Молодая гвардия».
МК — газета «Московский комсомолец».
МЛ — газета «Молодой ленинец» (Волгоград).
Н-1969 — Луконин М., Необходимость. Стихи и поэма. М., «Сов. писатель», 1969.
Н-1976 — Луконин М., Необходимость, Стихи и поэма, М., «Сов. писатель, 1976.
НМ — журнал «Новый мир».

Ог — журнал «Огонек».
Окт — журнал «Октябрь».
П — Луконин М., Преодоление. Стихи, М., «Сов. писатель», 1964.
Передовая — Луконин М., Передовая. Стихи и поэма, М., Воениздат, 1973.
ПК — Луконин М., Пять книг. Стихи, М., «Мол. гвардия», 1974.
Пр — газета «Правда».
ПрВ — газета «Правда Востока».
С — Луконин М., Сердцебиенье. Стихи, М., «Мол. гвардия», 1947.
СВ — журнал «Советский воин».
СДС — Луконин М., Стихи дальнего следования. Новые стихи, М., «Сов. писатель», 1956.
СиГ — Луконин М., Стихи и годы, М., «Дет. лит-ра», 1975.
СиП-1952 — Луконин М., Стихотворения и поэмы, М., Гослитиздат, 1952.
СиП-1958 — Луконин М., Стихотворения и поэмы, М., Гослитиздат, 1958.
СК — Луконин М., Сталинградская книга, М., «Мол. гвардия», 1949.
СМ — журнал «Сельская молодежь».
См — журнал «Смена».
СПр — газета «Сталинградская правда».
СС — газета «Советский спорт».
Собр. соч. — Луконин М., Собрание сочинений в 3-х томах, М., «Худож. лит-ра», 1978—1979.
ст. — стих.
Ст-1961 — Луконин М., Стихотворения, М., Гослитиздат, 1961.
Ст-1967 — Луконин М., Стихотворения, М., «Худож. лит-ра», 1967 (Б-чка рус. сов. поэзии в 50-ти кн.).
Стихи Сталинграду — Луконин М., Стихи Сталинграду, Сталинград, Обл. кн-во, 1947.
ст-ние — стихотворение.
ТК — Луконин М., Топот копыт. Стихи, переводы с казахского, Алма-Ата, «Жазушы», 1969.
ТП — Луконин М., Товарищ Поэзия, М., «Сов. писатель», 1972.
Фронтовые стихи — Луконин М., Фронтовые стихи, М., «Сов. Россия», 1974.
Ю — журнал «Юность».

Автобиография. СиП-1952, с. 3. *Родился... в Астрахани.* В действительности местом рождения поэта является с. Килинчи Наримановского р-на Астраханской обл. *Отца... не помню* и т. д. Отец — Кузьма Ефимович Луконин — скончался от холеры. В ТП (с. 8) Луконин указывает другую дату смерти отца: 1922. *Мать* — Наталья Ефимовна (урожд. Толочек) погибла в 1942 г. в Сталинграде. *Быковы Хутора* — см. примеч. 30. *В 1928 году мать приняли в Коммунистическую партию.* По свидетельству сестры поэта, А. К. Алешечкиной, записанному с ее слов Л. Аннинским, мать вступила в партию в 1929 г. (см.: Аннинский Л., Михаил Луконин, М., 1982, с. 9). *В 1934 году напечатали мой рассказ.* Публикацию рассказа установить не удалось. *Затем стали печатать в областных газетах стихи.* Самая ранняя из выявленных публикаций Луконина — ст-ние «Письмо в колхоз» в пионерской краевой газете «Дети Октября» от 21 мая 1934 г.; первая публикация в областной газете

«Сталинградская правда» — от 12 августа 1936 г. (ст-ние «Катерина»). *Пошел работать на завод.* На Сталинградском тракторном заводе Луконин работал токарем летом 1935 г. *Некоторое время работал в комсомольской газете «Молодой ленинец».* С осени 1935 г. Луконин сначала работал в газете «Дети Октября», а затем (с конца 1936 г.) перешел в газету «Молодой ленинец», где работал до осени 1938 г. *Стал заниматься в Учительском институте.* Луконин учился в Сталинградском учительском институте в 1935—1937 гг. *Осенью 1937 года был принят в Литературный институт.* Указанная дата ошибочна: Луконин учился в Литературном институте с осени 1938 по 1941 г. *Привез ряд стихотворений* и т. д. Имеются в виду ст-ния «Мама», «Наблюдатель», «Ночью лыжи шипят. . .», «Письмо» (Зн, 1940, № 10) и «По дороге на войну» (МГ, 1941, № 2), которые Луконин считал «новыми для себя... первыми в своей жизни» (ТП, с. 18). *«Сын Родины»* — газета 13-й армии. *«На штурм»* — газета 5-й танковой армии.

СТИХОТВОРЕНИЯ

СЕРДЦЕБИЕНЬЕ

1. Зн, 1940, № 10, с. 120, в цикле «На войне»; С, в разд. «Горячая зима»; Избр., в разд. «Военные годы»; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи»; Г. Печ. по СиП-1958, с. 69.

2. Зн, 1940, № 10, с. 121, под загл. «Твое письмо» (др. ред.), в цикле «На войне»; С, в разд. «Горячая зима»; Избр., без ст. 1—7, в разд. «Военные годы», с датой: 1940; Г. Печ. и датируется по СиП-1958, с. 71.

*** 3.** Зн, 1940, № 10, с. 121 (др. ред.), в цикле «На войне»; С, в разд. «Горячая зима»; Избр., в разд. «Военные годы», с датой: 1940; Г. Печ. и датируется по СиП-1958, с. 73.

4. Зн, 1940, № 10, с. 120, в цикле «На войне»; С, в разд. «Горячая зима»; Г. Печ. по СиП-1958, с. 78.

5. МГ, 1941, № 2, с. 7; МК, 1941, 23 марта, под загл. «Начало войны», в подборке «Стихи поэтов Литературного института Союза советских писателей»; С, в разд. «Горячая зима»; Избр., в разд. «Военные годы», с датой: 1939; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи», с датой: 1940; Г. Печ. и датируется по СиП-1958, с. 75. Публикация в МК сопровождалась статьей зам. директора Литературного института Т. Федосеева, в которой о Луконине, в частности, говорится: «Еще недавно узко интимный в тематике своих произведений, М. Луконин теперь нашел значительную тему и вместе с тем подошел к выработке своей поэтической манеры». *Михаил Иванович Калинин* (1875—1946) за активное участие в революционном движении неоднократно подвергался арестам и ссылкам; в частности, после очередного ареста в январе 1903 г. в Ревеле (Таллине), куда он был выслан под надзор полиции, М. И. Калинин под усиленным конвоем был переправлен в тюрьму в Петербург. Рассказ карела, возможно, относится к этому времени.

6. ЛИ, 1944, 19 августа; С, в разд. «Фронтовые стихи»; Избр., в разд. «Военные годы»; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи». Печ. по СиП-1958, с. 80. В *Иваново* на курсы политруков в 1942 г. был послан Луконин. *«Красная Талка»* — клуб ивановской одноименной прядильной фабрики.

7. КПр, 1942, 16 июня, с пометой: Действующая армия; С, в разд. «Фронтовые стихи»; Избр., в разд. «Военные годы». Печ. по СиП-1952, с. 33, цикл «Фронтовые стихи».

8. Зн, 1946, № 10, с. 152, в цикле «Памяти друзей»; С, в разд. «Горячая зима»; Избр., в разд. «Военные годы», с датой: 1940—1945; Лир-1950, в разд. «Из фронтовых стихов»; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи», с датой: 1940—1945; СиП-1958, с датой: 1940, Избр. лир., с датой: 1940. Печ. и датируется по Избр. СиП, т. 1, с. 22. Написано в 1940 г.: Луконин неоднократно читал ст-ние сразу по возвращении с финской кампании; двойная дата в ряде сборников означает, что поэт правил первоначальный вариант перед публикацией. *Коля Отрада* (настоящее имя: Турочкин Николай Карпович, 1918—1940) — поэт, близкий друг Луконина по школе и Литературному институту; вместе с Лукониным ушел добровольцем на финский фронт. Погиб 4 марта 1940 г. Памяти Н. Отрады посвящен также очерк Луконина «Незабываемый друг», многие страницы ТП. *Я жалею девушку Полю.* Под этим именем воспета героиня многих стихов Н. Отрады («Одно письмо», «Полине» и др.).

9. ЛИ, 1944, 19 августа; СМ, 1963, № 2 (вместе с № 10—13), с указанием в авт. предисловии к публикации: «Я выбрал несколько стихотворений 1942 года»; Лир-1969, с датой: 1941. Печ. и датируется по Избр. СиП, т. 1, с. 25, где автор вернулся к варианту СМ. В П в цикле «Из забытой тетради» с авт. предисловием: «Прошлой зимой журнал «Сельская молодежь» попросил у меня для февральского номера неопубликованные фронтовые стихи. Я рассмеялся — что же у меня может быть неопубликованного, когда прошло столько времени и выходило столько книг? Положив трубку, я все же забеспокоился смутным воспоминанием об одной тетради, которая все эти годы не попадалась мне на глаза, и стал на полу раскладывать связки бумаг, как обычно делаю во время периодической разгрузки и отбора к сожжению лишнего. И вдруг нашел немецкий гроссбух с черновиками моих корреспонденций с передовой — мы часто пользовались тогда трофейной бумагой. На обороте проступили карандашные записи — строчки стихов. Найденная и забытая тетрадь относится к первым годам войны».

10. СМ, 1963, № 2, с. 30; Лир-1969. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 28. В П в цикле «Из забытой тетради». Машинопись с правкой, под загл. «В поезде». *Кирза* — многослойная хлопчатобумажная ткань, обработанная пленкообразующими веществами, употребляется как заменитель кожи (для сапог).

11. СМ, 1963, № 2, с. 30, под загл. «Письма»; П, под загл. «Письма», в цикле «Из забытой тетради»; СВ, 1968, № 18, под загл. «Письма», в цикле «Из забытой тетради». Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 30. Машинопись с правкой, под загл. «Письма».

12. СМ, 1963, № 2, с. 30, без ст. 16—20 (о датировке см. примеч. 9); П, в цикле «Из забытой тетради», здесь и в последующих сб. с датой: 1943; Лир-1969, под загл. «Перед боем на рассвете...». Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 31. Машинопись под загл. «Кукушка» (др. ред.).

13. СМ, 1963, № 2, с. 30 (о датировке см. примеч. 9). Печ. по П, с. 115, с датой: 1941, цикл «Из забытой тетради». *Елец* освобожден от фашистских захватчиков в декабре 1941 г.

14. МГ, 1964, № 7, с. 57, под загл. «Из фронтовой тетради», в цикле «Стихи и годы». Печ. по П, с. 120, цикл «Из забытой тетради». Датируется по Избр. СиП, т. 1.

15. С, с. 36, в разд. «Фронтовые стихи»; Избр., в разд. «Военные годы»; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи»; Г. Печ. по СиП-1958, с. 87, где автор вернулся к варианту СиП-1952. *Вот над Киевом знамя.* Киев был освобожден войсками 1-го Украинского фронта 6 ноября 1943 г.

16. ЛИ, 1944, 19 августа. Печ. по Г, с. 34. Датируется по СиП-1958.

17. Зн, 1945, № 7, с. 58, без загл., в цикле «Приду к тебе»; С, в разд. «День Победы»; ДС, в разд. «Дни свиданий», с пометой: Фронт, ошибочно датировано: 1944; Избр., в разд. «Военные годы», ошибочно датировано: 1945 (эта дата в большинстве сб.); Избр. лир., без ст. 46—49. Печ. по Ст-1967, с. 12, где автор вернулся к варианту Избр. Машинопись с правкой. Датируется по сб. «Передовая» и «Фронтовые стихи». Правильность такой датировки подтверждается и свидетельством самого поэта: «В то время, в эти дни (в дни ожесточенных танковых боев у Прохоровки летом 1943 г.) я начал писать стихи «Приду к тебе», «Ты в эти дни жила вдали...» (ТП, с. 31). Кроме того, ст-ние цитируется в ответном письме Н. Асеева Луконину от 29 июня 1943 г.: «Стихи, присланные в письме, — прекрасные стихи... в них есть строки, которые нужно было бы дотянуть... Но это, действительно, только побелки и, быть может, весьма условные, но главное в нем — это то, что из него видно и ощутимо, „где, когда, на чем растут хорошие стихи"!» (ТП, с. 30). «Первый вариант... (вариант Зн) ослабляла излишне точная рифма (бывают и такие случаи). Рифмовалось «роковом — рукавом» — и строфа приобретала выспреннее звучание. Потом Луконин заменил «роковом» на другое слово, добротно, но не столь полно рифмующееся, и концовка стихотворения приобрела теперешнее хрестоматийное звучание...» — писал в своих воспоминаниях о Луконине С. Наровчатов, знакомый с первоначальными вариантами его военных стихов, которые Луконин присылал ему в письмах (ВМЛ, с. 17—18). «Последующие исправления, — по мысли Наровчатова, — характерны не только привычной работой над словом, а иной раз как бы психологическим переутверждением» (там же, с. 17).

18. Зн, 1945, № 7, с. 58, в цикле «Приду к тебе»; С, в разд. «День Победы»; ДС, в разд. «Дни свиданий», с пометой: Фронт, ошибочно датировано: 1944 (эта дата в большинстве сб.); Избр.,

в разд. «Военные годы», ошибочно датировано: 1945; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи», с датой: 1944. Печ. по Г, с. 41. О датировке см. примеч. 17. При публикации ст-ния в сб. «Молодая Москва» (М., 1947) было допущено грубое искажение текста. В связи с этим Луконин обратился с письмом в редакцию ЛГ (1947, 6 сентября): «Тов. Коренев в пылу творческого вдохновения взял мое стихотворение «Ты в эти дни жила вдали...», разделил его пополам и вклеил в него часть другого стихотворения — «Пришедшим с войны»... К последним строчкам этого другого стихотворения он приклеил продолжение первого... После этого в руках вдохновенного редактора осталось неиспользованное начало «Пришедшим с войны». Но и здесь был найден выход. В конце подборки появилось стихотворение „Пришедшим с войны“».

19. С, с. 55, в разд. «На земле врага»; Избр., в разд. «Военные годы»; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи»; Г. Печ. по СиП-1958, с. 103, где автор вернулся к варианту СиП-1952. *Эльбинг* (ныне Эльблонг) — город в Польской Народной Республике.

20. С, с. 59, в разд. «На земле врага»; Избр., в разд. «Военные годы»; Г. Печ. по СиП-1958, с. 106. *Шварцвальд* (буквально: Черный лес) — горный массив на юго-западе Федеративной Республики Германии. *Померания* — историческая прусская провинция на территории бывшего Западного Поморья.

21. Окт, 1946, № 6, с. 123, под загл. «В Берлине»; С, в разд. «День Победы»; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи»; Г. Печ. по СиП-1958, с. 108.

22. С, с. 77, в разд. «День Победы»; Избр., в разд. «Военные годы»; СиП-1952, в цикле «Фронтовые стихи». Печ. по Г, с. 51, где автор вернулся к варианту Избр. *Цимлянскую отбили на заре* и т. д. Станица Цимлянская (в Ростовской обл.) была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 3 января 1943 г.

ДНИ СВИДАНИЙ

* 23. Ог, 1946, № 16-17, с. 43, под загл. «Нам, пришедшим с войны» (др. ред.); НМ, 1946, № 10-11; С, в разд. «День Победы»; ДС, ошибочно датировано: 1946; Избр., в разд. «Военные годы», с датой: 1945; Лир-1950. Печ. и датируется по СиП-1952, с. 55, где автор вернулся к варианту Избр. Автограф (др. ред.) под загл. «Нам — в дорогу!». «Летом 1943 года на Курской дуге я записал такие строки:

...чтоб замкнулось кольцо
призывающих рук,
как венок
или, нет,
как спасательный круг;

Долго они кружились у меня в голове, пока не столкнулись с мыслью, не осветились для своей настоящей жизни в стихотворении «Пришедшим с войны» (1945):

Я вернулся к тебе,
но кольцо твоих рук —
не замок,
не венок,
не спасательный круг.

Первое — маленькая правдивость, второе — правда, обобщение чувств. Это дороже» (ТП, с. 45—46). «„Заменил «как» на «не», — скажет неискушенный читатель. — Всего делов-то!“ Нет, «делов» здесь много, и лишь рука молодого мастера могла осуществить такую переориентировку стихотворения. Рука, которой водило ощущение поэтической и политической незавершенности стиха. И я уверен, что луконинские стихи в окончательном варианте помогли многим и многим фронтовикам найти свое место в мирной жизни» (Наровчатов С., Честь смолоду. — ВМЛ, с. 19). Ст-ние написано, по свидетельству автора, в Москве в мае 1945 г., в дни «первого Праздника Победы» (ТП, с. 48).

24. КПр, 1947, 12 октября, в тексте выступления на вечере «Мы — ровесники Октября», состоявшемся в ЦДКА в Москве 8 октября; ДС, с пометой: Москва; Избр., в разд. «После войны»; Лир-1950; Г. Печ. по СиП-1958, с. 9. Ст-ние, по словам автора, «начало закипать» еще осенью 1942 г., когда раненый Луконин находился в госпитале в Ельце (см. ТП, с. 26).

25. Сб. «Молодая Москва. Стихи молодых поэтов», М., 1947, с. 64; ДС, с датой: 1946 и пометой: Брест — Москва; Г; СиП-1958, с датой: 1945 (эта дата обозначена и в последующих сб.); Лир-1969. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 72, где автор вернулся к варианту СиП-1958. Машинопись с правкой, с датой: 1946 и пометой: Москва.

26. Избр., в разд. «После войны»; СиП-1952; Г. Печ. по СиП-1958, с. 5, где автор вернулся к варианту СиП-1952. Машинопись с правкой, первоначальное загл. «Эпилог» зачеркнуто, исправлено на настоящее.

27. Ог, 1946, № 37, с. 7, под загл. «Театр», в цикле «В Сталинграде»; ЛГ, 1946, 23 ноября; ДС, в разд. «Первая смена», с пометой: Сталинград — Москва; Лир-1950; К, без загл. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 76, где автор вернулся к варианту ДС. Черновые автографы, один — под загл. «Театр».

28. ДС, с. 42, в разд. «Первая смена»; Стихи Сталинграду, с пометой: Москва — Орел; «Молодая гвардия. Альманах молодых писателей», М., 1948, кн. 1, под загл. «Новый дом»; Избр., в разд. «После войны»; СиП-1952; Г. Печ. по СиП-1958, с. 14.

29. Ог, 1946, № 37, с. 7, в цикле «В Сталинграде»; ДС, в разд. «Первая смена»; сб. «Молодая Москва», М., 1947; СК. Печ. по Избр., с. 123. В сб. «Стихи Сталинграду» ошибочно датировано: 1947.

30. Ог, 1947, № 23, с. 5; ДС, в разд. «Первая смена»; Стихи Сталинграду, ошибочно датировано: 1947, с пометой: Москва; СК; СиП-1952. Печ. по Г, с. 91. *Быковы Хутора* — ныне Быково, районный центр в Волгоградской обл., — родное село матери поэта, куда переехала семья Лукониных после смерти отца. Здесь прошли дет-

ские годы Луконина, сюда он неоднократно приезжал и позднее. Ст-ние, по словам поэта, «хваленное критикой», было написано в результате одной из таких поездок. «Я написал его, побывав в родной деревне в 1946-м — в тяжелом, неурожайном году, когда мои земляки-волжане испытывали громадные трудности, преодолевали их. Разве им было достаточно тогда моего песнопения о красоте Волги? Им нужно было «дельное» слово, слово ободрения, — они не услышали от меня этого слова, отмахнулись от моей полуправды, снисходительно послушали и забыли» (ТП, с. 113—114). *Шпрее* (Шпре) — река, протекающая по территории ГДР и в Западном Берлине.

31. СК, 1949, с. 42, в разд. «Начало дня»; Окт, 1950, № 3; Избр., в разд. «После войны»; СиП-1952; Г; СиП-1958; Ст-1961; К. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 100, где автор вернулся к варианту СиП-1958. Набросок начала ст-ния (ст. 1—30) под загл. «Самому себе».

СТИХИ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

«Первая ⟨книга⟩ сгорела в августе сорок второго года под той самой бомбардировкой Сталинграда, которая оборвала жизнь моей матери... Много лет спустя одной из своих новых книг я подарил название той, первой, — „Стихи дальнего следования"», — вспоминал Луконин в предисловии к двухтомнику 1969 г. (Избр. СиП, т. 1, с. 3).

32. Окт. 1947, № 1, с. 109; С, в разд. «День Победы»; ДС, в разд. «Дни свиданий», с датой: 1946; Избр., в разд. «После войны», с датой: 1947; СиП-1952, в цикле «Дни свиданий», с датой: 1947. Печ. по Г, с. 133. Датируется по ДС.

33. НМ, 1955, № 10, с. 176; СДС. Печ. по Г, с. 125. Машинопись с правкой, под загл. «Весна». Датируется по СиП-1958.

34. НМ, 1955, № 10, с. 177; СДС; Г. Печ. по СиП-1958, с. 119, ошибочно датировано здесь и в др. сб.: 1956.

*** 35.** НМ, 1955, № 10, с. 178. Машинопись с правкой, первоначальное загл. «Гале» зачеркнуто, исправлено на настоящее. Ошибочно датировано в ряде сб.: 1954. Передатировано по содержанию варианта машинописи и году первой публикации.

36. Ог, 1954, № 12, с. 22. Печ. по Г, с. 127. Датируется по СиП-1958.

37. ДС, с. 24, в разд. «Дни свиданий», с датой: 1947 и пометой: Москва. Позднее датировано в ряде сб.: 1946. *Садовое кольцо* — широкая кольцевая магистраль в центре Москвы.

38. МЛ, 1954, 4 июля, под загл. «Знакомой красавице»; НМ, 1954, № 9, с. 59, под загл. «Знакомой красавице». Печ. по СДС, с. 15. Датируется по СиП-1958.

39. НМ, 1955, № 10, с. 180; СДС; Г; СиП-1958; Ст-1961; Лир-1969. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 141, где автор вернулся к варианту СиП-1958. Черновой автограф без загл.

40. НМ, 1954, № 9, с. 60, без загл.; СДС. Печ. по Г, с. 143. Датируется по СиП-1958.

*41. НМ, 1956, № 1, с. 146; СДС. Печ. по Г, с.145. Позднее ошибочно датировано в ряде сб.: 1956. Передатировано по времени первой публикации. Автограф, под загл. «Давнее». *Земляной Садовый вал.* Садовое кольцо (см. примеч. 37) возникло на месте бывшего оборонительного Земляного вала, срытого в начале XIX в.

42. НМ, 1956, № 1, с. 148; СДС. Печ. по СиП-1958, с. 146. Черновой набросок.

43. НМ, 1956, № 1, с. 149; СДС. Печ. по Г, с. 151. Датируется по СиП-1958. Черновой набросок начала ст-ния. В последующих изд., начиная с Избр. СиП, т. 1, в текст ст-ния вкралась явно лишняя строка после ст. 2. *Бологое* — железнодорожная станция на пути между Москвой и Ленинградом.

44. СПр, 1960, 3 апреля, под загл. «Поиски нежного человека» (др. ред.), в цикле «Стихи с дороги», с пометой: Колхоз «Волго-Дон» — Сталинград. Печ. по НМ, 1960, № 6, с. 49. Машинопись (др. ред.). Датируется по Избр. СиП, т. 1. Ранняя ред. ст-ния была написана между 30 марта 1960 г. (в этот день в гостях у колхозников колхоза «Волго-Дон» Фрунзенского р-на Сталинградской обл. побывали Луконин и В. Боков) и 3 апреля 1960 г. (временем первой публикации).

45. НМ, 1956, № 12, с. 18; Г. Печ. по СиП-1958, с. 174. Черновой автограф без загл. и черновые наброски.

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ

Цикл стихов под этим загл. впервые появился в периодике в 1964 г., в том же году вошел в сб. «Преодоление», где состоял всего из 8 стихотворений. Предваряя его, Луконин писал: «...может быть, это всего-навсего начало той книги, что я еще напишу» (П, с. 81). Обещанная книга вышла в 1966 г. и включала 23 стихотворения. Окончательный состав цикла оформился в двухтомнике 1969 г. (19 стихотворений) и далее уже не менялся.

46. ЛГ, 1963, 15 января. Машинопись с правкой, под загл. «После бури» и черновые наброски, один — под загл. «После бури».

47. ЛГ, 1963, 15 января. Машинопись с правкой и черновые наброски.

48. ВЛ, 1964, 6 июня, в цикле «Испытание на разрыв». Печ. по Зн, 1964, № 6, с. 138, цикл «Испытание на разрыв» (одновременно: ЗВ, 1964, № 6, с. 35). Датируется по Избр. СиП, т. 1.

*49. ВЛ, 1964, 6 июня, в цикле «Испытание на разрыв» и Зн, 1964, № 6, с. 139, в цикле «Испытание на разрыв»; ЗВ, 1964, № 6; «Туркменская искра», 1964, 12 июля; ИиР. Печ. по Лир-1966, с. 60, где автор вернулся к варианту первых публикаций. Два черновых автографа. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

* 50. Зн, 1964, № 6, с. 139, в цикле «Испытание на разрыв» (одновременно: ЗВ, 1964, № 6, с. 36). Черновые наброски и черновой автограф без загл. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Масловка* (Нижняя Масловка) — улица в Москве.

51. НМ, 1956, № 3, с. 177; СДС. Печ. по Г, с. 159. Авториз. машинопись под загл. «Иней» и черновые наброски, в том числе под загл. «Иней». Датируется по СиП-1958. *Песчаная* (Новопесчаная) — улица в Москве, где в доме № 11/6 с 1949 по 1972 г. проживал Луконин. *Грейдер* — грунтовая дорога. *ЗИС* — марка автомобиля.

52. СПр, 1956, 19 июня; ДП-1956; СДС; Г; СиП-1958. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 174. *Дебальцево* — город в Донецкой обл. *Террикон* — конусообразный отвал пустой породы на поверхности земли возле шахт. *И вспомнилась мне девушка иная* и т. д. Речь идет о Любови Шевцовой (1924—1943), участнице подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. Посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

53. Зн, 1964, № 6, с. 140, с посвящением М. Светлову, в цикле «Испытание на разрыв»; ИнР. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 177. Черновой автограф. Светлов Михаил Аркадьевич (1903—1964) — советский поэт.

54. Зн, 1964, № 6, с. 142, в цикле «Испытание на разрыв»; ЗВ, 1964, № 6. Печ. по П, с. 92. Два черновых автографа, один — под загл. «Следы на песке» (исправлено на настоящее загл.), и черновые наброски, в том числе под загл. «Следы на песке». Датируется по Избр. СиП, т. 1.

55. ЛГр, 1965, № 5, с. 43; Ог, 1965, № 28, в цикле «Стихи из Грузии»; ИнР, без загл. Печ. по КГ, с. 29, где автор вернулся к варианту Ог. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

56. Ог, 1965, № 28, с. 17, в цикле «Стихи из Грузии»; ИнР; КГ; Н-1969; Лир-1969; Избр. СиП, т. 1. Печ. по Н-1976, с. 25, где вариант Н-1969.

57. Зн, 1965, № 6, с. 111, в цикле «Корни гор»; ИнР; Лир-1966; КГ; Н-1969; Избр. СиП, т. 1. Печ. по Н-1976, с. 28, где вариант Н-1969.

* 58. Ог, 1965, № 28, с. 17, в цикле «Стихи из Грузии»; ИнР. Печ. по Лир-1966, с. 91, где автор вернулся к варианту Ог. Машинопись (др. ред.) с правкой. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

59. ЛГр, 1965, № 5, с. 44. Автограф. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

60. ЛГр, 1965, № 5, с. 44. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *И ходим рядом, как Орда и Византия* Владения Орды, основанной в XIII в. в результате монголо-татарского нашествия на Русь, простирались на юге до границ Византии.

61. Зн, 1965, № 6, с. 114, в цикле «Корни гор». Печ. по ИнР, с. 18. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

62. ПрВ, 1964, 12 мая, под загл. «Новое», с пометой: Ташкент, май; Зн, 1964, № 6 (одновременно: ЗВ, 1964, № 6); П; Лир-1966. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 193, где автор вернулся к варианту П; ошибочно датируется здесь и в др. сб.: 1961. Автограф без загл. и черновые наброски. Датируется по первой публикации.

63. Зн, 1964, № 6, с. 142; ЗВ, 1964, № 6; П; Лир-1966; Н-1969; Избр. СиП, т. 1. Печ. по Н-1976, с. 120, где вариант Н-1969. Беловой и черновой автографы. *Новопесчаная* — см. примеч. 51.

64. Зн, 1964, № 6, с. 143 (одновременно: ЗВ, 1964, № 6, с. 40); Лир-1966; Н-1969, всюду под загл. «Утро». Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 196. Черновой автограф под загл. «Утро».

ПРЕОДОЛЕНИЕ

В архиве поэта имеется машинописный титульный лист книги, предназначенной для издательства «Советский писатель», где первоначальное загл. «Минуты века. Новые стихи» зачеркнуто, исправлено на настоящее. Загл. «Минуты века» сохранилось лишь за циклом стихов, опубликованным в НМ и вошедшим в «Преодоление».

65. Окт, 1960, № 11, с. 149. Печ. по П, с. 8. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

66. П, с. 23. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

67. Пр, 1961, 10 сентября, с пометой: Сталинград. Печ. по П, с. 10. В ряде последующих сб. ошибочно датировано: 1962. Дата исправлена по содержанию ст-ния и времени первой публикации. Посвящено открытию Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС, состоявшемуся в сентябре 1961 г. Луконин находился на открытии в качестве специального корреспондента «Правды». *Ленин путь ей осветил в деревне Кашино* и т. д. 14 ноября 1920 г. В. И. Ленин побывал у крестьян деревни Кашино Волоколамского уезда Московской губернии на открытии электростанции, построенной силами местного сельскохозяйственного товарищества, и выступил на митинге, состоявшемся на улице возле столба с электрическим фонарем. *Здесь, у селения безвестного Безродное* и т. д. На месте бывшего села Безродного, куда в XVIII в. по царскому указу сгоняли «не помнящий родства» люд, чтобы основать шелковый завод, вырос город гидростроителей Волжский, построенный в связи с сооружением комплекса Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС. Строки навеяны воспоминанием об одной из поездок поэта с Е. Долматовским и Л. Ошаниным в район будущего строительства (см. ТП, с. 148).

68. СПр, 1960, 3 апреля, под загл. «Все — в поле», в цикле «Стихи с дороги», с пометой: Колхоз «Волго-Дон» — Сталинград; МГ, 1963, № 12, под загл. «Разлив». Печ. по П, с. 13. Датируется по Избр. СиП, т. 1. Об уточнении датировки см. примеч. 44.

69. Окт, 1960, № 11, с. 151. Печ. по П, с. 15. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

70. Окт, 1960, № 11, с. 151. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

71. ДН, 1961, № 7, с. 119, в цикле «Стихи этой дороги». Печ. по П, с. 25. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Тахиаташ* (буквально: Каменная тюбетейка) — один из самых молодых городов в Каракалпакии; возник на левом берегу Амударьи (*Аму*) в связи со строительством Тахиаташской ГРЭС, обеспечивающей электроэнергией всю автономную республику. *Нукус* — столица Каракалпакской АССР, расположен на правом берегу Амударьи. *Чимбай* — город неподалеку от Нукуса. *Чернотал* — ива.

72. ПрВ, 1961, 12 февраля. Печ. по П, с. 28. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Хамза* Хаким-заде Ниязи (1889—1929) — узбекский советский поэт, драматург, театральный и общественный деятель, основоположник узбекской литературы социалистического реализма. *По шахимарданской дороге поехал на валкой арбе.* В августе 1928 г. Хамза приехал в кишлак Шахимардан (ныне Хамзаабад) в Фергане; здесь он активно боролся за упрочение Советской власти, выступил на Ферганском окружном съезде Советов с речью, изобличающей националистов и реакционное духовенство, вел агитацию за раскрепощение женщины. 18 марта 1929 г. Хамза был убит разъяренной толпой религиозных фанатиков. *Смерть комиссаров Баку.* 26 революционных деятелей Закавказья, возглавлявших Советскую власть в Баку, были расстреляны 20 сентября 1918 г. английскими интервентами при пособничестве предателей-эсеров близ станции Ахча-Куйма Закаспийской железной дороги. *Джалиль* Муса Мустафиевич (1906—1944) — татарский советский поэт; тяжело раненный в бою с фашистскими захватчиками, был взят в плен, заключен в концлагерь; продолжал и там борьбу, организовал подпольную группу, писал стихи, которые сумел передать на волю («Моабитская тетрадь»). Казнен фашистами в тюрьме Шпандау. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

73. ПрВ, 1961, 24 февраля. Печ. по П, с. 31. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

*74. Изв, 1961, 16 июля, без даты. Печ. по СиГ, с. 95; здесь и в др. сб. ошибочно датировано: 1962. Дата исправлена по содержанию ст-ния и времени первой публикации. Ст-ние открывает разд. «Лето» в П; в предисловии к разд. Луконин писал: «Для меня это лето было освещено появлением дочери. В день ее рождения я написал стихотворение, открывающее эту книгу, и отправил его в газету «Известия»... Так в мою жизнь и в мою поэзию пришла Анастасия» (П, с. 3). *Анастасия* Михайловна Луконина родилась 4 июля 1961 г.

75. Пр, 1961, 14 августа, под загл. «Август». Печ. по П, с. 34. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Настя* (Анастасия) — см. примеч. 74.

76. Изв, 1961, 29 декабря. Печ. по П, с. 40. В ряде последующих сб. ошибочно датировано: 1960. Авториз. машинопись, первоначальное загл. «В разгаре лета» зачеркнуто, исправлено на настоящее; вписано посвящение: «Посвящается команде «Энергия» г. Волжский», затем вычеркнутое. Датируется по воспоминаниям Р. Дорогова «Луконин в Волжском», где излагается история создания ст-ния: «Гидрострой завел команду класса «Б» «Энергия»... Самые яростные сражения происходили с волгоградским «Трактором»...

Я... подумал, что можно поднять боевой дух команды литературными средствами. «Пожалуйста, Михаил Кузьмич, напиши стихи о нашей команде! От имени всех гидростроевцев прошу!» — стал я упрашивать Луконина... И через несколько дней он диктовал мне стихотворение... я стал записывать на титуле луконинской книжки. Стихотворение еще не было закончено, но турнирное положение «Энергии» требовало срочного вмешательства, так что ждать я не мог. Луконин продиктовал, что было ⟨ст. 1—22⟩, взял книжку и написал: «И т. д. Мих. Луконин. 21 авг. 61 г.». Я просил посвятить стихи «Энергии», но он ответил, что, когда допишет полностью, тогда можно подумать и о посвящении... Вскоре он сообщил, что включает стихотворение в сборник, но посвящение... „Посвящение, понимаешь ли, я не могу сделать «Энергии». Я играл когда-то в «Тракторе», сам воспитанник тракторного завода, и как я могу посвятить его не своей родной команде?“» (ВМЛ, с. 151—153).

77. СС, 1961, 9 июля, в цикле «Дорога идет дальше... Из футбольной тетради». Печ. по П, с. 42. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Пономарев Александр* Семенович (род. в 1918) — футболист, заслуженный мастер спорта СССР; играл вместе с Лукониным в сталинградской команде «Трактор», затем в командах «Торпедо» (Москва) и «Шахтер» (Донецк); впоследствии перешел на тренерскую работу. *Песчаная* — см. примеч. 51.

78. ДП-1961, с. 132, в цикле «Из футбольной тетради». Печ. по СС, 1961, 9 июля, цикл «Дорога идет дальше... Из футбольной тетради». Датируется по Избр. СиП, т. 1.

79. ДП-1961, с. 133, в цикле «Из футбольной тетради». Печ. по П, с. 53. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

80. ЛГ, 1959, 7 ноября. Печ. по П, с. 57. Датируется по Избр. СиП, т 1. *Быковы мои Хутора* — см. примеч. 30.

81. Ю, 1957, № 2, с. 21; К, ошибочно датировано здесь и в ряде др. сб.: 1958; Лир-1959. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 236, где автор вернулся к варианту К.

82. НМ, 1963, № 1, с. 6, под загл. «Осень», в цикле «Минуты века»; П, под загл. «Осень». Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 239. *Волгоградская* — Волжская ГЭС им. XXII съезда КПСС, сооруженная в нижнем течении Волги, севернее Волгограда; одна из крупнейших в мире; *Братская* ГЭС им. 50-летия Октября — одна из крупнейших в мире; сооружена на реке Ангаре вблизи г. Братска Иркутской обл.

83. «Знамя труда» (Альметьевск), 1964, 8 февраля, под загл. «Зима»; Пр, 1964, 28 февраля, под загл. «Зима», с пометой: Альметьевск; П, под загл. «Зима»; ЛЛ, под загл. «Зима». Печ. по ИП, т. 1, с. 245. Автограф под загл. «Зима». *Степь Кулунды* простирается на юго-западе Сибири, в междуречье Оби и Иртыша, и примыкает к предгорьям Алтая. *Бугульма* — центр нефтедобывающей промышленности в Татарской АССР. *Альметьевск* — один из самых молодых городов Татарии, важнейший центр нефтяной промышленности; от Альметьевска идет нефтепровод «Дружба».

84. НМ, 1963, № 1, с. 4, в цикле «Минуты века». Печ. по П, с. 131. В Ст-1967 ошибочно датировано: 1965. Автограф — неполный текст и черновой набросок начала ст-ния. Датируется по Избр. СиП, т. 1. В теме и загл. ст-ния — перекличка с поэмой Маяковского «Про это».

85. МГ, 1962, № 5, с. 64, под загл. «Ночь»; П; Лир-1966. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 245, где автор вернулся к варианту П. Машинопись с правкой, первоначальное загл. «Ночь» исправлено на настоящее.

86. НМ, 1963, № 1, с. 5, в цикле «Минуты века»; П; Лир-1969. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 247, где автор вернулся к варианту П. Автограф (др. ред.) без загл.

87. «Борьба» (газета Волгоградского обкома КПСС для районов Волгоградского территориально-производственного совхозно-колхозного управления), 1962, 2 сентября. В сб. ошибочно датировано: 1964. Ст-ние написано специально для номера газеты, в котором сообщалось о сдаче Волгоградской обл. государству 200 млн. пудов хлеба. *Эльтон* — соленое озеро на территории Волгоградской обл.

*88. П, с. 145. Черновой автограф без загл. Датируется по Избр. СиП, т. 1, хотя, возможно, эта дата неточна: ст-ние, навеянное 150-летием со дня Бородинского сражения 26 августа 1812 г., как явствует в особенности из автографа, могло быть написано в том же 1962 г. *Сгоночь* — согнанные в одно место. *Император* — Наполеон Бонапарт. *Флешь, редут* — военно-полевые укрепления. *Колоча, Вóйна* — реки, близ слияния которых расположено с. Бородино.

*89. КЗ, 1961, 24 июня, без даты. Печ. по П, с. 150. В сб. ошибочно датировано: 1955. Датируется по содержанию: ст-ние написано в связи с 20-летием начала Великой Отечественной войны, как явствует из варианта КЗ. *Матросов* Александр Матвеевич (1924—1943) — Герой Советского Союза (посмертно). В бою за деревню Чернушки Псковской обл. закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чтобы обеспечить успех своему подразделению. *Гастелло* Николай Францевич (1907—1941) — летчик; во время боев в Белоруссии его самолет был подбит, но экипаж не покинул горящую машину и направил ее в гущу фашистских танков и автомашин. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. *Павлов* Яков Федотович (род. в 1917) — Герой Советского Союза; в период оборонительных боев в Сталинграде разведгруппа, возглавляемая Павловым, захватила дом в центре города и удерживала его в течение трех суток (ныне «Дом Павлова»), а подоспевшее затем подкрепление удерживало этот дом вплоть до разгрома фашистов под Сталинградом. *Талалихин* Виктор Васильевич (1918—1941) — летчик, Герой Советского Союза. Совершил первый в истории войны ночной таран и сбил фашистский бомбардировщик. *Тверской* — бульвар в Москве, часть Бульварного кольца между площадью *Никитских* ворот и Пушкинской площадью. *Бранденбургские ворота* — монументальный архитектурный памятник в стиле классицизма, сооруженный в Берлине в 1788—1791 гг. Украшены двенадцатью дорическими

колоннами и квадригой богини Мира. Задуманные первоначально как «ворота мира», позднее использовались в качестве триумфальных ворот для демонстрации мощи фашистской империи. 1 мая 1945 г. советские солдаты водрузили на Бранденбургских воротах Красное Знамя Победы. *Сами звери поджигали свой рейхстаг.* В феврале 1933 г. фашисты подожгли здание рейхстага с целью обвинить в этом коммунистов. На инсценированном судебном процессе, состоявшемся в том же году в Лейпциге, обвиняемых вынуждены были оправдать. *Егоров* Михаил Алексеевич и *Кантария* Мелитон Варламович — советские сержанты, водрузившие 30 апреля 1945 г. Красное Знамя Победы над рейхстагом.

90. ДП-1962, с. 109. Печ. по П, с. 154. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Эльтон* — см. примеч. 87.

91. ДП-1962, с. 109. Лир-1969. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 259. Машинопись (др. ред.) под загл. «Телефонный разговор».

92. ДП-1963, с. 123. Печ. по П, с. 163. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

93. МГ, 1964, № 7, с. 52. Печ. по П, с. 165. Автограф — неполный текст. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Ремарк* Эрих Мария (1898—1970) — немецкий писатель; с 1932 г. жил за рубежом, в том числе в Париже. «Ах, сени мои, ах, сени...» — неточная цитата из русской народной песни «Ах вы сени, мои сени...».

94. СПр, 1960, 3 февраля, в цикле «Стихи с дороги»; МГ, 1963, № 12. Печ. по П, с. 171. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Отрожки* — хутор в Волгоградской обл.

95. ЛГ, 1963, 15 января, в цикле «Испытание на разрыв». Печ. по П, с. 173. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Смеляков Ярослав* Васильевич (1913—1972) — русский советский поэт. «Среди друзей-поэтов у меня есть особый друг и особый поэт. Сначала я полюбил его за поэзию... Мне запомнилась тонюсенькая белая книжечка, изданная «Огоньком»... В 1934 году в газетном киоске Тракторного только ее я и мог купить на мои деньги. На обложке — худощавое юношеское лицо в профиль. Ярослав Смеляков — „Дорога“» (ТП, с. 56). Личное знакомство Луконина с Я. Смеляковым состоялось зимой 1941 г., на вечере в клубе писателей, где Луконин выступал вместе с уже известными поэтами. «Сорвавшись со сцены, начал протискиваться вдоль стены в глубь зала, но крепкая рука загородила дорогу, помяла мою, и я почувствовал ее тепло. «Постой. Иди сюда. Ты поэт», — громко высекал густой властный голос. Когда я разглядел лицо, сразу же узнал его. Увидав впервые, узнал по юношескому портрету на «огоньковской» книжке» (ТП, с. 58).

96. ДП-1963, с. 123. Печ. по П, с. 175. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Настенька* — см. примеч. 74.

97. НМ, 1963, № 1, с. 3, в цикле «Минуты века»; ПрВ, 1964, 12 мая. Печ. по П, с. 178. Черновые наброски. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Волжская ГЭС* — см. примеч. 82.

98. «Смена», 1962, 16 ноября, под загл. «Тишина»; «Советский учитель» (газета ЛГПИ им. А. И. Герцена), 1962, 17 ноября, без загл. Печ. по НМ, 1963, № 1, с. 7, цикл «Минуты века». Автограф. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Хутор Глухой* — в Ленинском р-не Волгоградской обл.

НЕОБХОДИМОСТЬ

99. ЛГ, 1968, 4 декабря. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

100. ВПр, 1965, 30 мая, в цикле «Корни гор. Из новой книги»; ЛГр, 1965, № 5; НМ, 1965, № 7; Избр. лир. Печ. по КГ, с. 7, где автор вернулся к варианту НМ. В сб. ошибочно датировано: 1966. Автограф также с ошибочной датой: 10 декабря 1965 г., с пометой: Тбилиси. Дата исправлена на основании сопоставления дат первой публикации, автографа и следующего свидетельства автора из предисловия к публикации в ВПр: «Прошедшую зиму я провел в Грузии, написал новую книгу стихов «Корни гор». Хотя стихи написаны сразу, за одну зиму, книга эта росла медленно, как яблоня от саженца до дерева, пока на нем не появились плоды».

101. ВПр, 1966, 17 апреля; МК, 1966, 14 декабря (др. ред.), в конце еще 16 ст., составивших затем концовку ст-ния «Тебе»; Лир-1966. Печ. по Н-1969, с. 72. В сб. ошибочно датировано: 1968.

102. ВПр, 1966, 17 апреля, с авт. примеч., с пометой: Волгоград; ДП-1966, с авт. примеч.; Лир-1966. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 322, здесь и в последующих сб. ошибочно датировано: 1968. Дата исправлена по авт. примеч., где сказано: «В конце ноября — начале декабря 1965 года на свой праздник поэзии московские поэты пригласили большую группу поэтов социалистических стран. По моему предложению был запланирован международный вечер поэзии в Волгограде. Волгоградцы гостеприимно отозвались на предложение, ждали нас, а мы, восемнадцать поэтов разных языков, рано утром приехали на аэродром и с огорчением слушали бесконечные объявления диспетчера: «Волгоград не принимает». Так из-за погоды и не состоялся этот вечер. В тот день на аэродроме я записал первые строки этого стихотворения» (ДП-1966, с. 8), «. . .а на днях в Волгограде закончил целиком», — добавляет Луконин в примеч. в ВПр.

103. ВПр, 1966, 17 апреля; Пр, 1966, 16 ноября, под загл. «Волге»; ДП-1966; Лир-1966. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 317, где автор вернулся к варианту ВПр, здесь и в последующих сб. ошибочно датировано: 1967. Черновой набросок без загл.

104. Зн, 1965, № 6, с. 112, в цикле «Корни гор». Автограф. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

105. КГ, с. 10. Автограф с зачеркнутым загл. «Память о вас» (исправлено на настоящее). Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Мтацминда* (Святая гора) — живописная возвышенность в Тбилиси. *В памятнике арагвийцам над вечной Курой узнаю ваши лица.* Монумент «300 арагвинских героев» воздвигнут в Тбилиси в память о подвиге грузинских воинов в сражении с войском иранского шаха,

в 1795 г. вторгшимся в пределы Грузии. 300 воинов бросились на выручку Ираклию II, окруженному многочисленным отрядом врагов, спасли его и сами пали в неравном бою. На этом месте установлен 23-метровый обелиск (скульптор А. Бакрадзе), перед которым горит вечный огонь.

106. Зн, 1965, № 6, с. 109, в цикле «Корни гор». Печ. по КГ, с. 14. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Канобили* — гора в *Месхети* — стране месхов (историческое название Южной Грузии). *Там звезда со звездою в тишине говорит* — отзвук ст-ния Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...».

107. НМ, 1965, № 7, с. 3, в цикле «Грузинская зима». Датируется по Избр. СиП, т. 1.

108. КГ, с. 21. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Багдади* (ныне Маяковски) — село близ Кутаиси, на реке *Ханис-Цхали*, где родился и провел первые годы жизни Маяковский. *Маргиани Реваз* Акакиевич (1916—1984) — грузинский советский поэт. *Багдадских небес должник, Владим Владимыч* — Маяковский, писавший в ст-нии «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926): «Я в долгу перед... вами, багдадские небеса».

109. НМ, 1965, № 7, с. 4, в цикле «Грузинская зима». Печ. по КГ, с. 25. Автограф. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Две Нины* — мать и жена грузинского поэта Р. Маргиани (см. примеч. 108), в доме которого в Тбилиси не раз гостил Луконин.

110. НМ, 1965, № 7, с. 5, под загл. «Зима», в цикле «Грузинская зима»; Н-1969, под загл. «Зима». Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 285. *Бакуриани* — высокогорный поселок неподалеку от *Боржоми*, на склонах Триалетского хребта, где находится Всесоюзная лыжная станция. *Волглый* — отсыревший.

111. Ог, 1965, № 28, с. 17, в цикле «Стихи из Грузии». Датируется по Избр. СиП, т. 1.

112. ДП-1966, с. 9; КГ; Избр. СиП, т. 1. Печ. по ПК, с. 239. *На проспекте Руставели* — одной из центральных магистралей Тбилиси — расположена Государственная картинная галерея Грузии. *Пиросмани* (Пиросманашвили) Нико (1862?—1918) — грузинский художник-самоучка, человек с трудной, неустроенной судьбой; подлинное признание пришло к нему уже после смерти.

113. Ог, 1965, № 28, с. 17, в цикле «Стихи из Грузии». Печ. по КГ, с. 41. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Табидзе Галактион* Васильевич (1892—1959) — грузинский советский поэт. *Он в гору поднимался на наших сгорбленных плечах.* Г. Табидзе похоронен в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда.

114. ВПр, 1965, 30 мая, в цикле «Корни гор. Из новой книги»; Н-1969; ЛЛ, с эпиграфом (строками из поэмы «Рабочий день»). Печ. по ИП, т. 1, с. 305. *«Рабочий день»* — загл. поэмы Луконина, написанной ранее (1948) и посвященной Сталинградскому трактор-

ному заводу. *Летка* — отверстие в доменной печи, через которое выпускается расплавленный металл. *Завод мой, как мне тебя не помнить* и т. д. — строки из поэмы «Рабочий день». *Рустави* — город неподалеку от Тбилиси, на реке *Куре*; вырос в связи со строительством крупнейшего в СССР Руставского металлургического завода.

115. Зн, 1965, № 6, с. 113, в цикле «Корни гор»; КГ; Избр. СиП, т. 1. Печ. по СиГ, с. 108, где автор вернулся к варианту Зн. *Сванский*. Сванетия — историческая область Грузии, расположенная на южных склонах Большого Кавказа.

116. ВПр, 1965, 30 мая, в цикле «Корни гор. Из новой книги»; Избр. СиП, т. 1, здесь и в последующих сб. ошибочно датировано: 1963. Печ. по Н-1976, с. 70. Дата исправлена на основании свидетельства автора в предисловии к публикации в ВПр (см. примеч. 100) и времени первой публикации. *Чиатури* — город в Грузии, расположенный в ущелье реки Квирила; центр добычи марганцевой руды.

117. ЛГр, 1965, № 5, с. 42; Зн, 1965, № 6, в цикле «Корни гор». Печ. по КГ, с. 55. Датируется по Избр. СиП, т. 1. *Ушба, Шхельда, Тетнульд, Шхара* — горные вершины в *Сванетии* (см. примеч. 115).

118. ДН, 1965, № 8, с. 65; КГ; Н-1969. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 307. *Волна поэзии грузинской мне и понятна и близка* и т. д. «Грузия так живет во мне, — писал Луконин, — как моя любовь к земле и людям» (ТП, с. 118). «Многие и многие годы любви к Грузии, дружбы с ее поэтами, многие годы дорог и узнаваний», по признанию поэта, воплотились в его грузинском сб. «Корни гор», в который, помимо стихов самого Луконина, вошли переводы из грузинской поэзии, составляющие большую часть книги. *Эсперанто* — искусственный международный язык. *Кура, Арагви, Ингури, Ханис-Цхали, Техури, Риони, Алазань, Квирила, Цхенис-Цхали* — названия грузинских рек.

119. ВПр, 1966, 17 апреля; Н-1969; Лир-1969. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 319, здесь и в последующих сб. ошибочно датировано: 1968.

* **120.** НМ, 1968, № 10, с. 94, под загл. «Мои товарищи»; Н-1969; Лир-1969; Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 321. Автограф и черновой набросок.

121. ДП-1969, с. 85. Автограф и черновой набросок. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

122. ДП-1969, с. 85. Автограф и черновые наброски; авториз. машинопись, где после строфы 1 еще две (вычеркнутые), в конце текста приписка, адресованная жене, с датой: 18 марта 69. Датируется по Избр. СиП, т. 1.

123. ДП-1969, с. 86. Печ. по Избр. СиП, т. 1, с. 328. Автограф и черновые наброски.

ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ

Стихи из цикла «Вздох облегчения» появляются в периодике начиная с 1969 г. В предисловии к одной из публикаций Луконин писал: «Я заканчиваю новую книгу стихотворений «Вздох облегчения». Это волнения последних двух лет, дороги по Заволжью, поездки в ДРВ, в Чили, Румынию, Венгрию, Словакию, в Пакистан, Индию. Не то чтобы это были отдельные циклы отдельных дорог, нет. Это переживания в сплаве, как в жизни. И в этих стихах главное — чувство времени и Родины, признание в любви к людям» (ВПр, 1971, 22 августа). В сборники Луконина цикл в составе десяти стихотворений вошел дважды — в двухтомник 1973 г. и сб. «Пять книг». Книга «Вздох облегчения» вышла лишь посмертно — в 1978 г. в издательстве «Современник», но была, по свидетельству А. В. Антоненко-Лукониной, подготовлена еще самим поэтом. Однако материалов, позволяющих документально судить о степени участия автора в подготовке книги, обнаружить не удалось, о чем говорит и то обстоятельство, что сборник, сданный в производство после смерти поэта, не свободен от явных ошибок и опечаток.

124. ЛГ, 1959, 5 ноября, с подзаг. «Из книги „Вздох облегчения"», с посвящением Пабло Неруде, с датой: август 1969 и пометой: Сантьяго. Печ. по ЛЛ, с. 60. Машинопись с правкой и черновой набросок. *Неруда Пабло* (1904—1973) — чилийский поэт и общественный деятель. *Исла-Ниегра* (буквально: Черный остров) — поселок на берегу Тихого океана, где расположен загородный дом П. Неруды. «Шесть колоколов над океаном — развешаны на трапеции, похожей на опору высокого напряжения. Она стоит за домом Пабло Неруды в Исла Негра. Я очень рано встаю. И у него в гостях, пока еще спали в доме, спускался вниз и слушал гул этих шести колоколов, смешанный с гулом прибоя», — писал Луконин в очерке, посвященном поездке в Чили (ТП, с. 234). *Необычный дом Пабло, на каравеллу похожий.* «...дом поражает фантазией хозяина... В главном помещении — гостиной — стены увешаны картинами морских баталий, погибших кораблей. По углам комнаты — громадные форштевни деревянных судов, резные, с женскими головами, устремленными в неведомые пространства в таком порыве, что кажется — бьются на ветру их резные деревянные волосы» (ТП, с. 235—236). *Анна* — жена поэта Анна Васильевна Антоненко-Луконина, актриса Драматического театра на Малой Бронной.

125. ВПр, 1971, 22 августа, без загл.; ДН, 1971, № 9. Датируется по ИП, т. 1. *На... юру* — на возвышенном месте. *Быковчане, николаевцы* — жители Быковского и Николаевского районов Волгоградской обл.

126. ВПр, 1971, 22 августа; ДН, 1971, № 9; ЛЛ, с эпиграфом. Печ. по ИП, т. 1, с. 344, где автор вернулся к варианту ДН. *Махенджо-Даро* (буквально: Холм мертвых) — город в Пакистане, центр одной из древнейших в мире высокоразвитых цивилизаций — хараппской (сер. III — сер. II тысячелетия до н. э.); руины его были открыты в 1922 г.

127. ДН, 1968, № 4, с. 43, под загл. «Песня по кругу», в цикле «Песня по кругу. Стихи и переводы». Печ. по ИП, т. 1, с. 347, здесь

и в др. сб. ошибочно датировано: 1968. Дата исправлена на основании авт. предисловия к публикации в ДН и по сб. «Топот копыт». В предисловии к сб. Луконин писал: «В эту книгу я пригласил друзей — казахских поэтов, и мы прочтем... свои стихи по кругу. Я перевел стихи друзей с казахской поэзии на русскую поэзию... Как почетных гостей на этот вечер поэзии мы пригласили великого Абая и прекрасного Джансугурова» (ТК, с. 3). *Абдильда* Тажибаев (род. в 1909) — казахский советский поэт и драматург. *Джубан* Мулдагалиев (род. в 1920) — казахский советский поэт. Бекхожин *Халиджан* Нургожаевич (род. в 1913) — казахский советский поэт. *Сырбай* Мауленов (род. в 1922) — казахский советский поэт. *Абай* Кунанбаев (1845—1904) — казахский поэт-просветитель, родоначальник новой письменной казахской литературы. *Джансугуров* Ильяс (1894—1938) — казахский советский поэт.

128. ДН, 1968, № 4, с. 44, в цикле «Песня по кругу. Стихи и переводы». Печ. по ИП, т. 1, с. 349, здесь и в др. сб. ошибочно датировано: 1968. О передатировке см. примеч. 127. Черновой набросок под загл. «Плач о Кулагере». *Кулагер* — легендарный конь певца *Ахана*, героя одноименной поэмы И. *Джансугурова* (см. примеч. 127). Основой поэмы послужила трагическая судьба казахского народного певца Ахана-сэрэ Корамсина (1843—1913). *Байга* — конное состязание.

129. КазПр, 1969, 15 февраля; ДП-1970. Печ. по ИП, т. 1, с. 351. Машинопись с правкой, первоначальное загл. «Слово другу» зачеркнуто, исправлено на настоящее. Написано в связи с 60-летием *Абдильды Тажибаева* (см. примеч. 127). *Царица* — Екатерина II (1729—1796), которая вела активную переселенческую политику по освоению новых районов на юге России, в частности в *Заволжье*. *Эльтон* — см. примеч. 87. *Баскунчак* — соленое озеро в Астраханской обл. *Быковы Хутора* — см. примеч. 30. *Налыгачи* — часть воловьей упряжи. *Кара-Богаз-гол* — залив у восточного берега Каспийского моря; освоение богатств залива началось при Советской власти. *Орс* (казахск.) — русский. *Балхаш* — озеро в восточной части Казахской ССР; на его берегу расположен город Балхаш — один из центров цветной металлургии. *Панфиловцы преодолели смерть* и т. д. В июле-августе 1941 г. в Алма-Ате была сформирована 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова, состоявшая в основном из казахов и киргизов. Воины панфиловской дивизии проявили массовый героизм в оборонительных боях на подступах к Москве и на Волоколамском направлении в ноябре 1941 г. 28 бойцов-панфиловцев были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. *Байконур* — космодром в Казахстане, откуда производится запуск советских космических кораблей.

130. ИП, т. 1, с. 366, с исправлением опечатки в названии переулка. Автограф. В Первом *Неопалимовском* переулке в Москве жила А. В. Антоненко-Лукpнина (см. примеч. 124). *Жок, жок!* (казахск.) — нет, нет! *Кулунда* — см. примеч. 83.

131. ИП, т. 1, с. 357. Автограф и черновые наброски.

132. ЛГ, 1971, 21 июля. Печ. по ДН, 1971, № 9, с. 4. Два автографа; в одном — первоначальное загл. «Аисты» зачеркнуто, исправлено на загл. «Сказка об аистах». Датируется по ИП, т. 1. Гамзатов

Расул Гамзатович (род. в 1923) — аварский советский поэт. Абашидзе *Григол* Григорьевич (род. в 1913) — грузинский советский поэт. *Дочь* Луконина Анна родилась 22 ноября 1970 г.

133. ВПр, 1971, 22 августа. Автограф с датой: 12 марта 71 и пометой: Кунцево и черновые наброски. Датируется по ИП, т. 1 и автографу.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

134. ВПр, 1974, 17 ноября. Черновой автограф без загл. и черновые наброски. *Анюта* — дочь поэта (см. примеч. 132).

135. ВПр, 1974, 17 ноября; НМ, 1975, № 4, без загл. Печ. по машинописи, где более поздний вариант текста, опубликованный в ВО и Собр. соч. Черновой набросок.

136. ВПр, 1974, 17 ноября, без ст. 36—43, 52—58; «Градостроитель» (газета Волгоградского института инженеров городского хозяйства), 1974, 19 ноября. Печ. по НМ, 1975, № 4, с. 114. Автограф без ст. 36—43, 52—58. В заметке «Из летней лирики», предваряющей публикацию ст-ний в ВПр, Луконин писал: «Предлагаю вниманию читателей «Волгоградской правды» три новых стихотворения, написанных этим летом. Первое — «Август» — родилось в Болгарии. Второе — «Как тебе живется?» — написал в Париже. Третье — «Капля Волги» — я написал буквально на днях в Волгограде. Мне посчастливилось в том... что у меня есть своя земля — Поволжье, вода — Волга. И где бы я ни был, о чем бы ни писал, это богатство — во мне». *Бурлаком ходил дорожкой бечевой* — отзвук ст-ния Некрасова «Размышления у парадного подъезда». *С Пугачевым я стоял в ночи грозовой* и т. д. Крестьянская война 1773—1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева (ок. 1742—1775) охватила значительную территорию Среднего и Нижнего Поволжья. *Был я конницей твоей у Калача.* По-видимому, имеются в виду успешные действия Красной конницы в районе Калача-на-Дону (ныне районный центр в Волгоградской обл.) в ходе гражданской войны в конце 1919 г. *Наволгли* — увлажнились.

137. ДП-1975, с. 153. Черновой автограф и черновые наброски — один под загл. «Ярославу». *Ярослав Смеляков* — см. примеч. 95. «...смерть Ярослава Смелякова ударила в сердце самой поэзии... За тридцать с лишним лет дружбы с ним, любви и уважения к нему, за все неоценимые подарки его дружбы и его поэзии я привык к нему, как к небу, и теперь многое не представляю себе в своем завтрашнем дне без него... С первых далеких дней до войны до этих минут молчания он был для меня примером и школой. Много мы переговорили и передумали вместе, он был моей душевной необходимостью и высшим советом, мерой правдивости и прямоты... Когда мы говорим о гражданственности и идейном пафосе нашей поэзии — творчество Смелякова, его имя — всегда веха впереди нас», — писал Луконин в некрологе поэту (ЛГ, 1972, 3 декабря).

138. Изв, 1975, 20 мая, под загл. «Полевая кухня». Печ. по машинописи, где более поздний вариант текста, опубликованный в ВО

и Собр. соч. Черновой вариант без загл. и черновые наброски — один под загл. «7 мая 1945».

* **139.** Изв, 1975, 20 мая. Печ. по газ. «Алтайская правда», 1975, 29 июня. Машинопись с правкой, автограф под загл. «Парк Бильвю» и черновые наброски. Публикация в «Алтайской правде» сопровождалась письмом гвардии майора Н. И. Плехотина, ныне полковника в отставке, адресованным автору; в нем, в частности, говорится: «...помню печальную встречу у могильного холмика в Бельвю. Вместе со мной Вы склонили голову над моей бедой и носите эту тяжесть... Вы создали нерукотворный обелиск сыну. Земной поклон Вам отцов». *Бельвю* — парк в Берлине.

* **140.** Пр, 1975, 8 мая, под загл. «Эти дни весны» (др. ред.). Печ. по машинописи, где более поздний вариант текста, опубликованный в ВО и Собр. соч. Черновые наброски. *Трехверстка* — географическая карта, выполненная в масштабе трех верст в дюйме.

ПОЭМЫ

141. С, с. 61, в разд. «На земле врага»; СиП, под загл. «Встречи». Печ. по Избр. СиП, т. 2, с. 88. *Берг* (нем.) — буквально: гора, составная часть названий многих немецких городов (типа Нюрнберг, Фюрстенберг и т. п.) и местностей. *«Тигр»* — см. с. 527.

142. Отд. главы: Смена смене идет. (Глава из поэмы «День сталинградской весны») — СПр, 1948, 10 октября (гл. 6). Полностью: Отд. изд.: День сталинградской весны, Сталинград, 1948, с посвящением: «Моей школе, Сталинградскому отряду ленинско-сталинского комсомола в год тридцатилетия» без стихотворного посвящения; Зв, 1948, № 12, с подзаг. «Сталинградская поэма», без стихотворного посвящения; Рабочий день, М., «Советский писатель», 1949, с подзаг. «Сталинградская поэма»; Рабочий день, М., изд-во «Правда», 1949, без стихотворного посвящения; Рабочий день, М., Гослитиздат, 1949, с датой: 1948 и пометой: Сталинград (эти дата и помета указаны во всех последующих изд.); Избр., с подзаг. «Сталинградская поэма»; СиП-1952, с подзаг. «Сталинградская поэма». Печ. по: Две поэмы, М., 1954, с. 3. Черновой вариант под загл. «День этой весны». «Поэму «Рабочий день» от начала и до конца, — вспоминал Луконин, — я написал в общежитии Тракторного завода зимой и весной 1947—1948 годов. Я ходил на завод в ночную смену, — у меня там много друзей. Я и сейчас храню заводской пропуск и прикрепление к цеховой столовой. Месяца четыре я испытывал муку оттого, что не приходило ничего, ни строчки, а директор завода Макоед с любопытством поглядывал на меня при встречах. Потом именно в этой столовой сборочного цеха ее директор Антонина Петровна рассказала как-то мне свою историю и поведала о сыне Дмитрии, погибшем в бою. Я шел домой, и во мне уже так кипело, что я не видел ничего вокруг, уже нашептывались строки... а потом пошли дни и ночи, ночи и дни работы. Так среди людей я нашел «Рабочий день»...» (ТП, с. 63). 6. С м е н а с м е н е и д е т. *Идете вы по направлению летящей руки Дзержинского.* Памятник Ф. Э. Дзержинскому (скульптор С. Д. Меркулов) установлен на площади

им. Дзержинского перед Сталинградским тракторным. Дзержинский изображен выступающим перед народом, его вытянутая левая рука указывает на панораму завода. *Даты побед на мраморе читаете слово в слово* и т. д. На Сталинградском тракторном установлено несколько мемориальных досок, увековечивающих память о подвиге сталинградцев в годы Великой Отечественной войны. 7. Ключ жизни. *Мечетка* — река, протекающая в районе Сталинградского тракторного завода.

143. Отрывки и отд. главы: 1) Пролог — Окт, 1946, № 6, с. 122 и ДС, с. 26, с датой: 1945 и пометой: Вильнюс (вошло в ч. 2, тетрадь 8); 2) Торжество. Главы из поэмы — СВ, 1948, № 3, с. 7 (вошло в ч. 1, тетради 19, 20). Полностью: НМ, 1950, № 5, с. 30, с датой: 1950; Дорога к миру, М., Воениздат, 1951, без даты; Дорога к миру, М., «Советский писатель», 1951, с датой: 1944—1950 (эта дата указана и во всех последующих изд.); СиП-1952; Две поэмы, М., 1954. Печ. по СиП-1958, с. 242. Беловой автограф (ранняя ред.), под загл. «Признание в любви», с датой: октябрь 1944; машинопись с правкой, под загл. «Признание в любви». Работу над поэмой Луконин начал осенью 1944 г. «Фашистская орда, огрызаясь, покатилась к Риге. Идут тяжелые бои. А я все время не могу выйти из странного состояния, захватившего меня дорогой, как будто я заболел, — днем и ночью видятся лица, слова сходятся в строчки. У меня действительно поднялась температура, и подполковник — мой командир — оставил меня «отдышаться» в домике на окраине литовского города Шяуляй, а танки направились к Риге. Прошли с той поры десятилетия, а я все помню, как лихорадочно записывал строки. Первыми были... «Лет восьми я узнал, что родился в России...» С этого и началась моя работа над поэмой «Дорога к миру». Добрая литовская семья кормила меня десять дней, а я, уснув часа на два, снова обращался к бумаге, спал урывками и снова садился к столу, не разбирая ни дня, ни ночи. Когда явился в часть, поэма была закончена вчерне. Урывками я дописывал ее в каждую свободную минуту, а потом уже, когда мы вошли в Пруссию... меня командир оставил еще на неделю в догорающем после боя городке Остероде, где я опять ушел с головой в поэму... Это было уже весной 1945 года, накануне победы. Поэма «Дорога к миру» долго лежала у меня в рукописи, — я продолжал работу над ней. Потом уже, после поэмы «Рабочий день» (1948), я снова вернулся к этой поэме и только в 1950 году опубликовал ее...» (ТП, с. 46—47).

Предисловие. *Гоголевский бульвар* — в Москве, между Кропоткинской площадью и Арбатской площадью. *Никитский* (ныне Суворовский) — бульвар в Москве. *Двадцать девятое скоро! Октябрь! Знаменитая дата!* 29 октября 1918 г.— день основания Ленинского комсомола; в этот же день родился и герой поэмы Алеша (как и сам Луконин).

Часть первая. Тетрадь первая. Тяжелый рассвет. *«Чапаев»* — художественный кинофильм братьев С. и Г. Васильевых (1934). *Осока* — болотная трава. *Омет* — сложенная большой кучей солома. *Хальт!* (нем.) — стой! Тетрадь вторая. Вася. *Шнель!* (нем.) — быстро. *Мы ходили по улицам, одни — туда, другие оттуда* и т. д. — строки из утраченной поэмы Луконина.

«В 1941 году я закончил поэму «Вступление», рукопись взял с собой на войну, и 10 октября в бою у деревни Негино, когда я был ранен, поэма на моих глазах сгорела в машине, подорванная миной. Поэма была посвящена моему поколению на войне с белофиннами, в которой я участвовал как боец-лыжник. Воспоминание об этой поэме — моя боль. Я не помню ее, за исключением нескольких строк, которые использовал потом в поэме «Дорога к миру». Главу в своих довоенных бумагах нашел недавно Е. Долматовский. Кажется, мы готовили ее для журнала «Знамя», где он тогда работал редактором отдела поэзии», — писал Луконин в предисловии к публикации «Первой главы поэмы» (МГ, 1964, № 7, с. 54—55). Тетрадь третья. Учитель Остужев. *Герр* (нем.) — господин. Тетрадь четвертая. Эхо. *Тверской бульвар* — см. примеч. 89. *Пушкин на площади поворачивается боком.* Речь идет о памятнике Пушкину (скульптор А. М. Опекушин) в Москве на Пушкинской площади. Тетрадь пятая. Селезниха. *«Железка»* — железная дорога. Тетрадь шестая. День рождения. *Елец* — см. примеч. 13. Тетрадь седьмая. Встреча. *Суслон* — несколько снопов, составленных для просушки.

Часть вторая. Тетрадь восьмая. Перелом. *День рождения первый — полыхают зарницы.* Речь идет о гражданской войне 1918—1920 гг. *Первый день — побеждает Царицын.* В ходе обороны Царицына в октябре 1918 г. Красная Армия отразила второе наступление белоказачьей армии генерала Краснова, остановила продвижение противника и, нанеся ему тяжелые потери, отбросила за Дон. *Двадцать четвертый — битва у Сталинграда.* В октябре 1942 г. в Сталинграде велись особенно ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками, в частности в районе *площади Девятого января* (ныне площадь В. И. Ленина), где противник пытался захватить проход к Волге, прочно прикрытый «Домом Павлова» (см. примеч. 89). *Родимцев* Александр Ильич (1905—1977) — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза. Части 13-й гвардейской дивизии под командованием Родимцева особенно отличились в боях за Сталинград. *Седьмое. Приказ вот. Трехсот сорок пятый* и т. д. 7 ноября 1942 г. был опубликован приказ народного комиссара обороны за № 345, в котором, в частности, говорилось, что необходимо «упорно и настойчиво готовить сокрушительный удар по врагу». *Котлубань* — железнодорожная станция под Сталинградом. В ультиматуме о капитуляции, предложенном советским командованием 8 января 1943 г. немецко-фашистским войскам, окруженным в Сталинграде, говорилось, что для вручения ответа в назначенное время (в 15 часов 9 января) представителю немецкого командования «надлежит следовать в легковой машине с белым флагом по дороге разъезд Конный — станция Котлубань». *Фон Паулюс* Ф. (1890—1957) — генерал-фельдмаршал, командовал ударной группировкой немецко-фашистских войск под Сталинградом; окруженный советскими войсками, 31 января 1943 г. вместе со своей армией сдался в плен. *Мечетка* — см. примеч. 142. Тетрадь десятая. Прохоровка. *Прохоровка* — поселок в Белгородской обл., в районе которого 12 июля 1943 г. произошло самое большое в истории войны танковое сражение между наступающей немецко-фашистской танковой группировкой и наносившими контрудар советскими войсками, выигравшими сражение. *Обоянь* — город в Курской обл. на берегу реки Псел. *«Мессера́».* «Мессершмитт» — марка немецкого самолета-истребителя. *«Тридцатьчетверки»* — танк Т-34.

«Тигр», «пантера» — немецкие танки. *«Фердинанд»* — немецкое самоходное орудие. *Газойль* — горючее, употребляемое в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Тетрадь одиннадцатая. Дорога. *Лопань* — река, протекающая по территории Белгородской и Харьковской обл. *Золочев, Богодухов, Люботин, Коротич* — населенные пункты в Харьковской обл. УССР. Тетрадь двенадцатая. Тамара. *Гутен таг!* (нем.) — добрый день! Тетрадь тринадцатая. Осень. *Мишурин Рог* — местечко на правом берегу Днепра близ Кременчуга. *Пятихатка* (Пятихатки) — районный центр в Днепропетровской обл. УССР. *Сема взял свой билет голубой с силуэтом Ленина* и т. д. — строки из утраченной поэмы Луконина (см. примеч. выше к части первой, тетради второй). Ср. ст-ние «Первая глава поэмы» в Избр. СиП, т. 1, с. 42. *«Комсомолец Матросов»* — см. примеч. 89.

Часть третья. Тетрадь четырнадцатая. Враги. *Газваген* (нем.) — автомашина с газовой камерой, «душегубка». *Гесс* Рудольф (1900—1947) — военный преступник, организатор массового истребления заключенных в фашистских концлагерях; с 1940 г. служил комендантом в концлагере Освенцим. *Харьковский процесс* — судебный процесс в военном трибунале 4-го Украинского фронта о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Харькова и области в период их временной оккупации; состоялся в декабре 1943 г. Среди тех, кто обвинялся в преступлениях, были *Ганс Риц* — заместитель командира роты СС и предатель М. П. *Буланов*, поступивший на службу в гестапо на должность шофера и участвовавший в истреблении советских людей в «душегубках»; приговорены к смертной казни. *Знаменка* — город в Кировоградской обл. УССР. *Хохшуле* (нем.) — высшая школа. *Зондеркоманда* (нем.) — специальный отряд, занимавшийся истреблением мирного населения на оккупированных территориях. Тетрадь пятнадцатая. Кировоград. *Лелековка* — город в Кировоградской обл. УССР. *Кто-то песню запевает про Лизавету.* Имеется в виду песня «Ты ждешь, Лизавета...» из кинофильма «Александр Пархоменко» (1942), стихи Е. Долматовского, музыка Н. Богословского. Тетрадь шестнадцатая. Новый Сталинград. *Кохаю* (укр.) — люблю. *«Ай лав ю»* (англ.) — я люблю тебя. *«Ой ты Галю»* — украинская народная песня. *«До криницы»* (укр.) — к колодцу. *«Наталка Полтавка»* — популярная опера украинского композитора Н. В. Лысенко (1842—1912) по одноименной пьесе И. П. Котляревского (1769—1838). *Звенигородка и Шпола* — города, районные центры в Черкасской обл. на Украине. Здесь в ходе Корсунь-Шевченковской операции 28 января 1944 г. соединились войска 1-го Украинского и 2-го Украинского фронтов, окружив и уничтожив крупную группировку немецко-фашистских войск. *Корсунь-Шевченковская земля полыхала у могилы дорогого поэта.* Т. Г. Шевченко (1814—1861) похоронен в г. Каневе, находившемся непосредственно в районе проведения Корсунь-Шевченковской операции. Тетрадь семнадцатая. Весна. *Умань* — город в Черкасской обл. УССР. *«Опель»* — марка немецкого легкового автомобиля. *Ди шуле* (нем.) — школа. *Блицкриг* (нем.) — молниеносная война. *Кара-Бугаз* — см. примеч. 129. Тетрадь девятнадцатая. Второй фронт. *Союзники — на побережье Ла-Манша.* Высадкой англо-американских войск 6 июня 1944 г. на северо-западе Франции был открыт второй фронт. *Уолл-стрит* — улица в Нью-Йорке, где расположены крупнейшие банки, фондовая биржа; название стало синонимом амери-

канской финансовой олигархии. *Сити* — центральная часть Лондона, в которой сосредоточены конторы и правления крупнейших банков, страховых компаний; синоним английской финансовой олигархии.

144. Отрывки и отд. главы: 1) Вступление в поэму — Пр, 1953, 22 февраля; 2) Сыновний долг. Из поэмы — ЛГ, 1953, 30 июля (вошло в ч. 1, гл. 5); 3) Лирическая глава. Из новой поэмы — СПр, 1954, 9 июля и «Коммунист» (Ереван), 1954, 9 июля (вошло в ч. 1, гл. 7); 4) Новая встреча. Глава из поэмы — ЛГ, 1955, 1 января (вошло в ч. 1, гл. 7); 5) Его любовь — НМ, 1955, № 4, с. 3 (вошло в ч. 3, гл. 10); Страница жизни — ЛГ, 1956, 14 февраля (вошло в ч. 3, гл. 1); 6) Прощание с поэмой — СПр, 1956, 19 июня и ДП-1956, с. 58; 7) Начало тревоги, Поволжье, Утро, Его любовь, Прощание с поэмой — СДС, с. 53 (вошло в ч. 1, гл. 1; ч. 3, гл. 1, 8, 10); 8) Утро, Начало тревоги (Из поэмы) — «Литературная Москва», М., 1956, с. 436 (вошло в ч. 3, гл. 8; ч. 1, гл. 1); 9) Из новой поэмы: Разговор с ветром, Его любовь, Поволжье, Школа, Прощание с поэмой — Г, с. 161 (вошло в ч. 1, гл. 1; ч. 3, гл. 1, 8, 10); 10) Поволжье, Школа, Начало тревоги, Его любовь, Прощание с поэмой — СиП-1958, с. 155 (вошло в ч. 1, гл. 1; ч. 3, гл. 1, 8, 10); 11) Песня о песне, Электрический бунт, Заключительные строки — СПр, 1959, 22 февраля (вошло в ч. 1, гл. 2; ч. 3, гл. 11, 13); 12) Главы из новой поэмы — КПр, 1959, 1 мая (вошло в ч. 3, гл. 2, 11); 13) Из новой поэмы — Пр, 1959, 7 июня (вошло в ч. 3, гл. 11). Печ. по Окт, 1959, № 8, с. 86; № 9, с. 64, с датами: ч. 1: 1952, ч. 2: 1955—1956, ч. 3: 1959. Поэма неоднократно выходила отд. изд.: в 1960, 1963, 1972 гг.; вошла в Избр. СиП, т. 2 и ИП, т. 2 — везде с датой: 1952—1959. Сохранились беловой автограф отд. глав поэмы и черновой автограф. «Эта поэма начиналась издалека, — писал Луконин в предисловии к изданию 1972 г., — я думал о ней в минуты относительного затишья, она была моей мечтой. Я начал ее записывать в 1951 году. И все эти годы — сквозь книги стихотворений — она являлась моим главным содержанием. Я метался с ней по родным просторам Заволжья, писал ее на стройке Волжской ГЭС, она искала выхода в самой жизни и нашла его, когда я зимовал в завьюженном своем селе Быковы Хутора, в Доме колхозника, при керосиновой лампе, спустя десять лет после начала... Критика горячо отозвалась на поэму, но занималась свойством стиха, а не сутью поэмы. Со времени первой публикации поэма выходила отдельными изданиями, и мне не пришлось переделывать в ней ни строчки, она не нуждалась в этом. Мы меняем русла рек, но не меняем направления своего исторического развития и своей великой цели. Поэма эта — мое признание в любви к своей земле, к жизни, к Волге, к людям. В ней — долгий путь нашего народа к свободе. Это все пережито мной, моим отцом и матерью, в ней опыт нашей жизни, все личное от самого детства». В самом деле, Луконин сохраняет за героями поэмы имена своего деда, отца, матери, сестры, воспроизводит некоторые факты из их жизни и собственной биографии. Среди героев в 3-й части поэмы — реальные участники гидростроительных работ на Волге, а также земляки поэта — быковчане. Развернутым комментарием к поэме являются многие страницы книги «Товарищ Поэзия» (ТП, с. 63—68, 137—152).

Вступление. *Волгино-Верховье* (Волго-Верховье) — село в

Калининской обл., у которого пробивается ключ, являющийся истоком Волги.

Часть первая. 1. Разговор с ветром. *Над университетом в шаткой сини меня с боков обходят облака.* Речь идет о высотном здании Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; на бровке здания устроена смотровая площадка. *Злые финские высоты.* Имеется в виду советско-финляндская война 1939—1940 гг. *На Одере меня не помнишь ты?* Одер — немецкое название реки Одра, протекающей в Западной Европе и служащей границей между Польшей и ГДР. В ходе Великой Отечественной войны советские войска вышли на Одер и форсировали его в январе 1945 г. *Мои Хутора Быковы* — см. примеч. 30. 2. Песня о песне. *Домбра* — народный казахский двухструнный музыкальный инструмент. *Молочай* — сорное растение с ядовитым млечным соком. *Чернобыл* — полынь. *Эльтон* — см. примеч. 87. *Баскунчак* — см. примеч. 129. *Джамбул* — см. примеч. 72. 4. Весной. *Стадион в Лужниках* — Центральный стадион им. В. И. Ленина в Москве. 5. Первая строка. *И сердце подсказало мне: «Пора!»* и т. д. «31 августа 1950 года... я из Москвы плыл в Волгоград, именно в тот день и ожидалась пристань «Быковы Хутора»; я волновался, представляя встречу с родным селом. Дважды после войны мне приходилось бывать там и видеть и переживать горе больших неурожаев... Услышав первые слова радио: «В Совете Министров СССР. О строительстве электростанции на реке Волге, об орошении и обводнении района Прикаспия», — я почему-то выскочил из каюты и все остальное слушал на палубе, куда стеснились и остальные пассажиры... Быковчане уже слышали постановление... все услышанное было вопросом жизни, касалось лично каждого, и все понимали это. «Что будет, что будет!» — первые слова. Я смотрел на обожженные лица и думал о нашей жестокой земле, о длинных годах голодов и пожаров; мне виделись степные колодцы, слышался детский крик жажды. В момент тот в сердце и ударило чувство долга перед жизнью, тогда и зародилось желание поэмы, которая потом стала „Признанием в любви"» (ТП, с. 138—139). *И зазвучала первая строка в день пуска Ахтубинского канала.* Волго-Ахтубинский канал, соединивший Волгу с ее левым рукавом — рекой Ахтубой, вступил в строй 20 октября 1952 г. 6. Грянул срок. *Назола* — здесь: назойливость. 7. Первое возвращение. *Столбовая* — улица в Быковых Хуторах. *Макуха* — жмых. *Камышин* — город в Волгоградской обл., ныне расположен на правом берегу Волгоградского водохранилища. *Царицын* — см. прим. на с. 531. *Сталинградгидрострой* (Волгоградгидрострой) — строительное управление, созданное для осуществления работ по сооружению комплекса Волжской ГЭС. *Я люблю тебя там, за Калиновой балкой* и т. д. Калиновая балка — степной овраг неподалеку от Быковых Хуторов вверх по Волге. После перенесения Быковых Хуторов на новое место из поймы Волги, затопленной в связи со строительством плотины Волжской ГЭС, здесь, на берегу нынешнего Волгоградского водохранилища, расположена пристань Быково.

Часть вторая. «...вторая часть — «Поэма в поэме» — является... плодом моего воображения», — писал Луконин в предисловии к отдельному изданию 1972 г. Однако поэтический вымысел автора во многом основывается на документальных источниках. Изображая в этой части поэмы жизнь дореволюционного Царицына, Луконин воспроизводит подлинные названия заводов, улиц, ресто-

ранов, кинотеатров, бань, реальные фамилии — городского головы Остен-Сакена, лесозаводчика Лапшина — владельца пароходства «Русь», конщика Верхоломова и т. д. 1. У соляной дороги. *Тать* — грабитель, здесь: преступный сброд. 2. Конец века. *Январь восемьсот девяносто шестого. За тюремной решеткой не спит человек* и т. д. Арестованный в декабре 1895 г. по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», В. И. Ленин начал писать в тюрьме, в январе 1896 г., работу «Развитие капитализма в России». Законченная в Шушенском в январе 1899 г., работа вышла в марте того же года за подписью: Владимир Ильин. *«Союз борьбы»* — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» — политическая организация, созданная В. И. Лениным в конце 1895 г. и объединившая ранее разрозненные группы и кружки петербургских марксистов; положила начало соединению социализма с рабочим движением. Подобные союзы возникли затем и в других городах. *Фабрика Торнтона* в Петербурге — позднее Комбинат тонких и технических сукон им. Э. Тельмана. *С симбирской горы.* Симбирск — ныне г. Ульяновск. *Самара* — ныне г. Куйбышев. *Жгутник* — тростник. 3. Кризис. Эпиграф из IV главы «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина (см.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., т. 3, с. 304—305). *Баз* — скотный двор. 4. Начало века. *Урядник* — нижний полицейский чин в дореволюционной России. *«Царицынский вестник»* — газета, выходившая с 1897 по 1917 г. Заметка, которую вставляет автор в поэму, с некоторыми сокращениями воспроизводит текст, опубликованный в газете 23 февраля 1905 г. под рубрикой «Забастовки». *Французский завод* (ср. ниже: *Французский завод ДЮМО*) — завод Донецко-Юрьевского металлургического общества, в котором ведущее место занимал французский капитал; ныне завод «Красный Октябрь» в Волгограде. *Механическая мастерская братьев Нобель.* «Товарищество бр. Нобель» — крупнейшая в России нефтепромышленная фирма, основанная семьей шведских предпринимателей, — владело до революции огромными нефтяными промыслами в Баку, имело предприятия и в других городах России. 5. Голодаевский ерик. *Голодаевка* — соседнее с Быковыми Хуторами село, переименованное впоследствии в Раздольное. *Ерик* — небольшой проток, соединяющий два озера или реку с озером. *Каурый* — светло-бурый, масть лошади. *Свежак* — ветер. 6. Чигирь. *Чигирь* — простейший механизм для подъема воды при орошении небольших участков. 7. Невеста. *Сухменный* — сухой, засушливый. *Прилабунился* (донск.) — приладился, подольстился. 8. Беда. *Кашка-трава* — клевер. *Куга* — болотное растение. *«Кавказ и Меркурий»* — пароходное общество. 9. Надежда. *Журавец* — шест у колодца, служащий рычагом при подъеме воды. *Крыга* — льдина. *Рогач* — ухват для чугунов, устанавливаемых в русской печи. 10. Варламов. *Пролейка* (Горная Пролейка) — поселок на правом берегу Волги, вниз по реке от Быкова; теперь — на берегу Волгоградского водохранилища. 11. Город. *Царицын (Сари-Чин)* — прежнее название Волгограда, произошедшее от татарского названия речки Царицы (Сари́-Су). *«Русская деревня»* — рабочий поселок в районе французского завода. *Енотаевская вобла* — из Енотаевска (ныне Енотаевка), поселка на Волге между Астраханью и Царицыном. 12. Электричество. *Шихтный двор* — двор для складывания шихты — смеси руды, шлака и топлива, употребляемой в металлургической промышленности. *Ликвидаторы* — представители ревизионистского, оппортунистического направления в РСДРП, вы-

ступавшие за ликвидацию нелегальной революционной пролетарской партии и за создание легальной реформистской партии. *Филер* — полицейский агент. 13. Электрический бунт. События, описанные в главе, в действительности произошли в 1914 г. В «Царицынском вестнике» от 14 мая была напечатана заметка «Убитые в бане электрическим током», в которой говорилось о трагическом происшествии в бане Саномьянца с солдатами 7-й роты Аварского (в поэме — *Аткарского*) полка, развесившими для просушки белье на оголенные провода. Двое из них были убиты током. На следующий день в «Волго-Донской речи» появилась заметка с характерным заглавием «Паника абонентов электрической станции», в которой, в частности, сообщалось, что многие подумывают о возврате к керосиновому освещению. *«Вейс»* — иностранная компания по производству обуви. *Конщик* — владелец конки, городской железной дороги с конной тягой, существовавшей до появления трамвая. *Скорбященская* — площадь, на ее месте теперь находится Комсомольский сад. 14. Родня. *Ерман Яков* Зельманович (Зиновьевич) (1896—1918) — член Коммунистической партии с 1915 г., один из организаторов борьбы за установление Советской власти в Царицыне.

Часть третья. 1. Перед съездом. *Перед съездом.* Имеется в виду XXI съезд КПСС. *Открылся трудовому ополченью — пока на кальке — Тракторный завод.* Сталинградский (ныне Волгоградский) тракторный завод им. Ф. Э. Дзержинского вступил в строй в июне 1930 г. В районе *Жигулей* построена Волжская ГЭС им. В. И. Ленина. 2. Открытие Волги. *...А в октябре мы Волгу перекрыли.* Затопление котлована Волжской ГЭС и перекрытие Волги состоялось 23 октября 1958 г. *Рынóк* — рабочий поселок Тракторного завода. *Владимир Александрович Кулагин, механик кранов* — ныне поэт, живет в Новгороде; его поэтический дебют в центральной печати состоялся по рекомендации Луконина. 3. Дорога степью. *Волжский* — см. примеч. 67. *Грейдер* — см. примеч. 51. 4. Старый коммунист. *Пошли громить Корнилова — от Питера прогнали.* Будучи в должности верховного главнокомандующего вооруженными силами России, генерал Л. Г. Корнилов (1870—1918) в конце августа 1917 г. поднял мятеж и двинул войска на Петроград с целью установления контрреволюционной военной диктатуры; мятеж был ликвидирован революционными солдатами, матросами и красногвардейцами. *Полк тогда за Ленина подняли в Ярославле.* Белогвардейский мятеж, вспыхнувший в Ярославле в июле 1918 г., был ликвидирован силами местного полка Красной Армии и рабочими отрядами из других городов. *Грохочет девятнадцатый. Деникинская свора нахлынула в Заволжье.* Войска контрреволюционного генерала А. И. Деникина (1872—1947), провозглашенного осенью 1918 г. главнокомандующим вооруженными силами России, весной и летом 1919 г. после длительных боев захватили обширную территорию на Юге России и Украине. *Погромное.* С таким названием было несколько сел в Поволжье в районе Царицына (Верхнее Погромное, Среднее Погромное, Нижнее Погромное). 6. Новая встреча. *Николаевский район* — в Волгоградской обл., центр — Николаевск *(Николаевка). Закончил Двадцать первый съезд работу.* XXI съезд КПСС состоялся 27 января — 5 февраля 1959 г. *Степанов* В. И. — первый секретарь Быковского райкома КПСС. *Волго-Дон.* Волго-Донской судоходный канал им. В. И. Ленина, открытый 31 мая 1952 г., начинается на Волге от поселка *Красноармейска*, ныне входящего в Красноармейский район Волгограда. *Фреза* —

здесь: режущее устройство для разрыхления грунта. *Александр Петрович* Александров (ум. 1981) — начальник Сталинградгидростроя в 1956—1962 гг., дважды Герой Социалистического Труда. *Багермейстер* — здесь: экскаваторщик. *СТЗ* — Сталинградский тракторный завод. *Безродное* — см. примеч. 67. *Волжский* — город, расположенный на левом рукаве Волги — Ахтубе. *Логинов* Федор Георгиевич (1900—1958) — первый начальник Сталинградгидростроя (1950—1954). На *Комсомольской* улице в Волжском в 1974 г. установлен памятник Логинову, его именем назван также стадион. *Сентябрьский Пленум и Двадцатый съезд наметили рассвет* и т. д. Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 г. принял постановление «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР». Большое внимание этому вопросу было уделено и на XX съезде КПСС, состоявшемся 14—25 февраля 1956 г. *РТС* — ремонтно-тракторная станция. 8. В о с п о м и н а н и я. *Комбед* — комитет бедноты. *И ждал его* ⟨трактора⟩ *в Москве партийный съезд.* Первый трактор СТЗ-1 был отправлен в 1930 г. делегатам XVI съезда ВКП(б). *Соловки* — Соловецкие о-ва в Белом море. *Магадан* — областной центр, расположен на берегу Охотского моря. *«Вставай, вставай, кудрявая»* — неточная цитата из «Песни о встречном» из кинофильма «Встречный» (1932); стихи Б. Корнилова, музыка Д. Шостаковича. 9. В м е т е л ь. *Мама... Горело сердце твое тогда в пламени Сталинграда.* Мать Луконина Наталья Ефимовна (урожденная Толочек) погибла в 1942 г. в Сталинграде. *Мамаев курган* — возвышенность в центральной части Волгограда, господствующая над городом; в районе Мамаева кургана в 1942 — январе 1943 г. происходили ожесточенные бои; позднее, в ознаменование победы под Сталинградом, здесь создан памятник-ансамбль (под руководством скульптора Е. В. Вучетича). *Мутер* (нем.) — мать. 10. Е г о л ю б о в ь. *Ссыльную подругу Волги — Лену — так полюбил, что имя взял себе.* В декабре 1901 г. В. И. Ленин впервые подписал одну из своих статей в газете «Искра» псевдонимом: Ленин. *ГОЭЛРО* — перспективный план развития народного хозяйства Советской республики на основе электрификации страны, разработанный в 1920 г. по заданию и под руководством В. И. Ленина. 11. П р е д в е с е н н я я. *В сорок шестом мы виделись...* и т. д. Луконин имеет в виду свое ст-ние «Быковы Хутора» (см. примеч. 30). П р о щ а н и е с п о э м о й. *Стрепет* — степная птица.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* С фотографии 1968 г.

2. *С. 73.* Машинописный текст с авторской правкой ст-ния «Приду к тебе». Архив М. К. Луконина.

3. *С. 111.* Черновой автограф ст-ния «Пробуждение». Архив М. К. Луконина.

4—5. *Между с. 160 и 161.* С фотографии 1942 г.
На обороте. С фотографии 40-х гг.

6—7. *Между с. 192 и 193.* М. К. Луконин и А. Я. Яшин в Сталинграде. С фотографии 1947 г.

На обороте. А. Т. Твардовский, М. К. Луконин и Г. М. Марков в Хабаровске. С фотографии 1949 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ [1]

---

[1] Произведения, имеющие названия, обозначаются в алфавитном указателе дважды: по названию (без приведения первой строки) и по первой строке (без указания заглавия).

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

СЕРДЦЕБИЕНЬЕ

ДНИ СВИДАНИЙ

СТИХИ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

НЕОБХОДИМОСТЬ

ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В АВТОРСКИЕ СБОРНИКИ

ПОЭМЫ

Луконин М. К.

Л 84 Стихотворения и поэмы / Вступ. статья Л. А. Аннинского. Сост., подг. текста и примеч. Н. Г. Захаренко. — Л.; Сов. писатель, 1985. — 544 с. ил. 3 л., портр. (Б-ка поэта. Большая серия)

В книге два раздела: «Стихотворения» и «Поэмы». Первый объединяет избранную лирику Луконина из лучших его сборников («Сердцебиенье», «Дни свиданий», «Стихи дальнего следования», «Испытание на разрыв», «Преодоление», «Необходимость»). Во второй раздел включены монументальные эпические произведения поэта «Дорога к миру», «Признание в любви», а также «Поэма встреч» и главы из поэмы «Рабочий день».

Л $\frac{4702010200-155}{083(02)-85}$ 410—85 ББК 85.Р7

ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
490	19 сн.	земли,	живи!

Михаил Кузьмич Луконин

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1985, 544 стр.
План выпуска 1985 г. № 410

Редактор *В. С. Киселев*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. С. Орлов*
Техн. редактор *Л. П. Полякова*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

ИБ № 4323

Сдано в набор 26.11.84. Подписано к печати 07.05.85. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 28,88. Уч.-изд. л. 31,39. Тираж 40 000 экз. Заказ № 759. Цена 3 р. 30 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.